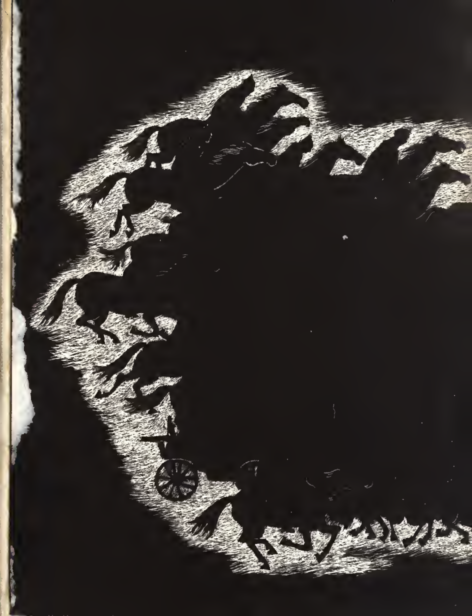
Николай Кузьмин

Меч и плуг







Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1976



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ ПР РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Николай Кузьмин

МЕЧ И ПЛУГ

ПОВЕСТЬ
О ГРИГОРИИ КОТОВСКОМ

Р2
К89

Писатель Николай Кузьмин живет и работает в Алма-Ате. Имя его известно читателю по романам «Первый горизонт», «Победитель получает все», по повестям «Трудное лето», «Авария», «Два очка победы».

Н. Кузьмин в своем творчестве не раз обращался к художественно-документальному жанру, однако историко-революционная тематика впервые нашла свое отражение в его новой повести «Меч и плуг». Герой ее — легендарный комбриг, замечательный военачальник гражданской войны Григорий Иванович Котовский.

$К\frac{10604-121}{079\,(02)-76}$ 259—76

Глава первая

К донесениям, поступившим в штаб в течение ночи, прибавилось наконец то, которого с нетерпением ждали. Его доставил рано утром конный нарочный.

Поднявшиеся после ночевки эскадроны чистили лошадей, когда со стороны мельницы, куда с вечера было выставлено усиленное охранение с легким пулеметом, раздался заполошный стук копыт. По бешеному аллюру опытное ухо кавалеристов уловило тревожную спешку.

Взводный командир Семен Зацепа, доставивший донесение, отыскал помещение штаба по распахнутым воротам и толчее ординарцев во дворе. Не убирая с подбородка ремешка фуражки, Семен соскочил с седла, подхватил шашку и одним махом, минуя ступеньки, взлетел на крыльцо.

Появление Зацепы произвело в деревне то движение, которое вызывает в напряженной боевой обстановке скачущий во весь опор всадник. Семена узнавали, и кавалеристы, провожая глазами пригнувшегося к конской гриве взводного, понимающе переглядывались: кажется, началось!

И жизнь эскадронов сразу приобрела осмысленную торопливость. День, как догадывались, предстоял горячий.

Штаб бригады разместился на скорую руку, по-походному. Со станции Моршанск, места выгрузки эшелонов, полки разворачивались с таким расчетом, чтобы с ходу

вступить в бой. Шифровка, полученная в пути из штаба войск, сообщала, что центр антоновского мятежа находится в южных уездах губернии, однако многочисленные отряды мятежников, в частности так называемая первая повстанческая армия под командованием бывшего офицера Богуславского, угрожают самому Тамбову (этим объяснялась невиданная спешка, с какой бригада перебрасывалась с Украины в Тамбовскую губернию. Мятеж, поднятый в центре республики на третьем году Советской власти, принимал опасные размеры, грозя перекинуться в соседние губернии: Воронежскую, Пензенскую, Саратовскую).

Комбриг читал донесение в чистой половине большого деревенского дома, за столом, накрытым праздничной скатертью. Запустив руку в расстегнутый ворот гимнастерки, Котовский шевелил пальцами и, напрягая брови, морщился, дергал щекой: от чтения у него всякий раз резало глаза и начинала болеть контуженная голова. Обычно ему читали документы вслух, а приказы и распоряжения он диктовал. На этот раз он нетерпеливо разорвал пакет сам.

Пестрый, весь в клеточку, листок из какой-то купеческой амбарной книги помялся за горячей пазухой нарочного, отчего неровные строчки донесения казались еще корявей. Концы строк то загибались вверх, используя каждую чистую клеточку, то уплывали вниз, сбегая по самому краешку страницы. Старый вахмистр Криворучко, принявший командование полком, человек обстоятельный и упрямый, не признавал переносов и начатое слово обязательно заканчивал в строке. Эта крохоборская манера экономить бумагу начинала злить Котовского. Больше же всего комбриг был раздосадован напрасностью ожидания. Выходит, ничего задуманного не получилось, сорвалось окончательно.

Комиссар Борисов, поглядывая на мрачневшее лицо комбрига, догадывался, что в своем донесении Криворучко

смог сообщить мало утешительного. Это было видно хотя бы по тому, что донесение получилось непривычно длинным, разгонистым, а бывший вахмистр не любил многословия. Да и не тот случай был, чтобы тратить время на писание. Несколько раз комиссар взглядывал на нарочного, однако Зацепа, запаленный в скачке, весь в пыли,— шашка, маузер, ремешок на крепком подбородке — как подал пакет и отступил к порогу, так и замер истуканом, дожидаясь разрешения скакать обратно. Из него и в доброе время каждое слово будто шашкой вырубаешь.

Пока Котовский дочитывал, все, кто находился в штабе, выжидающе молчали и смотрели на листок с донесением в руке комбрига. Криворучко со своим полком должен был нанести первый, отвлекающий удар по армии Богуславского. Другой полк во главе с самим комбригом рассчитывал ударить скрытно и внезапно. Была надежда, что с армией Богуславского (а это примерно половина сил мятежников) будет покончено в результате первого же стремительного боя.

Неожиданно Котовский приподнялся с табуретки и, не прерывая чтения, стал ловить створки раскрытого окошка. Борисов сунулся помочь. От деревенского колодца доносился голосище эскадронного командира Девятого, распекавшего старика Поливанова за упущенную на водопое цибарку. Ругался эскадронный по обыкновению забористо, его зычная брань висела над утренней деревней. Девятый, полный георгиевский кавалер, был убежден, что крепкое слово необходимо коннику так же, как шашка, и слыл в бригаде неисправимым матерщинником; таких виртуозных ругательств бойцы не слыхивали никогда, хотя были тоже народ тертый и на язык находчивый.

Прикрытое окошко не могло заглушить пушечного голоса эскадронного,— расходясь, Девятый забирал все круче, выше:

— ...в трон, в закон, в полторы тысячи икон, в тридцать три святителя, в сорок четыре благотворителя...

«Господи, да кончит ли он?» — подумал Борисов, заметив, как тяжелеют веки и в узкую полоску сжимаются губы Котовского.

— ...и бабушку в загробное рыдание! — оборвал наконец Девятый, и комбриг с минуту сидел, уставившись в донесение. Потом вздохнул и красноречиво глянул на комиссара.

«Ну, Девятый... ну, пес...— втихомолку кипел комиссар,— ох и дождешься же!»

Человеку, которого так мастерски «раскатывал» эскадронный командир, Герасиму Петровичу Поливанову, по его годам сидеть бы сейчас в Умани, где бригада, отправляясь в Тамбов, оставила свои тылы, но старик взмолился, за него заступился Девятый, и дело было решено: пускай воюет.

Два года назад Герасим Петрович пришел в бригаду с сыновьями Глебом и Борисом, могучими, рослыми парнями. Глядя на них обоих и на невзрачного старичка отца, не верилось, что такое тщедушное тело могло дать жизнь таким богатырям. Старик привел сыновей к Котовскому, чтобы отомстить за спаленную белогвардейцами хату, за изнасилованную офицерами дочь. В боях Поливановы отличались тем, что выискивали офицеров, и не один золотопогонник валился с седла с разрубленной головой. Сам старик имел особенно верный глаз и крепкую руку.

После удачных боев Герасим Петрович бывал оживлен, точно у родни погостил, но в передышках тускнел и начинал томиться.

Позапрошлой осенью в жестоком ночном бою под Новой Греблей погиб старший, Глеб, и с того дня старик стал запивать, опускаться. Младший из Поливановых, Борис, стыдился отца, выговаривал ему и просил «поддержаться», но что-то совсем сломалось в душе старого кава-

лериста, безнадежно потухли глаза. Из эскадрона Герасим Петрович скатился в обоз и наверняка остался бы в Умани, если бы не Девятый.

На подоконнике, переставленный с накрытого стола, красовался праздничный кулич с белой глазированной коркой в красных и синих просяных крапинках. Вообще в доме стоял торжественный пасхальный аромат сдобы, воска и нафталина. Прибытие первых эшелонов бригады в Тамбовскую губернию совпало с большим весенним праздником.

Котовский кончил читать и, разочарованно посапывая, долго потирал бритую голову — крепко проводил ладонью от затылка ко лбу.

— На,— бросил он комиссару донесение и всем массивным телом, раскрытой грудью оборотился к нарочному. Зацепа почувствовал себя неуютно.

— Передай своему: писарь!

Переступив с ноги на ногу, Зацепа устремил взор на потолочную матицу. Дескать, ваше дело — ругать, мое — слушать; дисциплину понимаем. Криворучко в полку любили, и насмешку над ним Зацепа принимал с обидой. Правда, из задуманного ничего не вышло. Но это не вина Криворучко... Со своей стороны он сделал все как надо. Противник подвел — оказался совсем не таким, каким его представляли...

В штаб, бренча шашками, быстро вошли начальник особого отдела бригады Гажалов и начальник штаба Юцевич. Начальник штаба, тоненький, с фигурой новоиспеченного прапорщика, сразу же склонился над плечом комиссара и, пробежав первые строчки донесения, проговорил с нескрываемой досадой: «Ах, черт!» Бросил взгляд на хмурое лицо комбрига и продолжал читать.

На первых порах, сообщал Криворучко, полковая разведка установила сосредоточение больших сил. Разведчики доложили, что антоновцы связаны огромным обозом, сле-

довательно, маневренности, какой приходилось опасаться, лишены начисто.

Вопреки ожиданиям, сражения не завязалось. Ответив на атаку огнем из пулеметов (а эскадроны развернулись в лаву), бандиты кинулись в седла и ускакали, а перед атакующими оказалась несметная толпа мужиков, баб, даже ребятишек. Все это «воинство» гомонило на телегах и напоминало цыганский табор. Выходит, полковая разведка приняла эту тележную орду за войско? А Богуславский, сам Богуславский-то где? Куда девалась его армия? Объезжая растревоженный «табор», Криворучко наливался яростью: все, что осталось на предполагаемом поле боя, нельзя было рассматривать ни как пленных, ни как захваченные трофеи. Перед ним находились самые обыкновенные беженцы, до смерти напуганные ожидавшейся расправой. Какой дьявол поднял их с насиженных мест? Что заставило их бросить дома, хозяйство и погрузиться в телеги? Вразумительного ответа не находилось. Криворучко стегал себя плеткой по ноге, белоснежный породистый конь под ним оседал на задние ноги, оскаливал зубы.

Дав нагоняй командиру разведчиков, Криворучко с тяжелым сердцем сел сочинять донесение. Многое бы он отдал, чтобы только не писать его. В самом деле, готовился к бою, а наткнулся на обман, на подлую уловку. Но почему Богуславский не принял боя, снялся и ушел? Испугался? А почему не боялся раньше? Значит, что-то напугало его именно сейчас? Но что, что? Пленные твердили одно: да, армия стояла, да, вдруг отошла, но почему — Богуславский с ними не советовался. А надо, надо было это знать!

Юцевич, дочитывая донесение, хорошо представлял обескураженного Криворучко, узнавал простецкое стремление старого вахмистра оправдаться, сообщая множество мелких подробностей скоропалительной стычки. Не подробности сейчас были важны, совсем другое... С минуту

Юцевич медлил, по-прежнему глядя в кривые строчки донесения: чувствовал, что комбриг ждет.

— Ну? — с нажимом спросил Котовский, как бы вбирая взглядом всю покаянную фигуру молоденького начштаба.

Сделав усилие, Юцевич взглянул в окаменевшее лицо комбрига и снова опустил глаза. Молчание Котовского было для него хуже любого разноса. Уж лучше бы кричал, срамил, треснул бы по столу кулаком! Однако Григорий Иванович не произнес больше ни слова, лишь чуть заметно трепетали ноздри да опустился уголок губ под аккуратными усиками.

Немой тяжеловесный укор комбрига добросовестный начальник штаба принимал целиком на собственный счет.

Еще в пути, основываясь на шифровках из штаба войск, получаемых на крупных станциях, через которые пролетали эшелоны бригады, Юцевич предложил и разработал идею встречного наступления. Помощник комбрига Криворучко принял командование передовым полком. Сначала события развивались строго по плану, командиры эскадронов докладывали, что сбивают мелкие заслоны противника (из штаба войск специально предупредили, что сторожевые охранения повстанцев выдвинуты необычно далеко — на 30—40 километров от основных сил). Но вот прискакал нарочный от заместителя Криворучко, лихого Маштавы,— и штаб оцепенел: на стоянке бежавшего бандитского отряда Маштава обнаружил не что иное, как... копию приказа самого Котовского, отданного всего два дня назад! Каким образом очень важный штабной документ мог оказаться в руках врага? Что теперь будет с планом встречного боя, целиком построенным на внезапности второго удара? Ничего себе, хороша внезапность!

Для начальника штаба наступили трудные минуты.

В разглашении тайны комбриг прежде всего винил распущенность, наплевательское отношение к такому противнику, как бандит.

— Языки же у всех — во! — показал на метр от лица.— Соображения — во! — отчеркнул на мизинце.— Думали, шапками закидаем. Я же вижу, не слепой. Собирались как на блины. Подумаешь, какой-то Антонов... А он нам еще покажет, подождите!

Возражать было нечего. Да и не следовало возражать, Юцевич знал это по опыту. Пускай выкричится, отведет душу. И, пережидая справедливый гнев комбрига, Юцевич продолжал думать о зловещей находке Маштавы. Надо же случиться! Никогда такого не бывало... Сгоряча Котовский приказал, чтобы отныне обо всем важном в штабе говорили только по-молдавски.

На предложение Юцевича послать сейчас же за начальником особого отдела комбриг дернул щекой:

— Толку-то теперь...

Копия приказа, переписанная каракулями не шибко грамотного человека, лежала перед ним на столе, и он поглядывал на нее с брезгливостью и недоумением одновременно.

Время было позднее, разбор решили отложить на утро.

Важней всего сейчас было предугадать, что предпримет Богуславский, получив в руки такой драгоценный подарок. Комбриг считал, что полки повстанцев отойдут. Богуславский был бы круглым дураком, не увидев угрозы своему флангу. Юцевич не соглашался. По всем данным, Богуславский — смелый, инициативный офицер, к тому же, узнав о намерениях противника, он сможет по-своему спланировать бой. Все выгоды вроде бы на его стороне.

— А вот увидишь,— отрезал Григорий Иванович и, окончательно расстроенный, ушел к себе.

Ночью комбриг спал беспокойно, и Борисов с Юцевичем, засидевшиеся в штабе, слышали, как в соседней горнице скрипела кровать под его могучим телом. Привычка спать вполглаза осталась у Котовского с каторги, не до сна бывало и потом, в беспрерывных боях.

Часа в два он поднялся и молча, с мятым хмурым лицом, ни на кого не взглянув, прошел в сени. Стукнула входная дверь. Не было его долго. Потом в штабе услышали, как он кого-то отчитывал на улице,— похоже, часового и, кажется, за непорядок с винтовкой. («Выяснить»,— наметил для себя Юцевич.) Потом комбриг вернулся. Ворот гимнастерки расстегнут, веки припухли. Прежде чем скрыться к себе, молча посмотрел на Юцевича, спрашивая, нет ли чего от Криворучко. Начальник штаба покачал головой.

Слышно было, как у себя в горнице Котовский шуршал картой и вздыхал. Если только Богуславский снимется и отойдет, для бригады начнется нудная маета с преследованием, злыми неожиданными стычками. Недели пройдут, прежде чем снова удастся принудить бандитов к большому открытому бою.

Свежая весенняя ночь шла на убыль, и ожидание новостей от Криворучко становилось нестерпимым. Ничто так не томит военного человека, как неизвестность. Юцевич поднимался и уходил в аппаратную — узнать, когда же наконец установится связь со штабом войск в Тамбове.

Донесения, поступившие в это позднее время, просматривались Борисовым и дежурным по штабу,— все могло подождать до утра, комбригу не докладывали. Лишь утром, получив пакет от самого Криворучко, комиссар вошел в горницу, где спал комбриг. Котовский лежал на боку, подогнув колени. Едва Борисов наклонился над ним, он сразу же открыл один глаз и глянул трезво, зорко, будто и не спал. Эта тюремная привычка просыпаться, не вскакивая, не меняя позы, всегда пугала комиссара. Он молча протянул пакет с донесением.

Наспех одевшись и торопясь к свету, Котовский разорвал конверт, на первый раз жадно, через строчки, пробежал глазами, затем засопел, нашарил табурет и сел.

Ну вот пожалуйста. Богуславский все же отошел. Это и понятно. Какой дурак станет дожидаться удара с фланга? А сманеврировать, как это вчера предсказывал Юцевич, мятежникам весьма непросто, достаточно взглянуть на карту. Местность не располагает к маневрам.

Юцевич — он весь остаток ночи провел в аппаратной и встретился с начальником особого отдела только что на крылечке штаба,— Юцевич на этот раз держался твердо и под бешеным взглядом комбрига глаз не опускал. Да, Григорий Иванович оказался прав: первая повстанческая армия не стала дожидаться боя и отошла. Но все же на вопрос, почему Богуславский неожиданно снялся с места, ответа до сих пор нет. Перехваченный приказ штаба бригады? Едва ли. Юцевич считал, что уклониться от боя Богуславского заставил отнюдь не приказ Котовского, попавший ему в руки. Приказ приказом, но планы бандитов смешало что-то совсем другое. В пользу этого довода, кстати, говорит и вот только что полученное донесение Криворучко. Судите сами: когда они могли добыть приказ Котовского? Не раньше чем вчера. Так что же, со вчерашнего дня Богуславский успел не только свернуть полки, но еще и согнать для прикрытия своего отхода тележную орду мужиков? Любой военный скажет, что для такой уймы дел необходимо по меньшей мере дня три-четыре. Вот почему Юцевич категорически не соглашался с комбригом, считавшим, что Богуславского спугнул добытый каким-то образом приказ штаба бригады.

Как ни кипел комбриг, а доводы рассудительного начальника штаба возымели действие. Он остыл.

— Пленные что говорят?

В том-то и дело, что пленных об этом сразу спросить не догадались. Однако Юцевич успел связаться с Маштавой, и вот что тот сообщил: мужики из тележной армии в один голос показывают, что сгонять население начали еще три дня назад, то есть когда бригада только приступила к

выгрузке из эшелонов в Моршанске и печальной памяти приказа еще не было и в помине.

— Ага, ага...— Григорий Иванович в задумчивости взял доставленный листок с копией своего приказа и повертел его так и эдак. Трезвые доводы Юцевича как-то сами собой притупили остроту неприятной находки.— Тогда что же его, черта, заставило удрать?

— Это будем выяснять,— по-служебному сухо ответил начальник штаба, приготавливаясь сесть за накопившуюся работу.

— А все-таки интересные дела у нас творятся! — И комбриг, только сейчас заметив молчаливое присутствие Гажалова, кинул ему через стол находку Маштавы.

Начальник особого отдела неторопливо приблизил бумагу к глазам и брови его изумленно подскочили. «Угу»,— промычал он и всей ладонью взял себя за подбородок. Мельком глянул на Котовского — тот не спускал с него глаз.

— Разберемся,— солидно проговорил Гажалов. В душе, однако, он был обескуражен.

Несмотря на молодость, Гажалов держался с превосходным спокойствием и выдержкой. Его работа требовала ума и логики, а следовательно, неторопливости и основательности, и он терпеливо вырабатывал в себе эти необходимые качества. Однако находка Маштавы лишила его покоя. Может быть, бандитская засада схватила нарочного, скакавшего с пакетом в какой-нибудь эскадрон? «Надо запросить, нет ли пропавших без вести»,— решил Гажалов, направляясь из штаба к себе в отдел.

Остальные бумаги, приготовленные к утреннему докладу, Котовский перекидал небрежно. На глаза ему попалась записка, сделанная комиссаром для памяти. Вчера эскадронный Девятый в разговоре с хозяином избы, где остановился на постой, не придумал ничего лучше, как объявить, что прежний раздел земли, когда крестьяне громили круп-

ные помещичьи имения, признается недействительным. Теперь Советская власть перераспределит ее по-новому: отныне земельные наделы будут нарезаться только бабам. «Вон как! — не на шутку встревожился хозяин.— А мужики-то что ж? Или промашку какую сделали?» — «А мужиков,— брякнул эскадронный,— будем драть на каждой десятине. Вот кто много нахапал себе, тому больше и порки достанется». Само собой, слух быстро облетел деревню и вызвал беспокойство.

— Шутил, конечно,— по-вологодски окая, вступился за эскадронного Борисов.

Комбриг, невыспавшийся, вялый, страдальчески сморщился:

— Нашел чем шутить!

Он поднялся, широкий, грудастый, расстроенно махнул рукой:

— Ладно, пошел я.

Это значило, что он идет заниматься гимнастикой, затем выскочит к колодцу — обливаться ледяной водой. Привычка к гимнастике у него осталась с юношеских пор, со времени первого ареста. Он пронес ее через все тюрьмы и каторгу. Нынешней зимой, пользуясь тем, что бригаде выпала передышка, он ввел ежедневную гимнастику во всех эскадронах, больше того, обратился с письмом к Михаилу Васильевичу Фрунзе, доказывая необходимость физической закалки для всех красноармейцев и командиров. После зарядки, после обливания студеной колодезной водой комбриг заявится в штаб уже совершенно другим человеком: затянутым в ремни, выбритым наголо, и все тогда пойдет иначе. А сейчас в нем пока что говорит неряшливость со сна, вон и тесемки от галифе болтаются...

Пролезая за стол, где только что сидел комбриг, Юцевич взглянул на Зацепу, по-прежнему стоявшего у порога. Взводный ждал ответного распоряжения для Криворучко.

— Езжай,— отпустил его Юцевич. Никакого распоряжения он пока послать не мог. Самим еще надо толком разобраться.

Взводный с облегчением унырнул в дверь.

Оглядывая все, что лежало на столе,— донесения, выкладки, карты,— начальник штаба на мгновение зажмурился и потряс головой. Как всегда, от обилия накопившихся дел он приходил в растерянность и не знал, с чего начинать, тем более сегодня, сейчас. Но вот он потянул к себе одну бумагу, другую, третью, отложил на правую сторону то, что казалось важнее, склонился над картой и, поигрывая остро отточенным карандашом, стал привычно похмыкивать, двигать бровями, покачивать головой.

Через некоторое время, не отрываясь от дел, Юцевич толкнул створки закрытого окошка, и оба они, начальник штаба и комиссар, услышали снаружи обиженный мальчишеский голос:

— Дядь Сем... а дядь Сем, так я-то как же?

Комиссар и начальник штаба переглянулись. Со своего места Юцевич увидел Семена Зацепу, тот у крыльца отвязывал лошадь. Возле него топтался штаб-трубач бригады Колька, подросток в ловко подогнанной кавалерийской форме, в белой щегольской кубаночке. Услышав от бойцов, кто прискакал с донесением, Колька прибежал к штабу и все время с нетерпением караулил Семена.

— Дядь Сем...

Забрасывая повод на голову лошади, Зацепа неприветливо отрезал:

— Служи.

Едва коснувшись стремени, он кинул свое ловкое сухое тело в седло.

Колька схватился за стремя.

— Дядь Сем, возьми меня отсюда!

Хмурый Зацепа изо всех сил старался не глядеть в умоляющие глаза мальчишки.

— Нельзя. Приказ. Ты в армии.

Встреча с Колькой вконец расстроила его. Чтобы оборвать разговор, он решительно завернул коня. Горячась перед дорогой, конь задрал морду и пошел боком.

— Ты про Ольгу Петровну не узнавал?! — крикнул напоследок Колька.

Не отвечая, Зацепа неуловимым движением тела послал коня вскачь. Колька с огорченным лицом долго смотрел, как оседает за ускакавшим всадником пыль.

Посмеиваясь, Юцевич отодвинул кулич и высунулся в окно. Колька стоял с опущенной головой, носком сапога катал камешек. Горькая его поза говорила о великой несправедливости. Получив срочный приказ о выступлении в Тамбовскую губернию, штаб бригады распорядился оставить всех мальчишек, приблудившихся в разное время к полкам, на месте, в Умани. Кольке удалось попасть в эшелон благодаря заступничеству Ольги Петровны, жены Котовского, и отцовскому покровительству Семена Зацепы. Он был оставлен при комбриге в качестве штаб-трубача. В Моршанске, где выгрузились из эшелонов, Колька пытался устроиться вместе с Зацепой в полку Криворучко (покуда ехали, он именно на это и надеялся), однако Котовский сердито приказал ему «выбросить дурь из головы». Взглянув в ошеломленные глаза мальчишки, комбриг хотел объяснить, что не хватало, чтобы в какой-нибудь перестрелке его нашла шальная бандитская пуля, но вместо отеческого увещевания, не зная привычки к многословию, отрубил резко, по-командирски: «Останешься. И — никаких!» Это свое любимое «и — никаких!» Котовский сопроводил, как всегда, коротким, сабельным жестом руки, отсекая возражения и просьбы.

— Эй, герой... чего ты? — окликнул Юцевич.

Колька глянул на него быстро, вкось и еще ниже опустил голову.

— Вот это ла-адно...— пропел Юцевич.— А ну иди сюда!

Обиженный мальчишка затряс головой, потом повернулся и побежал от штаба.

— Ах ты шплинт! — любуясь им, проговорил начальник штаба. Затем он без всякого интереса поглядел туда-сюда по улице и снова улез на свое место.

Заглядывая в донесения из передвигавшихся частей, Юцевич находил на карте незнакомые названия деревень и хуторов: Ламки, Стежки, Вихляйка, Новые Дворики — и условными знаками отмечал местонахождение эскадронов, называемых в штабе по фамилиям командиров. После неожиданного отхода первой повстанческой армии Богуславского перед бригадой сама собой встала задача преследования бегущих. Начальник штаба бригады не сомневался в том, что теперь, когда на борьбу с мятежом направлены регулярные части Красной Армии, повстанцы будут собирать разрозненные полки. Следовательно, Богуславский со своей армией направляется только на юг, к основным базам, к самозванной антоновской столице — Каменке. Там, если судить по карте, находились непролазные дебри, мелкие топкие речонки и озера с крутыми берегами. «Южная крепость» мятежников...

Покуда начальник штаба мысленно преследовал противника по карте, комиссар Борисов, сидевший за столом напротив, по привычке крутил на палец льняной завиток волос и думал о своем. Перед ним лежал разглаженный лист с донесением Криворучко, кроме того, целая кипа тоненьких брошюр и листовок, несколько номеров местных газет, доставленных в политотдел бригады в Моршанске. «Правда о бандитах», «Что сказал товарищ Ленин крестьянам Тамбовской губернии»... Комиссар вчитывался во все это, чтобы лучше уяснить себе подлинный размах «мужичьей Вандеи» — так недавно назвали антоновский мятеж московские «Известия».

Главарь мятежа относился к числу тех, кого революционные события вынесли на гребень волны. Сын кирсанов-

ского ремесленника, он окончил учительскую семинарию, готовясь к работе на селе. Революция 1905 года открыла перед ним возможность выдвинуться. Никакой четкой программы в то время у него не было. Он мало задумывался над глубоким смыслом происходящих событий. Ему пришелся по душе лозунг боевиков-террористов: «Грабь награбленное!» Последовал целый ряд дерзких и кровавых «экспроприаций» («эксов»). В 1907 году веселой разудалой жизни пришел конец: губернский суд приговорил Антонова к многолетней каторге.

Освободила его Февральская революция. В те дни он познал сладкий угар славы, упоительной власти над толпой. Его натура, вынужденная к бездействию в течение каторжного срока, рвалась в водоворот событий.

Тамбовская губерния издавна считалась оплотом эсеров. До революции здесь работали видные лидеры этой партии Виктор Чернов и Мария Спиридонова. Будущее России они связывали с судьбой крепкого, хозяйственного мужика. Россия представлялась им сплошной деревней, лишь изредка в ее однообразную картину, словно камни на песочной россыпи, вкрапливались города с их суетными обитателями. (В той же Тамбовской губернии с населением в три с лишним миллиона человек было всего двадцать две тысячи рабочих. Доля губернии в промышленном производстве страны составляла один процент.)

Как движение, втянувшее в себя широкие массы крестьянства, антоновщина вспыхнула не сразу, она готовилась исподволь и очень тщательно. Еще осенью 1917 года со двора Тамбовской городской управы исчезло три воза винтовок, затем неизвестные ограбили артиллерийские склады. Оружие и боеприпасы были отправлены в лес и там запрятаны. Следующим летом в Кирсанове состоялась конференция эсеров, выработавшая директиву не терять времени даром и, пользуясь создавшейся обстановкой, проникать в советский аппарат на селе: в комбеды, а затем

в Советы, в ревкомы и органы ЧК. На конференции говорилось, что борьба за власть предстоит долгая и упорная.

Время требовало решительных людей, и Антонову предложили пост начальника милиции в его родном городе Кирсанове. Как начальник милиции он обязан был вылавливать бежавших с фронта, которыми кишели села губернии. Он же объявил их мобилизованными на торфоразработки, где, пьянствуя, играя в карты, дезертиры дожидались своего часа.

Антонов знал о состоявшейся конференции эсеров. Знал он и о том, что в отдаленной деревушке Пахотный Угол с некоторых пор действует своеобразная «лесная академия», где будущие командиры бандитских полков изучают партизанскую тактику Фигнера, Давыдова, Сеславина. Известно ему было также, что недавно в Пахотный Угол тайно доставлен целый воз пропагандистской литературы — эсеры старались перешибить влияние большевиков на мужика.

— Писаки! — фыркнул товарищ Антонова по каторге Токмаков (впоследствии он стал во главе второй повстанческой армии).— Подумай, Александр Степаныч, целый воз написали! Делать им нечего.

Антонов понимал нетерпение Токмакова. Деревня, недовольная продовольственной разверсткой, волновалась. Там и сям вспыхивали ожесточенные стычки крестьян с продотрядами. Зажиточный мужик заслонял свои амбары грудью и брал в руки топор.

Сподвижники Антонова жадно втягивали знакомый запах крови и нервничали.

— Ну чего, чего они тянут?

Но руководители партии эсеров все еще чего-то выжидали, не отдавали приказа начать открытую борьбу.

Не выдержав долгого бездействия, Антонов сорвался. Сначала с небольшим отрядом он напал на волостной Совет в селе Верхне-Спасское, затем в селе Инжавино

уничтожил выездную сессию губчека. Его жертвами стали председатель Тамбовского губисполкома Чичканов, помощник уполномоченного губчека Адамов. Он совершал налеты на кооперативы и коммуны. По всей губернии за ним потянулся густой кровавый след.

По мнению эсеровского руководства, Антонов со своими «эксами» немного поторопился. Но делать нечего, надо было направить его бандитскую деятельность в нужное русло, прибрать к своим рукам. Огонь зажжен и не должен потухнуть. Все же это была единственная реальная сила, способная противостоять отрядам Красной Армии.

— Ну вот,— удовлетворенно приговаривал Токмаков, вытирая шашку,— а то мелют и мелют языками. Слушать тошно.

Этот говорильни не любил.

Вокруг них подобрались такие же, как они,— с бешеным тщеславием и небоязнью крови — Плужников, Ишин, Аверьянов, Селянский, Матюхин, Назаров, народ битый, тертый, не раз сидевший в тюрьме.

Красноармейские части на Тамбовщине в то время были малочисленны,— все силы республики сражались с Колчаком, Деникиным, белополяками. Антоновцы чувствовали себя в губернии привольно. Редкие погони красноармейских отрядов они превращали в забаву. Сменяя лошадей в кулацких селах, банда легко делала переходы по сто — сто двадцать верст в сутки. Вокруг Антонова засиял ореол неуловимости. «Удалой гуляет!» — говорили мужики, прослышав об очередном «эксе». Как правило, следы банды терялись в южной части Кирсановского уезда, где стояли непроходимые леса с болотами и речками, где на островах озер Чернец и Змеиное можно было отсидеться в полной безопасности, а кулацкие села Рамза, Трескино, Криволучино, Каменка давали обильный провиант и фураж.

Эсеры искусно учитывали трудности обстановки. В их крикливой программе нашла отражение психология кре-

стьянина-собственника. Антонов со своими отрядами подавался защитником мужика от жадных рук оголодавшего городского пролетария.

Обманутое крестьянство шло в отряды Антонова еще и под влиянием перегибов советских органов на селе. Суровые методы разверстки накаляли обстановку в уездах, и этим пользовались враги, проникшие в советский аппарат. Продкомиссар в Тамбове Гольман санкционировал жестокие поборы в деревнях, а к тем, кто выражал недовольство, применял репрессии.

Симпатии крестьян привлекала и показная щедрость Антонова: на митингах в деревнях он разбрасывал штуки сукна и ситца, награбленные в кооперативах.

По мере того как ширилось восстание, росли и надежды антоновского штаба. В 1919 году Антонов делает попытку связаться с Деникиным. В Урюпино его представители встретились с командиром Второго казачьего корпуса. Однако Деникин не торопился заключать союз с «мужичьем». Его войска взяли Орел, а казачьи разъезды уже маячили под Тулой. Разгром Добровольческой армии утешил оскорбленное самолюбие Антонова. В те дни он получил из Парижа личное послание «мужичьего министра» Виктора Чернова. Из своего парижского далека эмигрант выдвинул лозунг: «Светлое единение всего трудового крестьянства в борьбе с насильниками большевиками». Особое место в наставлениях «министра» отводилось политической работе среди крестьянства. Именно тогда был создан так называемый «Союз трудового крестьянства» (СТК), широко разветвленная организация. На тайных сходках выбирались сельские, волостные и уездные комитеты, затем делегаты уездов собрались на конференцию и выбрали губернский комитет СТК. Штаб губкома СТК расположился в богатом селе Каменка. Здесь Антонов и провозгласил восстание против Советской власти.

За один месяц после объявления войны бандиты убили более двухсот продработников. Было уничтожено шесть миллионов пудов хлеба — четырехмесячная потребность Москвы и Петрограда. Подвоз хлеба в пролетарские центры резко сократился.

(Нынешней зимой, в январе, в клуб бригады пришли московские газеты, и на третьей странице «Правды» Борисов прочел сообщение «От комиссии по снабжению столиц при Совете Труда и Обороны»:

«Сократить в Москве, Петрограде, Иваново-Вознесенском районе и Кронштадте выдачу хлеба населению по карточкам временно... выдавать прежнюю двухдневную норму на три дня».

Коротенькое сообщение было энергично отчеркнуто чьим-то твердым ногтем, видимо самого комбрига, потому что он первым забирал к себе всю свежую почту. Зловещая заметка!

А по дороге с Украины, когда эшелоны бригады ненадолго останавливались на узловых станциях, кавалеристы своими глазами видели страшные картины повального голода, охватившего города и рабочие поселки,— все-таки в деревне голод чувствовался не так. На вокзалах и в пристанционных садиках валялись сотни людей — больные, обессилевшие, а то и умершие. Дети грызли кору с деревьев, рвали первую весеннюю траву. Кричали мешочники, голосили над покойниками женщины. На дымных кострах жгли завшивленную одежду тифозных...

Казалось, то, чего не смогли добиться Колчак, Деникин и белополяки, совершит жесточайший, невиданный голод.)

Антоновцы умело пользовались местными условиями. Поражала способность даже больших соединений мгновенно заметать свой след. В считанные часы по команде предводителя бандиты поодиночке разбредались и потаенными тропами пробирались к своим домам. Карабин засунут в стог, конь поставлен в сарай, а недавно вооруженный

всадник превращался в мирного селянина, который, выставив через плетень бороду, смотрит на измотанную погоней красноармейскую часть. Банды рассасывались, как вода в песке. Но вот поступал условный сигнал — и банда, вооруженная, отдохнувшая, вновь на конях. Гоняться за таким противником — все равно что шашкой зарубить слепня: только руку отмотаешь. К тому же у бандитов была превосходно поставлена разведка и разработана условная сигнализация. Крылья мельницы поставлены косым крестом — в селе чужие, прямым крестом — свои. Между деревнями шныряли неуловимые подростки, передавая распоряжения бандитского центра.

К весне 1921 года в руках Антонова находились две армии по десять полков каждая. Формировались полки по уездам и волостям, носили их названия, снабжались оттуда пополнением, продовольствием и фуражом. На местах работали органы, ведавшие мобилизацией и борьбой с дезертирством. В каждом полку была учреждена должность палача. Антонов ввел в своих войсках политотделы и трибуналы. В оперативном отношении армия подчинялась главному оперштабу, в политическом — губернскому комитету СТК.

После кронштадтского мятежа антоновщина была последней вспышкой контрреволюционных сил. В стране начиналась полоса упорядочения, похожая на большую и основательную приборку в доме после капитального ремонта и въезда настоящих хозяев со всем обширным имуществом.

Была создана Полномочная комиссия ВЦИК под председательством Антонова-Овсеенко (того самого, что арестовал в Зимнем дворце Временное правительство). В Тамбовскую губернию направлялись крупные воинские соединения во главе с испытанными на полях гражданской войны командирами. На ликвидацию восстания отводился месячный срок.

...Наматывая и разматывая с пальца прядь волос, Борисов размышлял о том, что очищение уездов не ограничится одним лишь разгромом вооруженной силы Антонова (о чем как раз и думает сейчас Юцевич, склонившись над развернутой штабной картой), помимо военных усилий понадобится еще немало гибкости, ума, соображения, или, как называл все это комиссар, политики. Бои боями, но соблюдение месячного срока, отпущенного на подавление мятежа, будет во многом зависеть и от того, насколько быстро население деревень и хуторов разберется в обстановке и лишит Антонова своей поддержки. Таким образом, если смотреть на дело по-комиссарски, полное освобождение крестьянству, запуганному бандитской пропагандой, кавалеристы Котовского должны принести не на одних лишь остриях своих заслуженных шашек...

Глава вторая

В угловой комнате, где ночевал комбриг, раздавались мягкие прыжки большого сильного тела. Потом все стихло и на пороге появился Котовский, босиком, слегка задыхаясь. Грудь его, обложенная плитами мускулов, вздымалась: морщась, он потирал запястья с темными, оставшимися навечно следами от кандальных браслетов. Он сам рассказывал, что железо кандалов растирало кожу до крови, особенно в первое время, пока новичок кандальник не освоится со своими оковами... Комиссар с начальником штаба оторвались от дел.

Унимая грудь и по привычке гимнаста встряхивая натруженные руки, комбриг сказал:

— К восьми ноль-ноль всех командиров в штаб.

Юцевич поднялся из-за стола. Котовский хотел что-то добавить, но промолчал. Вчера и сегодня он был слишком резок с вежливым и исполнительным начальником штаба. Заглаживая свою вину, он дружески пихнул Юцевича в

плечо, тот не устоял и, успев подхватить шинель, плюхнулся на табурет. Расставив локти, Котовский с усмешкой протопал мимо заваленного бумагами стола и вышел.

С начальником штаба его связывала давняя и устоявшаяся дружба. Они воевали вместе еще при знаменитом отходе Южной группы войск, когда вместо бригады существовали одни разрозненные, плохо обученные отряды, соединенные лишь железной волей Котовского да желанием выбраться из смертельного окружения. С тех трудных дней комбриг доверительно называл своего молоденького и застенчивого начальника штаба по отчеству: Фомич... Иногда он посмеивался над ним за привычку заносить все мало-мальски важное и интересное в специальную книжечку (мысли, наблюдения, удачные словечки) или же допекал его тем, что острой шашке он предпочитает остро отточенный карандаш (действительно, карандаши были слабостью Юцевича, и телеграфист, работавший на аппарате Морзе, помимо своих прямых обязанностей следил за тем, чтобы перед начальником штаба всегда стоял стаканчик с ювелирно очиненными карандашами).

От колодца донеслось громкое плотоядное кряканье, и любопытный Юцевич, придерживая на плечах шинель и шурша картой, привстал, чтобы высунуться в окошко. У колодца стоял раздетый Котовский и, нагнувшись, нетерпеливо пошевеливал опущенными до самой земли руками.

— Давай! — скомандовал он, нагибаясь еще ниже. Черныш, ординарец, стал хватать приготовленные цибарки с водой и, отстраняясь, чтобы не забрызгаться самому, опрокидывал их на голую спину комбрига.

— У-у!..— заурчал Котовский, бросая пригоршни воды себе в лицо и на голову. С толстых плеч вода стекала под ноги.— Лей, лей! Ты что, взаймы берешь? Добавь, добавь, а то сегодня маловато.

Золотистый Орлик, наблюдавший за купанием хозяина, шаловливо всхрапывал и мотал изящной породистой

головой. Жеребец был уже накормлен, вычищен, раннее солнце сверкало на его гладких атласных боках.

Поднимая грудь и втягивая живот, Котовский крепко растерся. Тело сразу пошло розовыми пятнами и приятно загорелось. Комбриг бегом припустил к крыльцу. Развевая хвост, Орлик погнался за ним куцым неуклюжим скоком. Все время, пока Котовский одевался у себя в комнате, жеребец мыкался под окнами, пытался всунуть через подоконник голову, но натыкался на горшки с пахучей геранью и возмущенно фыркал.

Начальник штаба бросил карандаш на разостланную карту, заложил за голову руки и сладко потянулся. Это был знак, что с делами пока кончено и можно поговорить. Борисов зашел сбоку и стал разглядывать размеченную карту. Все-таки в чем Юцевич мастер — это в отделке штабных документов. Несбывшаяся идея встречного наступления была разрисована на карте — любо поглядеть. Борисов пожалел, что весь этот задуманный маневр повис в воздухе... Сейчас Юцевич предварительно, одним простым карандашом, обозначил свои части, передвигавшиеся в том направлении, куда предположительно отошел противник.

— Интересно,— спросил Юцевич, отзевавшись,— ты бы на его месте торопился сесть в осаду?

Ему не давала покоя причина внезапного отхода Богуславского.

Борисов пожал плечами:

— Вообще-то, если подумать, торопиться ему незачем... Но, с другой стороны... а что делать?

— Ну, сказал! Осада — это гроб. Если Антонов — вахлак, то Богуславский-то — офицер, понимает. Нет, тут что-то не то.

И оба замолчали.

Расслабленно покачиваясь на стуле, Юцевич поделился своими опасениями: трудно придется, если Антонов су-

меет закопаться вот — постучал по карте — в гнилом, непролазном углу на юге Кирсановского уезда.

— А железную дорогу ты учитываешь? — спросил Борисов.

Железная дорога, точно кордон, просекала территорию, охваченную мятежом. К дороге, под защиту вооруженных рабочих отрядов и бронелетучек, спасаясь от бандитской расправы, с первых дней устремились все советские учреждения из уездов, объявленных на военном положении.

Теперь при попытке повстанцев прорваться в свою «южную крепость» железная дорога может сослужить роль наковальни, по которой ударит тяжкий молот регулярных частей Красной Армии.

— На это и надежда...— рассеянно проговорил начальник штаба, потирая тонкими пальцами усталые глаза.

Наступали последние минуты перед началом хлопотливого долгого дня. Разминаясь, комиссар вышел на крыльцо и с удовольствием зажмурился: свежее яркое солнце ударило в глаза. У колодца возился ординарец комбрига Черныш: убрал ведра и сырую попону, раскатал и застегнул рукава гимнастерки. Затем сходил за уздечкой и каким-то горловым коротким окриком позвал Орлика. Жеребец послушно двинулся к нему, как бы с одобрением кивая головой на каждом шагу. Комиссара всегда удивляло, что лошади в бригаде, все без исключения, покоряются угрюмому Чернышу с невероятной легкостью. Бойцы уверяли даже, что Черныш понимает лошадиный язык и разговаривает с ними.

Из блаженного состояния комиссара вывел командир четвертого эскадрона Владимир Чистяков. Смотреть на него — глаз отдыхает: чист, выбрит, подтянут. По примеру Котовского бригада приохотилась к ежедневной гимнастике и обливанию. Теперь не увидишь, чтобы кто-нибудь волочил ноги или плелся с согнутой спиной.

— Что Григорь Иваныч? — спросил эскадронный, кивком показывая на дом.

— Одевается. Проходи.

Придерживая шашку у ноги, Чистяков шагнул в темные сени и сдержанно кашлянул в кулак.

От молодцеватого командира эскадрона шибануло одеколоном, комиссар невольно оглянулся. Кажется, давно ли по неделям не слезали с седла и не разувались, а вот поди же: одеколон! Перемены в бригаде начались в нынешнюю зиму. Большие бои пришли к концу, эскадроны гоняли бандитов, несли охрану сахарных заводов, заготавливали топливо и занимались строем. Удивительная все же вещь — мирная жизнь! За несколько недель с людей слезла вся корка войны. Раньше, бывало, портянки так и сопреют на ногах, теперь же — постели, смена белья, бритье. Иной в первые дни едва не плакал, скобля себя бритвой по одичавшим шершавым щекам, но выхода не было: попробуй-ка показаться в строю невыбритым — сразу же к самому Котовскому. Или какой-нибудь непорядок в одежде.

— К комбригу шагом марш!

А там разговор короткий. Григорий Иванович проведет рукой по щеке подчиненного, проверяя, чисто ли выбрит.

— Ну хорошо,— скажет,— а чего это прореха на рукаве?

Боец покраснеет и вытянется еще старательней.

— Материальное снабжение отстает, товарищ командир бригады!

Неловкие оправдания выведут комбрига из себя.

— Смотри, я с тобой уже второй раз говорю. Надоело. На тебя народ на одного смотрит, а думает о нас о всех. Батька Козолуп какой-то, а не красноармеец. Стыдно! Иди и скажи своему эскадронному, чтобы в следующий раз тебя не ко мне присылал, а сразу в обоз. И — никаких!

Постепенно новый обиход вошел в привычку, и никто из кавалеристов уже не представлял себе жизни иначе.

Потом подошла пора свадеб. Началось с командиров эскадронов, и первым решился Владимир Чистяков. Он пришел к комбригу, стал навытяжку и, невыносимо покраснев, залепетал, что вот... намерен, так сказать... как бы это выразиться... Новость ударила по ушам штабных, как взрыв гранаты. За боями, за бесконечными переходами как-то само собой забылось, что существуют такие мирные счастливые события, как свадьба (а значит, и семья — жена, детишки). Все повскакали с мест и окружили жениха. От смущения Чистяков держался намеренно придурковато и на расспросы отвечал по уставу: так точно, никак нет. Котовский приказал оставить его в покое, обнял, поздравил и гулял у него на свадьбе. За Чистяковым — командир первого эскадрона Николай Скутельник, бывший батрак, не имевший в жизни ничего, кроме коня, шашки да пары запасных портянок. А дальше пошло как по пакатанному. Оказывается, война, какой бы она ни была, никогда не длится вечно и, покуда люди, крутя над головами шашками, скакали в кавалерийские атаки или бегали, пригибаясь, под артиллерийскими обстрелами, жизнь тем временем текла своим чередом, и вот, едва все стихло, обнаружилось, что бойцы, уцелевшие от пуль и клинков, находятся как раз в возрасте женихов, а невесты... о, невест за эти пороховые годы выросло столько, что разбегались глаза. И мирная жизнь властно ворвалась в боевые порядки кавалерийской бригады.

Жена Владимира Чистякова завела дома строгости, и эскадронный, если у него вдруг зазудит между лопатками, в том месте, куда трудней всего достать рукой, теперь уже не чесался спиной о плетень или притолоку, подобно лошади. Нельзя. Николаю Скутельнику досталась жена, видимо, из бывших барынек, сдобная молодящаяся дама. Пока муж бывал на службе, она любила сидеть у окошка и чистить ногти, сонно поглядывая на улицу, на прохожих. Раньше Скутельник сморкался, приставив палец к ноздре, теперь

же у него не переводились чистенькие носовые платки. В первый раз, увидев своего эскадронного сморкающимся в белоснежный платочек, бойцы охнули; они меньше удивились бы, покажи им зеленую лошадь. Командир эскадрона Колесниченко из полка Криворучко любил по вечерам сидеть с женой на скамеечке за воротами и петь песни; хорошо пели, заслушаешься. Иван Кириченко, тоже эскадронный, после ужина выходил на завалинку, босой, распояской, и, дожидаясь жену, лузгал семечки. Его жена пропадала в клубе, в самодеятельности, занятая во всех спектаклях подряд.

Но вот что интересно: комиссар Борисов успел заметить, насколько благотворно действует на деревенских мужиков сам вид ухоженных, подтянутых бойцов, весь их обновленный облик. В отличие от лохматых, проспиртованных бандитов, на кавалеристах все сидело ладно, без морщинки, и это как бы укрепляло веру в их надежность: такие не дрогнут перед первой неудачей, они вообще не отступят, покамест не добьются своего. Всюду, где появлялись эскадроны, люди невольно проникались к ним доверием и тянулись к красноармейцам с расспросами о том, что происходит в большом мире, о новой жизни, о том, что их ожидает. Девятый, конечно, сделал глупость, брякнув о порке на каждой захваченной десятине. Комбриг прав: о чем, о чем, но о земле с мужиком шутить нельзя. Веками он мечтал заполучить ее в свои руки и каждую власть оценивал по одному тому, как она разрешит ему пользоваться землей. А этот... Ну да не попался на глаза Котовскому.

А вот он, кстати, и сам, шутник; шел к штабу, вдруг увидел комиссара и растерялся, не зная, как себя повести: скрыться быстренько с глаз или свернуть в сторону и сделать вид, что не заметил?

Борисов с улыбкой наблюдал, как неумело, точно нашкодивший мальчишка, прячется командир эскадрона, лишь бы избежать начальства (Девятый, конечно, чуял

свою вину, штабные уже успели передать, как рассердился комбриг, узнав о его дурацкой выдумке).

— Палыч...— позвал наконец Борисов и сделал знак пальцем. Девятый удивленно выкатил глаза, будто заметил комиссара только что, сию минуту. Он и подбежал к крыльцу с такой готовностью, словно донельзя обрадован неожиданной встречей.

— Слушай, Палыч... у тебя в голове ум или что?

С притворным изумлением командир эскадрона развел руками и дурашливо вытаращился:

— А что такое, Петр Александрыч? Что-нибудь случилось?

— Ты вот что... ты перестань! Видали его? Нашел о чем шутки шутить! Понимать же надо.

Покаянно стащив выгоревшую фуражку, Девятый провел ладонью по сильно лысеющей крепкой голове. Вообще-то с комиссаром разговаривать было легко. Попадись он самому Котовскому, с тем разговор был бы совсем другой.

Сверху вниз комиссар смотрел на его широкие плечи, на простоватое выражение грубого, обветренного лица.

На гимнастерке эскадронного отчетливо виднелись дырочки и невыгоревшие места от георгиевских крестов,— четыре креста заслужил он в мировую войну. На требование Котовского снять и выбросить царские награды Девятый сначала обиделся: «Григорь Иваныч, или нам их зазря давали?» Только узнав, что комбриг тоже имел Георгия, эскадронный смирился. «А дырочки оставь,— утешил его Котовский.— Скоро свои награды будешь носить». И точно: за взятие Одессы и Проскурова командир эскадрона Владимир Девятый дважды представлялся к ордену Красного Знамени, однако бои шли так густо, что награждения не поспевали за событиями.

— И вот еще что,— вспомнил комиссар.— Сократи ты, ради бога, свою трехдюймовку. На всю деревню поливаешь. У людей праздник, а ты... Ведь такое несешь — лошади пугаются.

Девятый надел фуражку.

— Говорю, как умею. А если кто хочет по-культурному, пускай вон к Кольке Скутельнику. У него баба ногти красит, а сам он сопли в карман складывает.

— Слушай, Палыч... ты сам понимать должен. Или к Григорь Иванычу захотел?

Кажется, самое неприятное миновало, и Девятый оживился.

— Так уж сразу и к Григорь Иванычу! Скажешь ты тоже, Петр Александрыч.

Эскадронный подмигнул желтоватым глазом и трубно кашлянул, прочищая свое знаменитое горло. Ну как с ним будешь говорить! Неистощимая ругань Девятого была неотделима от его пушечного голоса, а голосищем своим эскадронный гордился и даже форсил, потому что с недавних пор его зычный раскатистый бас стал считаться достоянием всей бригады. Нынешней зимой Девятому завидовали все командиры эскадронов: привалил же человеку божий дар! В боях они были одинаковы. Но на смотрах, на парадах... Тут Девятый сразу возвысился над многими. И он щеголял своим басом и выделялся, как прежде выделялся бесстрашием и отрешенностью от всего, что не составляло жизни его эскадрона.

— Разрешите идти? — спросил с ухмылкой Девятый, щелкнув каблуками и козыряя с той тяжеловесной щеголеватостью, какую вся бригада переняла от самого Котовского. Козыряние состояло из двух приемов: сначала к головному убору неторопливо поднимался сжатый кулак, а у самого козырька из кулака вдруг разом выбрасывались пальцы.

— Бросай, Палыч, свою похабель, серьезно говорю,— посоветовал комиссар.— От людей стыдно.

— Постараемся, чтоб стыдно не было.

Эскадронный снова, еще более лихо и четко, исполнил прием под козырек и, не опуская темной ладони, сделал

поворот через левое плечо. Глядя, как кривоватые ноги эскадронного в стоптанных наружу сапогах отбивают шаг, комиссар покачал головой.

Скоро голос Девятого слышался у коновязи, где бойцы донимали начальника пулеметной команды Николая Сливу, чистившего пулемет.

— Мыкола, а Мыкола...— канючил Мартынов, боец из эскадрона Девятого, неторопливо седлая свою гнедую, отдохнувшую и вычищенную лошадь.

Начальник пулеметной команды знал зубоскальство Мартынова и не отзывался, занятый своим делом.

У Сливы страшное лицо. В прошлом году пуля попала ему под глаз и пробила голову навылет. Удивительно, но Слива остался жив. Когда он, провалявшись в лазарете десять дней, снова явился в полк, бойцы воззрились на него, как на восставшего из мертвых. Мартынов назвал Сливу «чудом медицины». Другой бы на его месте брякнулся на землю и ногой не дрыгнул.

Свежая рана изуродовала лицо Сливы: стянулась кожа под глазом, отчего отворотилось нижнее веко и задрался нос. Но доброты человек был редкой, и недаром приблудившаяся к бригаде детвора не чаяла в нем души. Все свое время он отдавал детям, о себе ему некогда было подумать. И даже Котовский, строгий к внешнему виду бойцов, прощал ему вечную неряшливость, отлично зная, на что у начальника пулеметной команды уходит все свободное время.

— Мыкола, а Мыкола,— не отставал Мартынов.— Ты слышишь?

— Ну чего тебе? — простодушно отозвался наконец Слива, заранее зная, что Мартынов готовит бойцам потеху.

— Мыкола, или это у вас секта какая, что ли?

— Какая еще секта? — удивился Слива. В руках он держал густо пропитанную оружейным маслом ветошь.

— Да волосы, я гляжу, у тебя на харе совсем не растут. Ты не из скопцов, случаем?

Приседая от хохота, бойцы восторженно лупили себя по коленям:

— Ну Мартын!.. Ну скажет!..

А тут еще, улыбаясь во весь рот, что-то пристегнул Мамаев, «Мамай», дружок Мартынова, и хохот загремел с такой силой, что из штаба, в окошко, высунулось удивленное лицо Юцевича.

Глядя на хохочущие кругом рожи, начальник пулеметной команды обиженно захлопал светлыми ресницами, но тут же, вспомнив о разобранном пулемете, забыл обо всем. К войне он относился, как мужик к своим обязанностям. День-деньской он хлопотал по своему машинному хозяйству, и не было часа, чтобы его умелые руки искусного пулеметчика не нашли себе какого-либо занятия. В складках старопьких, кое-как залатанных сапог Сливы запеклась еще прошлогодняя пыль, зато пулеметы, все до одного, напоминали опрятных, ухоженных детей у заботливой матери. Самозабвенно работая на войну, содержа свои пулеметы в постоянной готовности к бою, Слива тем не менее слыл самым добродушным человеком в бригаде. Помимо детворы он любил голубей, и пулеметная команда первого полка напоминала кочевой голубятник. Птицы, как и дети, чувствовали душу этого незлобивого человека. Голуби садились ему на плечи, на голову, он брал их в руки и поил изо рта. Гнездились они в пустых патронных ящиках; они настолько привыкли к боевой обстановке, что при первой же стрельбе дружно забивались в свои укрытия и не высовывали носа.

По распоряжению Котовского детей и голубей Слива вынужден был оставить в Умани, на зимних квартирах. Он тосковал без своего беспокойного шумного окружения, но всей душой верил, что эта разлука продлится месяц, не больше...

Помещение штаба постепенно заполнялось, подходили вызванные командиры. В избе становилось тесно. Послед-

ними пришли командир первого полка Попов и комиссар полка Данилов.

Вчера, выговаривая Юцевичу за расхлябанность командиров, Котовский в какой-то степени был прав. Начальник штаба отчетливо улавливал, что в настроении собравшихся не было обычной сосредоточенности, какая предшествует ожидающимся боям. Для них настоящая война закончилась в прошлом году, когда бригада хитроумным и мощным броском заняла Проскуров и Волочиск и отбросила остатки разгромленного врага за реку Збруч, за пределы республики. По сравнению с тем, что было, борьба с Антоновым представлялась им скорее командировкой, после которой эскадроны вновь вернутся в уже обжитую, уютную Умань.

Начальник штаба одернул гимнастерку, заученным движением провел большими пальцами обеих рук под туго натянутым ремнем и, легонько стукнув в дверь, вошел в комнату к комбригу. Котовский, уже готовый, блистая выбритой головой, стоял у окна и задумчиво рассматривал небольшую фотографию — бледный, выцветший снимок миловидной женщины. Одетый комбриг выглядел строже и, как показалось Юцевичу, намного старше всех окружающих. (В голове начальника штаба мелькнула мысль, что скоро Котовскому исполнится целых сорок лет. «Не забыть поздравить!» — наметил для себя аккуратный Юцевич и тут же мысленно вписал это мелким почерком в свою записную книжечку.)

Короткая суконная гимнастерка Котовского собрана сзади, из широкого кожаного ремня, затянутого до предела, вырастает массивный корпус. Грудь и шея комбрига так и просились наружу, однако он затягивал их в служебное сукно, как бы подчиняя всего себя какой-то большой, издавна выбранной цели, и это подчинение стало для него привычным образом жизни. С некоторых пор Котовский брил усики, оставляя лишь квадратик под самым носом.

Юцевич, тайно любуясь своим комбригом, находил, что подрезанные таким образом усики придают лицу Котовского что-то окончательно командирское.

Пряча фотографию в нагрудный карман, комбриг взглянул на тихо стоявшего начальника штаба из-под приспущенных век, чуть надменно, как бы стесняясь, что его застали за таким неслужебным занятием. Фотография, однако, никак не укладывалась в карман — цеплялся, заворачиваясь, уголок,— и Котовский, засунув ее как попало, сердито застегнул карман.

Начальник штаба был посвящен в семейные дела комбрига и знал, что Григорий Иванович, беспокоясь за жену, уговаривал ее остаться в Умани (она ждала ребенка), но Ольга Петровна, врач в бригадном лазарете, не захотела слушать никаких доводов. С первых своих дней в бригаде она находилась рядом с Котовским. Дорогу Ольга Петровна перенесла тяжело. Машинист вел состав, словно нарочно, рывками, и Ольгу Петровну пришлось прямо с вокзала отправить в Тамбов, в больницу. Ее увезли на машине комбрига, открытом трофейном автомобиле «роллс-ройс», в сопровождении шофера и порученца. Лошади так укачались, что в Моршанске их с трудом свели из вагонов. К машинисту, отчаянно ругаясь и грозя, побежал Девятый.

Вежливо пропуская грузно шагавшего Котовского в комнату, где дожидались командиры, молоденький начальник штаба подумал о том, что, видимо, на днях комбриг получит из Тамбова радостное известие (Котовский ждал, что родится сын, непременно сын!).

Глава третья

— Прошу всех ближе,— отрывисто произнес комбриг, оглядев собравшихся.

На мгновение взгляд его задержался на Девятом, и тот обреченно приготовился, сел прямее. Но нет, комбриг сно-

ва опустил голову и сосредоточенно навис над разостланной картой, уперев обе руки в стол.

«Пронесет,— эскадронный, сдерживаясь, кашлянул.— Не до меня сегодня».

Все же вылезать вперед он не стал, уселся за широкой спиной благоухающего одеколоном Чистякова. Тот посмотрел назад и завозился с табуреткой, отъезжая вбок, но Девятый остановил его: «Сиди, сиди, не мешаешь». Оглянулся и Вальдман, командир второго эскадрона, бровастый, черный, с крупным носом; скользнул взглядом и отвернулся. С Девятым у Вальдмана были какие-то давние нелады, жили они немирно. Девятый провел рукой по щеке, тронул пуговицы на воротнике. Ежедневное бритье давалось ему с мукой, волосы росли жесткие, словно гвозди, хоть щипцами рви, но Котовский не признавал никаких отговорок, считая, что наружность командира сама дисциплинирует, подтягивает бойцов. «У тебя вот, скажем, всего карман на груди не застегнут,— отчитывал он как-то Вальдмана.— Я понимаю: ты туда бумаг из своего хозяйства напихал. Но разве ты имеешь право остановить того же Мамаева, что у него грудь нараспашку или чуб до земли? Он тебя, конечно, слушает, тянется, а сам — зырк на твой карман. И все, и — никаких! Весь твой запал впустую. Дескать, меня пушит, а сам?»

Проверив, все ли у него выглядит в полном порядке, Девятый вздохнул и стал слушать.

Говорил командир полка Попов. Никак не ожидая, что комбриг поднимет его на ноги и заставит отчитываться, Попов не мог скрыть удивления. Казалось бы, срочный вызов в штаб связан с чем-то очень важным, неотложным, и командиры ожидали, что Котовский, не теряя времени, станет держать речь сам, однако он, после того как пригласил всех сесть к столу теснее, поднял голову от карты, секунду-другую глядел на Попова, будто что-то припоминая, и вдруг приказал ему доложить о состоянии своего полка.

Приказ есть приказ. Попов встал и, порывшись в сумке, нашел копию акта — результат недавнего обследования полка политотделом дивизии. Все, что он мог сказать, было уже известно, поэтому он скупо, сухо перечислил только цифры. Личный состав — 328 человек. Лошадей — 343. Командировано на курсы 15 человек. 10 бойцов — на курсах телефонистов. Состояние ветеринарной части неважное: совсем нет медикаментов. В эскадронах недостает обмундирования — шинелей, гимнастерок, сапог, нательного белья. Особенная нехватка мыла. Хозяйственная часть имеет 15 километров телефонного провода. Был случай пьянства, виновный отправлен в особый отдел.

— Все как будто,— обронил Попов и, проверив еще раз, не забыл ли чего, стал складывать листок. Он не мог понять: слушал его комбриг, не слушал? Нет, скорее всего, не слушал.

Застегнув командирскую сумку и дожидаясь разрешения сесть, он остался на ногах.

Возникшая пауза наполнялась легким шевелением, скрипом ремней, стуком переставляемых шашек. Ничего не замечая, Котовский продолжал напряженно вглядываться в карандашные пометки на карте. Вот он даже прикрыл глаза, но, когда снова открыл, взгляд его оставался незамутненным, казалось, он зажмурился только затем, чтобы лучше что-то разглядеть.

Внезапно он вынырнул из своих раздумий, увидел стоявшего Попова и поспешно кивнул ему, затем, все еще оттягивая какой-то миг, перевел отсутствующий взгляд на комиссара полка Данилова.

Тот приготовился заранее.

Сначала Данилова стесняло, что комбриг, перебитый на разгоне мысли, вновь с головой ушел в какие-то свои расчеты, но постепенно он увлекся. Пожалуй, впервые за все время существования бригады зима была благоприятной для политической работы. В отличие от прошлых лет,

когда случайно попавшая газета зачитывалась бойцами до лохмотьев, сейчас в снабжении литературой нет никаких перебоев. В эскадронах, перечислял Данилов, организовано четыре комячейки, работают школы грамоты (правда, нет еще помвоенкома и инструктора-организатора). Отношение красноармейцев к крестьянам и обратно хорошее. Население повсеместно интересуется, что такое коммуна, собирается ли Советская власть торговать с заграницей, скоро ли отменят продразверстку. Очень активно прошла «Неделя красной казармы», во всех эскадронах состоялись митинги и собрания. Вот темы регулярных политбесед с бойцами (по бумажке): «Текущий момент и трудовой фронт», «Развитие бандитизма и борьба с ним», «Что дала Октябрьская революция рабочим и крестьянам», «Для чего нам нужно пролетарское искусство, и какая польза от него»... Разворачивается клубная работа, которая в походных условиях, если говорить прямо, была совершенно заброшена: не до нее было. Силами бойцов поставлены интересные спектакли: «Шельменко-денщик», «Новым шляхом», «Красное подполье». Правда, признал Данилов и, хмыкнув, с виноватым видом почесал пальцем висок, во время спектакля ранен лекпом, стоявший за кулисой в тот момент, когда со сцены надо было стрелять из револьвера...

Упоминание о случае с лекпомом вызвало оживление. Еще бы! Данилов, сам питавший слабость к клубным постановкам, ревниво следил, чтобы на сцене все выглядело вполне натурально. К тому же зрители (да и артисты тоже) требовали по ходу действия как можно больше пальбы.

— Так,— комбриг вскинул голову и, приходя в себя, слегка ошалелыми глазами посмотрел на Данилова.— У вас что — все? Садитесь.— И, словно кладя конец каким-то колебаниям, крепко сверху вниз провел рукой по лицу.

С некоторым разочарованием Данилов медленно опустился на место.

— Н-ну, так,— произнес комбриг и растопыренной пятерней твердо накрыл на карте будущий район боевых действий.

Властность жестов Котовского была привычной для окружающих его людей, однако сегодня эта командирская манера всего лишь помогала ему скрыть свое душевное состояние.

Со вчерашнего дня, с того момента, когда он узнал, что планы штаба бригады не являются секретом для противника, Григорий Иванович испытывал неловкое ощущение, которое появлялось, едва присущая ему уверенность вдруг оставляла его. Редкий случай, но сегодня было именно так. Сейчас, пока докладывали Попов и Данилов, комбриг думал о том, что собравшиеся командиры ждут от него четких и конкретных указаний, как от человека, который со своей высоты обязан видеть секрет победы, он же, всячески оттягивая момент своего выступления, пытался обрести необходимую уверенность, мрачнел и все настойчивей склонялся над картой.

Взять себя в руки помогла мысль, что, видимо, сам он тоже находился во власти пренебрежения к военному искусству мятежников, иначе досадная находка Маштавы не вывела бы его из равновесия. Он еще на что-то надеялся, ожидая оперативной сводки Криворучко, но вот прискакал с пакетом Зацепа, и тревожная загадочность противника, с которым не удалось сшибиться в открытом бою, усилилась еще больше. Во всяком случае, для самого себя Григорий Иванович сделал твердый вывод, что враг отнюдь не так прост, как ожидалось.

И все-таки неизвестность, неизвестность!

Допрос пленных, донесения эскадронных командиров, оперативная сводка из передового полка — все настораживало: что-то в планах мятежников изменилось решительно и вдруг. Почему противник с такой поспешностью отводит свои главные силы, выставляя в сторожевые охранения

мелкие, небоеспособные отряды? Логики здесь не виделось.

Сделав паузу, комбриг еще раз взглянул на размеченную карту, точно надеясь прочесть по ней смысл тайного, пока не разгаданного маневра мятежников.

— Я готов согласиться, что перехваченный приказ ничего не изменил в планах Антонова, что Богуславский свернулся и ушел заранее. Но мне нужна ясность! Мне нужны пленные — не обозные мужики, а из командного состава. Я хочу знать, что там думают, на что надеются, что затевают. Гадать, прикидывать хватит. Второй день гадаем. Целую армию упустили!

О неудаче Криворучко с Богуславским командиры успели узнать еще до совещания. Вести на войне, плохие ли, хорошие, на месте не лежат.

Командир первого эскадрона Николай Скутельник, как бы размышляя вслух, проговорил:

— Если бы он не офицер был, тогда понятно: испугаться мог. А офицерье — они до крови — только дорваться дай. Хлебом не корми... Да и не одна, поди-ка, тыща у него?

— Какая тыща? — не понял Котовский.

— Ну, силы. Живой.

— А... Если бы одна — какой разговор? Тогда никакого и разговору бы не было.

— А сколько же, к примеру? — живо заинтересовался эскадронный и, забывшись, стал обкусывать зубами ноготь: застарелая привычка, от которой его не могла отвадить даже строгая жена. Комиссар Борисов, перехватив взгляд Скутельника, укоризненно скривился: ну что ты, в самом деле? Брось! Эскадронный покраснел и от соблазна зажал кулаки в коленях.

Молчаливая сцена между Борисовым и Скутельником не прошла для комбрига незамеченной, он проследил, как эскадронный спрятал руки.

— Сколько, сколько... Не маленький, сам посчитай. Две армии у Антонова. Ну, на два разделить умеешь?

Пока Скутельник, мелко-мелко замигав, производил в уме подсчет, эскадронный Вальдман прокашлялся и обеими руками самодовольно хлопнул себя по коленям:

— Чего их сейчас считать? Сосчитаем, когда разобьем. Под Проскуровом уж какой беляк был, а и то... А здешние... Мои ребята правду говорят: троих таких на одного — и делать нечего.

Комбриг и комиссар Борисов переглянулись. Вот-вот, как раз то самое: шапками закидаем... Отвечать Григорий Иванович не торопился, смотрел на эскадронного с терпеливым сожалением. Всем хорош Вальдман: исполнителен, стоек в бою; дашь ему задание — и как за каменной стеной; но вот соображения, или, как любит говорить Борисов, головы, политики...

— Троих... На одного... Шашками они у тебя махать мастера. Под Проскуровом-то кто был — забыл? Там Петлюра, чужой, а тут свои, домашние. Он здесь все знает — каждую тропку, каждый овраг, каждый стог. Ты его в дверь ждешь, а он — в окошко. Ты его здесь, а он тебя... О чем это вы там? — спросил комбриг и движением подбородка снизу вверх показал в угол, где начальник пулеметной команды Слива перешептывался с кем-то из командиров.

Ответил Слива:

— Рассуждаем, Григорь Иваныч. Это как говорится: бойся козла спереди, лошади сзади, а Антонова, выходит, со всех сторон.

— О! Именно! Вот так и думай, так и настраивайся. И своих настраивай. А то, я гляжу, некоторые как на прогулку собрались. Не будет прогулки, зарубите себе! Заранее приказываю всем: поставь глаза даже на затылок. Понятно? Потому что враг особенный. Мы тут сколько находимся? Два дня всего? А он видал что успел уже? — Нашел

и бросил перед собой на стол копию своего приказа, доставленную от Маштавы.— Это же суметь надо! Это же...— поискал подходящего слова и не нашел.— Или сам не понимаешь? Так что вперед шашки-то ум посылай, больше толку будет.

Вальдман дисциплинированно не возражал, но, человек упрямый, всем видом показывал, что ум умом, а шашка шашкой: она не подведет, проверено много раз. Как с кавалеристом с ним в бригаде мог сравниться один лихой Маштава, заместитель Криворучко.

— Он их бровями напужает,— пророкотал Девятый, не удержавшись, чтобы не поддеть соперника. С нынешней зимы, едва начались смотры, эскадрон Вальдмана по выправке, по подготовке стал Девятому поперек горла.

Крепкая подбритая шея Вальдмана покраснела, он с трудом поворотил голову, но обрезать обидчика не успел, потому что комбриг продолжал говорить, обращаясь попрежнему к нему.

— А у тебя, Григорий, прямо скажу, хочешь обижайся, хочешь нет, ребята как на блины собрались. Вчера твои ведь в карауле были? Твои. Смотрю, стоит герой и винтовкой подпирается. «Ты,— говорю,— с кем стоишь: с оружием или с бабой? А ну стань как полагается!» А потом, гляжу, она у него и не пристреляна совсем... Так вот, всем говорю: пока не поздно, чтобы был порядок. Каждое оружие проверь и в каждой красноармейской книжке сделай отметку. Больше повторять не буду!

Начальник штаба, до этого штриховавший всевозможные квадратики и ромбики на бумажной четвертушке (стопка таких нарезанных листочков постоянно была у него под рукой), после этих слов комбрига бросил художничать и потянул к себе чистую страницу для заметок. За время работы с Котовским он привык схватывать мысли комбрига на лету и потом оформлять их в виде приказов по бригаде.

— И еще,— вспомнил комбриг,— кони... Ну что это такое? Как вы без коня воевать собираетесь? Вот он,— показал на комполка Попова,— говорил, что нет лекарств. Верно, нету, нехватка. Ну а ты-то, сам-то (это опять Вальдману)? Или первый год воюешь? Можно же вылечить коня и по-своему, по-народному. Есть же средства, и ты их знаешь. Знаешь, Григорий, и не притворяйся, что не знаешь.

«Достается!» — посочувствовал Юцевич эскадронному. Сегодня что-то действительно все разносы комбрига на него одного. Вальдман побагровел, сидел с опущенной головой.

— А он их одеколоном прыскает,— снова ввернул Девятый.

На этот раз Вальдман дернулся, как от удара.

— Ты... это самое... соображай, чего мелешь! Или, думаешь, глотку заимел, так теперь ори, что в башку твою дурную влезет?

— Ты на меня бровями не шевели,— отмахнулся Девятый.— Ты на бабу свою шевели.

От возмущения у Вальдмана остановились глаза.

— Ладно вам! — прикрикнул на них комбриг и взглядом пристыдил обоих.— Как маленькие, честное слово.

Вальдман, рывком двинув свой табурет, отсел от Девятого подальше.

— Слово комиссару,— объявил Котовский, заметив, что Борисов делает ему едва заметный знак.

На взгляд Борисова, в словах комбрига, когда он вроде бы ничего еще не приказывал, не диктовал, а всего лишь возражал командирам,— в словах его содержались две важные мысли, на которых Котовский по обыкновению не остановился, не развил их, а они несомненно стоили особого внимания, потому что коренным образом меняли неправильный взгляд на противника и вместе с тем в совершенно новом свете представляли роль бригады, каждого

се бойца и командира. Но такова уж манера Котовского: он заставлял своих командиров думать наравне с собой, высказываться по ходу обсуждения, зная, что при этом начальник штаба обязательно уловит главное, основное и вовремя возьмет на карандаш. В таких разговорах, а часто даже в перепалках, вырисовывались чисто военные решения, о которых бригада узнавала из боевых приказов, написанных начальником штаба. Борисов не сомневался, что мысли, которые только что показались ему важными, Юцевич также не пропустит, и все же он сделал знак, что хочет говорить, потому что за легкомысленное настроение, проскочившее в словах Вальдмана, он чувствовал и свою вину (едва бригада получила приказ грузиться в эшелоны, Борисов позаботился, чтобы политработа с людьми велась уже в пути, но, видимо, в бойцах крепко засело пренебрежение к такому противнику, как бандит. Однако здесь, и Котовский совершенно прав, бандит совсем иной, не тот, какого бригада гоняла на Украине, и следовало вовремя позаботиться об отрезвлении, пока этого не добился противник — не добился, как обычно на войне, обильной кровью).

Прежний комиссар Христофоров, убитый под Тирасполем, любил повторять: «А давай взглянем пошире!»; и в этом подходе к любому делу — подниматься для обзора выше остальных — заключалось, как полагал Борисов, основное назначение комиссара. Вот и сейчас он напомнил, что Ленин в одном из последних выступлений назвал сегодняшнюю деревню сильно «осереднячившейся». В самом деле, крестьянство, получив в свое владение бывшие помещичьи земли, стало жить лучше, зажиточней, и на этом-то как раз и сыграл Антонов, выставив коммунистов грабителями крепкого хозяйственного мужика. На недовольстве деревни продовольственной разверсткой построена вся пропаганда антоновского штаба, этим недовольством держится вся огромная армия мятежников. Но (и Бо-

рисов наставил палец, призывая сосредоточиться на том, что он сейчас скажет) Владимир Ильич Ленин еще в феврале, за месяц до X съезда партии, настоял, чтобы в Тамбовской губернии продовольственную разверстку заменили налогом. И ее заменили — было вынесено специальное постановление. Однако главари мятежа положили все силы, чтобы ленинское распоряжение не дошло до ушей крестьянства. Антонов и его помощники сразу поняли убийственную силу этого шага Советской власти: из их рук выбито основное оружие. Что им теперь остается? Чем еще зажечь мужика, как удержать его в повстанческой армии? А нечем. Вот и остается им стращать, дурачить...

— Так что Григорий Иванович правильно сказал: вперед шашки ум посылай. Ум! Что это значит? А это значит, что бандиты мужику поют одни песни, а мы ему должны — напротив. Антонов мужика стращает нами, а ты ему покажи совсем наоборот. Они ему вранье, а ты ему — правду. Вот и пойдет у нас дело. А коль мужик узнает настоящую правду, ему и воевать будет не за что. Ведь так? За что он будет по лесам-то мыкаться? Вот и получится,— Борисов повернулся к Вальдману,— что шашкой ты зарубишь одного-двоих. Пусть даже десятерых. А словом, правильным словом и поступком ты разоружишь у Антонова сразу целый отряд. Полк! Чуешь? Да и другое еще надо понимать: сейчас весна, самое время работать...

— Сейчас день год кормит,— вставил Котовский.— Сейчас он не посеет — что зимой жрать станет? Он же понимает!

— Сами видели,— продолжал Борисов,— мужик к нам лезет жадно, гуртом. Он же слышал, прознал слухом, что есть какое-то постановление, а от него его скрывают. Ему антоновское вранье уже поперек горла стоит. Поэтому он и тянется к нам, тянется за правдой, и мы должны ему ее растолковать, как говорится, разжевать и в рот положить.

— Только не так, как некоторые тут,— заметил комбриг, выразительно глянув на Девятого.— Тоже мне — нашел где шутки шутить!

— Глотка есть — ума не надо,— не удержался торжествующий Вальдман.

Лицо Девятого побагровело. Ведь знал же, что комбриг, если только попадешь ему на заметку, не спустит, не забудет — не в его это правилах. Но понадеялся, что за делами, за важными заботами пронесет. Не пронесло, нашел-таки момент... Чувствуя жар на своих щеках, Девятый не поднимал глаз. Даже обидное замечание Вальдмана он пропустил мимо ушей.

— Думается, Григорий Иванович,— говорил тем временем Борисов,— ошибку мы дали, что оставили клуб дома. Пусть хоть газеты бы лежали, которых тут днем с огнем... Хоть человек бы какой сидел и людям отвечал.

Подняв сложенный газетный лист, Борисов показал его всем.

— Губернские коммунисты обещают нам всяческую помощь и поддержку. «Тамбовские известия» будут в каждом номере давать сообщения о борьбе с бандитизмом. Специально для крестьян, для села будет выходить газета «Тамбовский пахарь». Так что, товарищ Вальдман, война сейчас маленечко не та. Когда надо будет шашкой махать, мы знаем, ты не подведешь. Но здесь — и тебе об этом особо указали, упирай не на одну шашку. Не на одну.

Улыбкой, с какой комиссар произносил последние слова, самой интонацией он словно хотел сказать, что ценит и всегда ценил Вальдмана за лихость и отвагу, но — что делать? — времена меняются, воевать приходится по-новому.

Мало-помалу неразгаданный маневр Богуславского — а совещание начиналось под знаком общего недоумения, вызванного этим шагом,— уже не представлялся таким тревожным. В военном отношении мятежники могли еще

не один раз удивить преследователей, однако если взглянуть на все увертки главарей восстания так, как это только что сделал комиссар, то все их маневры выглядят лишь отчаянными потугами затянуть сопротивление, продлить свое обреченное существование.

Усевшись на место, Борисов, остужая лицо, поднес ладони к щекам и что-то сказал Юцевичу на ухо, тот удивился, переспросил и задумался, прижав карандашом кончик носа. Хозяйственный Слива уже посматривал на дверь, торопясь к своим «машинам»... Пользуясь общим оживлением, комиссар полка Данилов счел подходящим напомнить о клубе — в череде неотложных дел о таком пустяке могли и забыть. Правда, он знал, что к клубным постановкам неравнодушен сам командир бригады. Как правило, Григорий Иванович, несмотря на занятость, не пропускал ни одного нового спектакля.

— С клубом тебе здесь будет похужей,— озабоченно заметил Слива, утирая с обезображенного глаза постоянную слезу.— Женщину если играть — кого поставишь? Не везти же и жен сюда.

— Да ну...— махнул Скутельник.— Любого поставим, и пусть играет. Тоже мне...

— Мужик, то есть боец,— бабу? — изумился Слива.

— А что в этом такого? Боец все должен уметь!

Неожиданно Котовский, вслушиваясь в бойкий неслужебный спор командиров, рассмеялся и, показывая пальцем на Скутельника, дал понять, что смех его вызван последними словами эскадронного.

— Ты, Николай,— сказал он, отсмеявшись,— как японец. Это у японцев не принято пускать женщин на сцену. Женская роль — все равно актер мужчина... А случай я сейчас вспомнил, когда в Костромском полку служил. Мы тогда в Житомире стояли. Тоже святки подошли, задумали спектакль, а для женской роли — ну хоть убей — никого.... Выбрали, помню, «Казака-стихотворца», там роль

Маруси есть. Ну кого? И приказали одному солдату, даже, верней, солдатику, он в оркестре на флейте играл. И все бы хорошо прошло — много ли солдатам надо,— но, как на грех, на спектакль командир дивизии приехал, генерал. Сел, понятно, в первом ряду, вокруг него все наши подхалимы закрутились. Ну, а спектакль идет себе, и флейтист наш так дает, что солдаты за животы хватаются. Талант у парня оказался... А генерал табак нюхал. Достал он табакерку, нюхнул и — апчхи! И что вы думаете? «Маруся» на сцене, этот флейтист самый, вдруг руки по швам, каблуком в каблук ударил: «Здравия желаю, ваше превосходительство!» А голос — как вот у Палыча. И все...— перекрывая общий смех, выкрикнул Котовский.— Весь спектакль кувырком!

Посмеялись. Девятый, радуясь тому, что за свою несуразную шутку отделался довольно легко, повеселел и. не зная больше за собой никаких грехов, подъезжал все ближе — намолчался.

— Значит,— подытожил комбриг, прихлопнув ладонью,— клуб доставим. А с женскими ролями как-нибудь справимся. Да и не нюхает у нас как будто никто, желать здравия некому.

В сутолоке, когда все главное как будто обговорено, решено и — с плеч долой, командиры стали подниматься. Загремели отодвигаемые табуретки.

— Григорь Иваныч,— пророкотал голос Девятого,— тут разъяснение требуется небольшое... Мужики из меня прямо душу вынимают: правду, говорят, нет, что с буржуями договорились торговать? А главное, мы к ним, говорят, поедем или они к нам?

Спросил и тут же понял, что зря, однако, вылез, лучше бы помалкивал, не обращал на себя внимания. Точно впервые как следует увидев эскадронного, комбриг с усилием в него вгляделся и, видно было, что-то стал мучительно припоминать.

— А вот что,— и веселости Котовского как не бывало, сразу расстроился,— слушай, Палыч. Ну что мне с тобой делать — ума не приложу.

Убежденный, что тут какая-то ошибка, которая сейчас же и выяснится, Девятый стал было таращить глаза, но комбриг не дал ему раскрыть рта.

— Стыдно, Палыч. Честно говорю, стыдно. Ведь уши отваливаются слушать тебя. Эка, скажут, приехали... Мало они тут от Антонова матерков наслушались, так нет, вон какого артиста привезли.

«Эх,— казнил себя Девятый,— дернуло же за язык! Вот всегда так...»

— Давай, Палыч, по добру договоримся. Прямо говорю, терпеть больше нельзя. Сам понимаешь... Ну что ты как сыч молчишь?

— Да ладно...— эскадронный, глядя под ноги, переступил.

— Ну, что — «ладно»? Что за «ладно»? — начал выходить из себя Котовский. Отвиливания он не выносил.

— Попробую, говорю.

— Я те дам — попробую! Видали его — пробовальщик нашелся. Ты скажи и сделай, понял? И — никаких! А то — попробую...

Эскадронный стоял с таким видом, что, кажется, режь его, жги — больше не выжмешь ни слова.

— Смотри,— смягчился комбриг.— Ты меня знаешь.

Как будто можно было расходиться.

С неизменной шинелью на плечах Юцевич тронул комбрига за локоть и, отвернувшись вместе с ним к окну, стал что-то показывать на своих исписанных листочках.

— Постойте,— бросил через плечо Котовский.— Еще не все.

И продолжал советоваться с начальником штаба.

— Гм... Что же ты раньше-то молчал? — упрекнул он Юцевича и жестом призвал командиров вернуться к столу.

Дело касалось известной манеры бандитских отрядов петлять, запутывать свой след и время от времени возвращаться на те места, откуда их, казалось бы, окончательно выкурили. Богуславский хоть и держит путь в глубину губернии, все же едва ли упустит случай лишний раз гульнуть: страх мужика перед расправой сейчас единственный союзник бандитов. Юцевич предлагал оставлять в очищенных от бандитов деревнях небольшие гарнизоны, и Котовский с ним соглашался: это уже оправдало себя на Украине, где кавалеристы несли охрану сахарных заводов и государственных хозяйств.

К удивлению Котовского, никто из командиров не отозвался, и неловкое молчание висело до тех пор, пока простоватый Вальдман — у него всегда что на уме, то и на языке — не проворчал:

— Эдак если у каждой избы по караулу ставить, эскадрона не хватит.

Тоже в общем-то было верно, и Юцевич, увидев, как у Котовского стали округляться глаза — верный признак сдерживаемого бешенства,— пожалел, что высказал свое предложение сейчас, при всех и, надо признаться, наспех, не обсудив его как следует с глазу на глаз ни с комбригом, ни с комиссаром.

В раздражении постоянным упрямством Вальдмана (а тот, чего греха таить, бывал порой таким, что хоть кол на голове теши) комбриг всплеснул руками.

— Ведь вот человек, а? Ему — одно, а он... Да ты думаешь, нет, что говоришь? Или ты думаешь, что мужики эти сами по себе, а мы с тобой сами по себе? Их, значит, стрелять будут, мучить, а ты свои прекрасные брови наглаживать будешь?

Эскадронный, сдерживаясь, проговорил глухо, с угрозой:

— Брови тут ни при чем, товарищ командир бригады!

— А если ни при чем, так думай! Для того и армия, чтобы народ жил и работал спокойно. Иначе нас с тобой и не держали бы, не изводили зря на нас корму. Трудно понять, что ли? Просто неловко за тебя, ей-богу. Ты сам должен людям втолковывать, а тут с тобой приходится...

Последние слова комбриг произносил без прежнего напора, раскаиваясь за свою несдержанность. Остывал он быстро. Зря вообще-то накричал, эскадронный высказал то, что уяснил сейчас на совещании. С одной стороны, сам же только что приказал выбросить из головы всякую мысль о легкой прогулке, с другой — действительно, пока со всею ясностью не установлено, что у повстанцев на уме, разумнее было держать все свои силы в кулаке. И оттого, что, не сдержавшись, он опять сорвался (а главное, сорвался-то не по делу, распушил человека ни за что ни про что), комбриг был раздражен и хотел поскорей остаться один.

— Ладно,— закрыл он совещание,— еще подумаем, обсудим. Можно разойтись. Приказ получите, начальник штаба сейчас напишет.

Из аппаратной Юцевич вернулся с таким энергичным, просветленным лицом, что Григорий Иванович, насупленно глядевший в окно (переживал напрасный разнос Вальдману), повернулся навстречу и вопросительно выгнул крупную бархатную бровь:

— Что-нибудь...— и не договорил.

— Вот! — Юцевич, сдерживая торжество, положил на стол сообщение, полученное из Тамбова, из штаба войск.

Аппарат отстучал, что в Тамбовскую группу войск, к выделенным ранее силам, передаются также части 10-й стрелковой дивизии, закончившие ликвидацию бандитских отрядов в Воронежской губернии. Кроме того, сооб-

щалось, что Федько со своими бронеотрядами намерен держать штаб в Кирсанове.

— Так вот что его спугнуло...— Комбриг с громадным облегчением расправил плечи.— Фу ты, черт! А мы-то мудрим, ломаем головы...

— А ларчик просто открывался,— сдерживаясь, проговорил начальник штаба.

Разгадка маневра Богуславского сняла у обоих груз с души. Не сговариваясь, они одновременно сунулись к карте.

Да, все сразу стало на свои места. Вот, достаточно взглянуть: угрозы с флангов и чуть ли не с тыла.

— Это еще хорошо, что он успел смотаться,— говорил комбриг и карандашом показывал на карте.— Глянь-ка, что могло получиться: тут мы, отсюда вот воронежцы, а от Кирсанова — Федько. Да он костей бы не собрал... Ну, лиса! Извернулся, как уж под вилами. Но как у них работает разведка, а? Надо же!

Начальник штаба вышел отдать необходимые распоряжения. Вернувшись, он застал комбрига по-прежнему склоненным над картой. Прикусив в задумчивости губу, Григорий Иванович разглядывал трудный район «южной крепости» мятежников, куда Антонов, боясь оказаться отрезанным от своих опорных баз, заранее стягивал все силы.

— Нам месяц отвели? — спросил комбриг.

Юцевич кивнул.

— Гм... Месяц...— Заложив руки за спину, Котовский отошел к окну. На глаза ему попался забытый праздничный кулич. Он сковырнул крашеное просяное зернышко, забросил в рот.

— Слушай, Фомич, а чего это Вальдман с Девятым грызутся? Ты заметил?

— Да ну их...— с легким сердцем рассмеялся начальник штаба и, рассказывая, стал собирать бумаги. Соперни-

чество эскадронных командиров нынешней зимой обострилось до крайности. У одного лучше показатели по стрельбе, у другого — джигитовка и владение шашкой, один хвалится своими песенниками, другой — плясунами. А при недавнем обследовании, которое проводил политотдел дивизии, выяснилось также, что в эскадроне Вальдмана кроме всего остального намного выше еще и процент грамотных бойцов. Девятого, само собой, взяло за живое,— с Вальдманом они давние соперники.

— Ишь ты! — усмехнулся комбриг, гоняя во рту просяное зернышко.

Незаметно весь дом наполнился топотом ног, голосами, стуком роняемых вещей — обычное дело, когда штаб готовится сниматься с места. Во дворе повозочные запрягали лошадей. Все хозяйство штаба у Юцевича помещалось на двух тачанках — ничего лишнего. Чей-то голос требовательно кричал, торопя, чтобы «одна нога здесь, другая там». Пробежали телефонисты, сматывая провод. Солнце поднялось над деревней высоко, становилось жарко.

Шевельнув плечом, начальник штаба сбросил шинель и высвободил руку. На расчищенном конце стола его ожидала аккуратная стопка бумаги. Он придирчиво выбрал карандаш, обеими руками подровнял края бумажной стопки и взглянул на комбрига, показывая, что готов к диктовке.

Сосредоточиваясь, Григорий Иванович выплюнул зернышко в окно, проследил, как оно упало, и набрал полную грудь воздуха.

— Н-ну так...

Диктуя, он время от времени взглядывал через плечо и осведомлялся: «Успеваешь?..» Проверить, лихорадочно записывал Юцевич, пристрелку личного оружия на двести метров, о чем иметь отметку в каждой красноармейской книжке. Проверить, на каждого ли бойца имеется боекомплект — 120 патронов. Проверить: пулеметы иностранных марок «максим», «шварцлозе», «гочкис» должны быть пе-

ределаны на наш патрон, а расчеты обеспечены инструментами для извлечения разорванных гильз. («И скажи там покороче, чтобы молодые пулеметчики не зазубривали, как попугаи, одни названия частей. Главное, пусть лучше знают, отчего задержки во время стрельбы и как их устранить... Записал?») Далее: во время движения идти только с мерами боевого охранения. На местах стоянок выставлять заставы, иметь усиленные патрули и дежурный эскадрон для экстренных вызовов. Обеспечить склады фуража и продовольствия... И последнее: оперативные сводки, как положено при боевых действиях, доставлять в штаб дважды в сутки — к 3.00 и к 14.00.

Бригада начала преследование бегущего, но чрезвычайно опасного в отчаянии врага.

Глава четвертая

Привстав на стременах, комбриг обгонял походную колонну. Отдохнувший Орлик шел широкой рысью и требовательно просил повод. На два корпуса сзади, как и положено, следовал штаб-трубач Колька, аккуратный, как игрушка, в беленькой кубаночке и кавалерийской форме. Под Колькой неспокойный, серый в яблоках жеребец Бельчик, трофей и подарок заботливого Зацепы.

Колонна двигалась по проселку среди незасеянных, оставшихся пустовать полей. Многие в эту весну не сеяли: не дошли до земли крестьянские руки. Одни были мобилизованы в повстанческую армию, другие остерегались высовываться за околицу, боясь бандитской мести. Всякого, кто брался за работу, Антонов объявлял предателем и стращал смертью.

Слитные ряды всадников, колыхаясь, повторяли частые изгибы узкой проселочной дороги. Задние ряды порой не видели передних.

Внимание комбрига привлекли взрывы хохота, он издали разглядел две удалые головы закадычных дружков — Мамаева и Мартынова. Григорий Иванович отличал обоих за бесстрашие и лихость, но недолюбливал за недисциплинированность, оставшуюся от прежней партизанщины. Молодежь тянулась к ним из-за бесчисленных рассказов, главным образом о городах и местечках, захваченных с бою, где эскадронам выпадали короткие часы заслуженного отдыха. В передаче Мартынова и Мамаева боевая жизнь конников рисовалась полной забавных приключений и была бы еще увлекательней, не донимай их своим надзором придирчивые командиры.

— Нахальства бабы зам-мечательного! — слышался мягкий говорок Мамаева.— Пока ты там с мамашей тары-бары, товарищ с дочкой участие принимает...

Комбриг придержал коня. Мамаева подтолкнули, он обернулся. Глаз у него масленый, хоть блин в него макай.

— Все мелешь? — спросил Котовский, пристраиваясь рядом.

— Да так, Григорь Иваныч... Про течение жизни всякое.

Не желая уронить себя перед бойцами, Мамаев держался с развязностью человека, которому за отвагу в боях сходит с рук многое.

— Врешь ведь все, и ни в одном глазу. Рассказал бы лучше, как батарею взял. А то — бабы, бабы. Нашел чем хвалиться.

— Что батарея? — смутился Мамаев.— Это так...

Трогаясь дальше, комбриг предупредил:

— Бросай трепаться. Это хорошо — мы тебя знаем. А что молодые подумают? Скажут: он только по бабам и ударял, а не воевал... Смотри, чтоб больше не слыхал. Ругаться будем.

Он перевел коня на рысь. Слышал, как Мамаев приглушенно сказал:

— Подкрадется ведь — и не заметишь...

В голове своего эскадрона ехал Владимир Девятый. Рука Девятого задорно уперта в бок, но голова опущена. «Спит»,— догадался Григорий Иванович. Должность эскадронного хлопотная, чтобы быть все время в форме, надо научиться сочетать сон со службой, уметь засыпать в любом положении, лишь бы позволяла обстановка. Проезжая мимо, Григорий Иванович заглянул эскадронному в лицо: так и есть. Но и сонный, с опущенными усами, Девятый не терял величия, и в этом также сказывалась выучка старого конника: с развернутыми плечами, с упертой в бок рукой, покачивалось в такт дробному конскому шагу леченое-перелеченое тело эскадронного.

В одном месте строй разрывался, на спинах ехавших впереди красовались огромные листы бумаги с нарисованными буквами. Командир взвода эстонец Альфред Тукс, не теряя времени, проводил занятия ликбеза. Концом шашки взводный указывал на буквы, и бойцы хором составляли слова: «Мы не ра-бы... Ра-бы не мы...»

Проезжающий комбриг отвлек внимание бойцов. Тукс, твердо выговаривая слова, одернул их и продолжал урок.

Нынешней весной стали поговаривать о демобилизации. Все войны вроде бы подошли к концу. Выяснилось, что большинство бойцов неграмотны. Воевать они умели хорошо, однако в мирной жизни с такой наукой делать было нечего. За оставшееся время политотдел решил снабдить их хотя бы простенькой грамотешкой. Мобилизовали всех, кто в свое время хоть недолго ходил в школу, составили группы. В эскадроне Девятого с неграмотными сначала занимался Борис Поливанов. Бойцы остались недовольны учителем. Борис тоже заставлял произносить слова по слогам, только что это были за слова: «Ма-ша ва-рит ка-шу...» Такое учение кавалеристы посчитали неподходящим. Вот Тукс — совсем другое дело, этот подыскал настоящие слова.

Приказ отправиться в Тамбовскую губернию положил конец учебе. Только Девятый распорядился не прекращать занятий. Комбриг вспомнил, что́ рассказывал Юцевич о соперничестве эскадронных, и, проехав вперед, оглянулся.

Взводный Тукс отчитывал бойца за нерадивость в учебе. Владимир Девятый, почуяв непорядок в эскадроне, очнулся от дремоты, вскинул ястребиный глаз и поспешил на помощь взводному.

— Ты о чем думаешь головой? — размеренно, отделяя каждое слово, говорил Тукс.— Ты думаешь, мы кончим воевать и ты будешь, мужик, сидеть на хозяйстве? Да? Ты останешься неграмотным, и тебе будет плохо.

— Постой, Альфред,— вмешался Девятый и сбоку оглядел виновного.— С ним, видно, по-хорошему нельзя, он хорошего не понимает.

— Владим Палыч,— взмолился боец,— ну если голова не принимает? Меня убить легче, чем грамоте выучить. Будто не знаете.

— Знаю,— согласился Девятый.— А ты бы вот о чем своей башкой раскинул. Эдакие мы пространства завоевали, и для кого, по-твоему? Так какой ты хозяин будешь, в трон, в закон, если ты пенек пеньком, двум свиньям пойла не разделишь? Или ты думаешь, как раньше,— цоб-цобе!— на быках пахать? Много ты так напашешь! Тут только машиной справиться можно. А как тебя, если ты чурка чуркой, на машину посадить? Ну?

Колокольный голос эскадронного пригибал бесхитростную голову бойца в покаянном поклоне, слова долбили в темечко.

Комбриг помнил: в старой армии хозяевами солдатской казармы, а следовательно, и жизни мобилизованных под ружье мужиков были фельдфебель, унтер. Офицеры, как небожители, появлялись перед рядовыми лишь на учениях. Казарма... Муштра, шагистика, умение «дать ногу».

И худо приходилось тому, кто хоть чуточку учен, умен...

— Ты храбрей многих, знаю,— добивал Девятый.— И мы тебя к ордену представили. За Одессу к ордену и за Проскуров — к другому. Видишь? Тебя в люди тянут, а ты черней грязи хочешь остаться... И еще тебе скажу. У командования насчет тебя имелись свои думки, хотели тебя в армии оставить, на командира выучить.

— Так война же кончается, Владим Палыч!

— Но армия-то!..— громыхнул эскадронный.— Да и враги... Они ж все равно останутся. Или забыл, сколько их за Збруч ушло?.. Вот кончим Антонова, школу настоящую откроем. Сначала будешь младшим командиром, а там, глядишь, и до академии дойдешь. Учатся же люди, не дурнее нас с тобой!

— Смотри,— добавил эскадронный, кивнув Туксу, чтобы продолжал занятия,— мы самому товарищу Ленину хочем доложить о поголовной нашей грамотности. И сознательности! Добьешься, что так и напишем: дескать, все грамотные, один ты не захотел.

Слушать Девятого, когда он говорит дельно, а не просто тешит свою исполинскую глотку,— сердце радуется. И вот за то, что грубоватый Девятый умел смотреть дальше и глубже других, комбриг всегда выделял его и ценил, прощая ему многое.

Достигнув головы колонны, комбриг в сопровождении штаб-трубача занял свое место. Сзади, почти равняясь с Бельчиком, пристроился знаменосец со штандартом бригады, завернутым в чехол.

Врезая ворот в бритую мускулистую шею, Григорий Иванович повернулся в скрипнувшем седле и сделал Кольке знак приблизиться.

— Да ближе, ближе...— добродушно басил он, наблюдая за хмурым лицом маленького трубача.

Бельчик и золотистый Орлик пошли рядом.

Не поднимая глаз, Колька всем видом показывал, что подъехал, лишь выполняя приказание, но на сердце у него мрак и горечь и вина за это лежит... Да Григорий Иванович сам знает, чья это вина. С того дня, когда комбриг приказал ему «выкинуть дурь из головы» и разлучил его сразу с Ольгой Петровной и с Зацепой, у них тянулась молчаливая, не объявленная вслух ссора.

Короткий козырек фуражки комбрига опускался резко вниз, закрывая лоб до бровей. Скосив глаз, Григорий Иванович посмеивался и караулил недовольный взгляд штаб-трубача. У-у как посмотрел... Ах, мелюзга вы, мелюзга! А давно ли, спрашивается, давился подобранной коркой и, словно звереныш, боялся любой протянутой руки? А вот же!.. И характер, видите ли, появился, и в седле, шельмец, сидит, как настоящий: не заваливается, не просовывает помужичьи ногу в стремя,— касается щегольски, одним носочком. Школа!

Любуясь сбоку посадкой юного кавалериста, Григорий Иванович отметил справное состояние коня под ним, и в душе его шевельнулось что-то вроде сожаления, запоздалого раскаяния: не так давно он устроил мальчишке такой жестокий, зычный разнос, что пришлось вмешаться самой Ольге Петровне (хотя никогда раньше она не посмела бы сунуться в отношения мужа-командира с подчиненными ему бойцами). Разнос Колька заработал из-за Бельчика. Конь под мальчишкой выглядел измученным, и опытный глаз Котовского разглядел на лошадиных боках частые следы нагайки. Возмущенный комбриг прочитал Кольке внушительную нотацию о роли коня в жизни бойца. Для кавалериста конь не просто средство передвижения, а настоящий друг, который в трудную минуту выручит, не даст погибнуть. А разве со своим другом так обращаются? Лошадь все равно что человек и тонко чувствует отношение к себе. Не дай бог чем-нибудь ее обидеть. Не простит, запомнит...

Оправдываясь, Колька стал жаловаться, что Бельчик никак не слушается повода, вот и приходится пускать в ход нагайку. «То есть как это не слушается?» — изумился Григорий Иванович. Стали разбираться вместе, пришел Черныш. И сразу выяснилось, что виноваты во всем больные десны Бельчика, конь не любит жесткого повода. Значит, мягче надо, деликатней, а не на плетку налегать. Помнится, тогда досталось и Зацепе: а он куда смотрит? Дома, наедине, Ольга Петровна сделала мужу выговор (даже всплакнула малость). Колька еще ребенок, откуда ему знать все эти лошадиные тонкости? Григорий Иванович отговорился тем, что в бою не смотрят, ребенок — не ребенок, там подход ко всем один. «В бою...» — вздохнула Ольга Петровна и замолкла. Иногда Котовскому казалось, что суровое командирское отношение отталкивает от него Кольку, мальчишка больше тянется к Ольге Петровне. Но все равно никаких послаблений он ему давать не вправе. Покуда все мы на войне, Колька — боец, а не ребенок. Это уж потом, когда все кончится и люди навсегда забросят шашки в ножны...

Подобрали Кольку в одном захудалом местечке, откуда бригада после короткого боя выбила белополяков. В обеденное время возле полковой кухни жадно крутился маленький, донельзя грязный оборвыш. Он был так замордован и голоден, что не проявлял обычного для детей восхищения военной формой и оружием. Он хотел есть и боялся, что его ударят.

Котовский, проезжая, услышал громкий смех бойцов и остановил коня.

— Что у вас тут за потеха?

Мамаев выставил свои ядреные, как кукурузное зерно, зубы.

— Карла, Григорь Иваныч, приблудился. Прямо лопаемся со смеху!

Мальчишку вертели Мартынов и Мамаев, «моторные хлопцы», как называл их Юцевич, тоже, как и комбриг,

недолюбливавший обоих за бесшабашные и, если вовремя недоглядеть, вороватые натуры. В бою люди как люди, но на привале, в деревне ли, в городе ли сразу же и самогонщицу отыщут, и не пройдут мимо того, что плохо положено.

Оборвыш и впрямь походил на маленького старичка. Котовского поразило сморщенное лицо мальчишки, злые затравленные глазенки. В обрывках какой-то кофты пряталась изможденная — одни косточки! — детская ручонка.

— Ржете, как лошади! — вскипел Котовский, по обыкновению начав заикаться.— Ч-человек же...

Балагур Мамаев моментально спрятал свои неунывающие зубы, поправил фуражку и отряхнул галифе.

По тому, как сразу притихли пристыженные бойцы, мальчишка ощутил к Котовскому первое доверие и уже не дичился, когда комбриг взял его за грязную ручонку и повел с собой, спрашивая, где он живет и кто у него дома.

К детям, оставшимся без взрослого призора, Котовский испытывал давнишнюю слабость. Он сам рос без матери — она умерла, когда ему было всего два года,— и мать ему заменили старшие сестры. К детям у него выработалось отношение сильного человека, в защите которого они нуждаются. И может быть, потому, что до нынешней зимы жизнь его шла так, что не оставалось времени ни на семью, ни тем более на собственных детей, он всю свою тщательно скрываемую нежность отдавал приблудным мальчишкам, которых бригада подбирала на дорогах войны.

Мальчишка привел Котовского в жалкую завалюху на окраине. Вдова, обитавшая в избенке с тремя голодными немытыми ребятишками, увидела лезущего в дверь военного и брякнулась в ноги. Пришлось поднять ее силком... Григорий Иванович сел за стол, положил перед собой фуражку. На голом лбу оттиснулся багровый рубец, он растирал его ладонью. Беднота, беднота. Все, что он видел, было так знакомо! Бедность одинакова везде: и здесь, в Подолии, и у него на родине, в бессарабских селах. Вырвать

хоть одного из этой нищеты! И, оглядываясь в убогом жилище, он уже видел замухрышку пацана уверенным и крепким молодцом, вытаскивающим в жизнь и эту разнесчастную бабенку с оравой замурзанных детишек. Так и будет. За это и бьемся. И он загорелся, как это бывало всегда, едва какое-либо решение приходило ему в голову.

Хозяйка жаловалась, что мальчишка уже большенький, да вот беда: рост его пришелся на самое худое время, на голодуху. Так и засох.

В тот же день Григорий Иванович привел «карлу» в штаб. Вдову он уговорил отпустить ребенка с ним. Уговаривая, он волновался, вставал, опять садился. Она не знала: верить — не верить? Хотелось верить... Григорий Иванович заговорил спокойнее. Он опустил свою руку мальчишке на голову, и тот молчал и слушал, как решается его судьба... Мать отпустила Кольку, и отпустила, как показалось Котовскому, легко, хоть и заплакала напоследок. Но какая же мать не заплачет, отдавая свое дите!

Пользуясь передышкой в боях, бойцы в два дня отремонтировали вдове избушку, перекопали засохший огород, вычистили колодец, оставили продуктов. Так Колька стал приемышем кавалерийской бригады.

Котовский сдал мальчишку на руки Ольге Петровне.

— Боже мой! Да его, наверное, век не мыли!

Тотчас Семен Зацепа был послан разводить огонь, таскать воду.

— Семен, раздевай его. И все эти тряпки в огонь, в огонь!

Когда Зацепа, всегда мрачный, с темными неулыбающимися глазами, подошел к мальчишке, тот неожиданно покраснел и стеснительно зыркнул на молодую женщину. На губах Семена появилось подобие улыбки, глаза его потеплели.

— Глядите, Ольга Петровна, мужик, застыдился!

— Ну, некогда мне с вами! Давай его в корыто.

Истощенное тело мальчишки было сплошь покрыто синяками и мелкими болезненными гнойниками. Зацепа, разглядывая его, высказал опасение: не болен ли? Ольга Петровна, быстро намыливая остриженную голову ребенка, заметила, что это от голода.

На отмытом теле заметней выступили синяки и незажившие рубцы. Зацепа нахмурился:

— Это что же — бьют тебя?

С опущенными ручонками мальчишка стоял в грязной, черной воде. На вопрос Зацепы он склонил худую безропотную шею. Ольга Петровна, поливая его сверху из ведра, потрясла головой и смахнула слезу. Зацепа мрачно потянул в себя воздух. Подцепив на ножны шашки ворох сброшенных лохмотьев, он понес их к прогоравшему костру.

Отмытого пацана Семен завернул в две чистые портянки, сверху покрыл буркой. Колька повеселел, уже осмысленней поблескивал глазенками. Семен притащил два котелка — с борщом и кашей, положил ломоть хлеба.

— А ну-ка навались! Ешь, ешь. Брюхо лопнет — рубаха останется.

И покуда мальчишка жадничал, давился, Семен молча сидел и наблюдал. Иногда он набирал полную грудь воздуха и, прошептав: «Г-гады!», устремлял темный взгляд в раскрытое окно.

Несколько раз заявлялись любопытные, лезли на завалинку, заглядывали: как там новенький? Семен гнал их, пихая в голову.

— Ну чего, чего не видели?

Потом Колька долго, с наслаждением пил чай с сахаром. Сахару была самая малость, кусочек, он макал его в кружку и откусывал крохами; откусит, пососет и зажмурится от удовольствия. После четвертой кружки отвалился и сказал Семену:

— Фу-у... Ажник брюхо вспотело.



Зацепа как-то неумело захохотал, показав все зубы, и вдруг нахлобучил ему на стриженую голову свою фуражку. Фуражка, конечно, проваливалась на глаза, держась на одних ушах. Выпрастываясь из-под козырька, Колька задрал голову и, как колокольчик, закатился тоненьким смехом. Все лицо его стало в мелких веселых морщинках — так смеются старички. Но зубы были крепкие, белые.

Семен привязался к приемышу и не отдал его в пулеметную команду. Колька остался с ним в эскадроне. В несколько дней маленькому кавалеристу сшили по ноге сапожки, подогнали форму. Зацепа раздобыл ему белую кубанку, хотя знал, что Котовский не выносит этого ненавистного казачьего убора... В первый раз обрядив мальчишку, Семен отступил и залюбовался.

— Ну вот. А то карла...

Оглядывая свое военное убранство, Колька поковырял пальцем заштопанную дырку над левым карманом. Зацепа строго ударил его по руке, чтобы не баловался. Дырку он считал хорошей приметой на живом человеке, зная как бывалый солдат, что пуля в одно место два раза не попадает.

Наряженный, как настоящий кавалерист, Колька заважничал, стал свысока поглядывать на своих сверстников — «голубятников» из пулеметной команды.

Детвора в бригаде была окружена неназойливой, но строгой заботой. Кавалеристы, находясь который год в боях, от постоянной смертельной опасности становились все доступней для глубоких человеческих чувств, и чаще всего это выливалось на несчастных мальчишек, нашедших в бригаде свой настоящий родной дом. Жалея ребятишек, вынужденных ломить тяжелую солдатскую работу, бойцы, как могли, оберегали их, считая, что если сами они не знали в жизни счастья, так пусть хоть эта детвора узнает. «За то и бьемся, чтобы они жили лучше нас. Мы

разве жили? Гнили! Родится человек и не рад, что на белый свет появился...»

В довершение Зацепа отдал приемыша в обучение к Самохину, бывшему трубачу, раненному в грудь. Ранение лишило Самохина любимого занятия: «грудь ослабла» — пояснил он Кольке, но свой инструмент, короткую, до блеска начищенную трубу, он возил в мешке. Ученика Самохин принял с важностью и строго,— бывший трубач в своем искусстве разгильдяйства не терпел. В первый же день он высказался в том смысле, что революция отвергла всю или почти всю прежнюю музыку, создав свою — гимны и походные красноармейские песни. Из прежнего революция оставила лишь самое необходимое — сигналы боевой трубы. Теперь по вечерам, когда кавалеристы заканчивали уборку лошадей, над затихающей деревней вдруг раздавались отрывистые, то шепелявые, то чистые, неожиданно умело взятые полной грудью звуки. Самохин учил по старинной сигнальной грамматике, придуманной поколениями трубачей.

Слабой мальчишеской груди было еще не под силу выдувать из боевого инструмента полнозвучные сигналы, но Самохин был настойчив и терпелив, с каждым днем крепли детские губы, легкие, и мало-помалу шепелявое бормотание трубы стало сменяться высокими, предельно очищенными звуками. Тогда у коновязей принимались волноваться отдыхающие лошади, и бойцы, успокоив их криками и оглаживанием, переглядывались:

— Самоха учительствует...

Освоив науку и сноровку трубача, Колька продолжал оставаться в эскадроне вместе со своим приемным дядькой ли, отцом ли. Он горел нетерпением доказать свою полезность в настоящем деле и сожалел, что война, на которую бригада отправилась с зимних квартир в Умани, будет последней, после чего наступит вечный мир и новое, еще невиданное счастье. Так рассуждали, отправляясь в Тамбов,

все бойцы; они уезжали и верили, что скоро вернутся и больше уже никогда им не придется обнажать клинки — и без того шашки с трудом укладывались в ножнах, словно объелись и опились плотью и кровью. Ведь сколько было боев!.. Но если другие устали от сражений, то Колька, по существу, войны еще не видел, не испытал. И он один из немногих понимал того же Герасима Петровича Поливанова, у которого «горела душа» быть рядом с младшим сыном в строю эскадрона. Последняя война — и вдруг остаться на покое. Это было так несправедливо! В Моршанске, пораженный коварством комбрига, Колька на горячую голову едва не решился на самовольство, но быстро остыл: тот же Самохин вместе с наукой трубача строго внушил ему суровую заповедь о воинской дисциплине.

Игривый Орлик, поблескивая свежими подковами, и тяжеловатый вислозадый Бельчик шли голова в голову.

Григорий Иванович положил руку на сердитую Колькину шею и ласково потрепал его за отросшие косицы волос.

— Зарос-то... как дьячок. Давай обрею?

Дернув головой, Колька непримиримо сбросил тяжелую руку комбрига.

Смотреть, как он топорщится, было смешно. Григорий Иванович думал о приближающихся родах жены и представлял себе своего такого же, тоже рядом и тоже... не лучше вот: ершистого — не подступись! Они, мелкота такая, ничего еще не понимают толком, не верят в смерть, верней, не принимают ее для себя и пуще всего боятся, что последняя на земле война обойдется без них.

— Ладно дуться-то,— проговорил Котовский.— Силой тебя держать никто не станет. Раз такое дело — как хочешь. Рвешься к своему Семену — получишь ты своего Семена.

Маленький штаб-трубач быстро, недоверчиво взглянул на комбрига.

— Правда?

— Сказал же.

— Ну смотрите, Григорь Иваныч! — просиял Колька.— При всех сказали.

Он оглянулся, ища свидетелей. Ближе всех ехал сумрачный знаменосец с завернутым в чехол штандартом бригады, за ним, лениво развалясь в седле, черный горбоносый Вальдман, далее плотные ряды эскадрона, колыхающаяся масса плеч, голов.

Радость мальчишки сбила настроение Котовского. Он впервые понял, что Колька, при всей привязанности и к Ольге Петровне, и к нему, все же самым близким человеком считает угрюмого, скупого на улыбку и на ласку Семена Зацепу. Интересно, а жена об этом знала, догадывалась?

— Кольк...— необычно ласково назвал комбриг,— а что же я Ольге Петровне скажу, когда она вернется?

Вот уж в чем Колька не сомневался!

— Григорь Иваныч... Она же не одна вернется! У вас теперь свои пойдут.

Взрослая рассудительность мальчишки заставила Котовского вспыхнуть и рассмеяться.

— Ты, поросенок!.. Ты-то в этом что понимаешь?

— Да уже понимаю. Не маленький.

— Ох, пороть бы тебя надо, пока не поздно!

— Поздно уже,— уверенно сказал трубач.

— Ладно,— распорядился комбриг,— давай-ка рысью! — и сжал шенкелями встрепенувшегося Орлика.

Счастливый Колька вскинул трубу, и над лесом в обе стороны от длинной шевелящейся колонны, над пылившей дорогой, достигая самых последних рядов, понеслись бойкие подмывающие звуки сигнала: «Рысью размашистой, но не распущенной, для сбереженья коней...»

Глава пятая

Первые дни на тамбовской земле проходили в мелких стычках с отдельными отрядами мятежников.

Обычная увертливая тактика бандитов строилась на быстроте передвижения, неожиданной смене направлений и района действий. Сейчас, раздув армию, Антонов лишил себя основного козыря — подвижности, и теперь его несложный замысел заключался в том, чтобы, как можно дольше уклоняясь от решающего боя, быстрее отойти на юг, занять крепкую, упорную оборону. Кроме того, главарей восстания ободряли слухи, что в Саратовской губернии с наступлением тепла стали действовать банды Сарафанкина, Аистова, Сафонкина,— значит, оставалась надежда, что мятеж перекинется и к соседям.

Вынужденные пятиться к последнему пределу, полки антоновцев отводили душу в расправах с мирным населением, и в деревнях, захваченных без боя, кавалеристы Котовского заставали страшную картину озлобленного бандитского бесчинства.

На седьмой день штаб бригады, двигаясь за наступающими эскадронами, перебрался в небольшую деревню Шевыревку, оставленную главными силами мятежников в панике и спешке. Первые кавалерийские разъезды наткнулись на жуткое зрелище: на воротах, уцелевших из всего сгоревшего хозяйства, был прибит гвоздями человек с распоротым животом...

Выяснилось, что в пасхальную ночь, когда эшелоны бригады только приступили к выгрузке в Моршанске, на Шевыревку налетел отряд как попало вооруженных людей верхами. Сначала, не почуяв большой беды, мужики спокойно гадали, за чем пожаловал отряд — за хлебом или яйцами? И лишь разглядев, что верховые сидят не на казенных седлах, а на подушках с веревочными стременами,

узнав в предводителях известных Фильку Матроса (этот в шиловском сельсовете окопался до поры) и попа из шиловской церкви, испугались. Матрос и поп были пьяны, черны от самогона, поп вооружен шашкой без ножен. На скорую руку Филька Матрос произвел аресты членов сельского Совета и активистов и объявил Шевыревку присоединившейся к «народному восстанию».

Через несколько дней в деревню вошли большие силы мятежников, сам Антонов со своим штабом. Антонов собственноручно застрелил Матроса за «саботаж и контрреволюцию» (ударил в пьяную Филькину голову из маузера), затем устроил показательную расправу над арестованными сельсоветчиками. Всех их зарубили шашками и бросили во дворе большого дома, где раньше помещался Совет.

Из разгромленного Совета уцелел один солдат Емельян Ельцов, успевший спрятаться в колодце. Его искали, но не нашли. В колодце солдат просидел больше двух суток, слышал, что творилось в деревне, и, дождавшись спасения, не мог спокойно говорить ни о бандитах, ни о тех из деревенских, кто им помогал.

Комбриг приказал разыскать уцелевшего солдата.

Штаб бригады занял помещение разгромленного Совета — большой деревенский дом с каменным низом и неоштукатуренным бревенчатым верхом, под железной крышей с водостоками по четырем углам. Раньше дом принадлежал Роману Путятину, богатейшему человеку в деревне. Путятин держал лавку и владел ветряной мельницей. Дом у Путятина был реквизирован под Совет. При бандитах бывший хозяин всласть рассчитался со своими обидчиками. Расправа с арестованными происходила во дворе дома, трупы зарубленных свалили здесь же, к стене крепкого амбара.

Емельян Ельцов застал в штабе военного со светлыми растрепанными волосами, сильно, не по-здешнему окав-

шего. Разговаривая, военный паматывал на палец прядь волос, отчего держал голову низко и глядел на собеседника исподлобья, пристально. Пока они были одни, военный успел сказать Емельяну, что в Шевыревке вместо разгромленного Совета создается ревком с самыми широкими правами. Как видно, для Совета еще рановато, пускай пока заправляет всем революционный комитет. Такое время, добавил военный, нужны решительные действия.

— Да уж теперь ученые! — просипел Емельян, весь воспаленный, с трудом унимая надсадный кашель. От колодезной простуды он почернел, глаза его, будто нахлестанные ветром, слезились, он утирал их ребром ладони и лез в карман за кисетом и бумагой. Борисов заметил, что на завертку солдат рвет какую-то листовку.

В сенях раздался топот ног, откинув дверь, вошли Котовский и Юцевич. Солдат, поспешно выдувая дым в сторону и вниз, поднялся, опустил руки. Задирая подбородок, комбриг сморщил короткий нос от едкого дыма самосада, несколько раз фыркнул. Он вопросительно взглянул сначала на солдата (тот, робея, рукой с цигаркой загребал дым себе за спину), потом на комиссара, и Борисов вполголоса обронил:

— Ревком.

— А...— проговорил комбриг и мимоходом надавил солдату на плечо, заставив его снова сесть.

О человеке, прибитом на воротах, Емельян сказал, что это Панкратов, шахтер, бежал в деревню из Донбасса от голодухи; был активистом, помогал продотряду: бандиты извели у него всю семью, оставили от хозяйства одни головешки.

Да, похозяйничали в Шевыревке лихо. Рассказывая, Емельян уже не замечал, как морщится комбриг от едкого дыма самокруток. Солдата не покидала горечь запоздалого и, к сожалению, бесполезного раскаяния в собственной слепоте: бандиты, по существу, застали Совет врасплох,

«взяли тепленькими, как цыплят», хотя сигналы об опасности были и, отнесись Совет ко всему «с головой», многого удалось бы избежать. Так вот же, думали — свои, деревенские, до лютой крови не дойдут, постыдятся. А вышло... да сами, поди-ка, видели, что вышло.

Комбриг наставительно сказал, что в деревне учреждается ревком, революционный комитет,— значит, надо приниматься за работу.

Емельян с готовностью встал, ловким солдатским движением одернул гимнастерку. Ревкому, на его взгляд, первым делом следует приняться за раненых бандитов, оставленных на излечение в деревне. Чего прохлаждаться, чего ждать? Он уже прошелся, выяснил, чьи они, где лежат,— дело не затянется.

К удивлению Емельяна, комбриг сдвинул крупные породистые брови, потряс бритой головой:

— С ранеными не воюю!

— Я про бандитов говорю,— уточнил тогда солдат.

— Все равно!

Емельян в растерянности оглянулся. Юцевич что-то самозабвенно штриховал на листе бумаги.

— Но их народ требует! — нажал Емельян.— Народ.

— А вот и объясни народу. Хитрое дело — справиться с раненым? Много ли ему надо? Он сейчас меньше малого дитя... Солдат, а не понимаешь.

— А они что делали? Ты бы поглядел!

— На то они и бандиты. Им конец, вот они и лютуют. Но ты-то... мы-то!

— Против народа я не пойду! — заупрямился Емельян.— Да ты понимаешь, кого под защиту берешь? У народа на них душа горит. Душа!

— Не шуми. Кто виноват — с того спросим. И здорово спросим. А сейчас... сам понимаешь.

Нет, не понимал солдат, и все в нем становилось на дыбы.

— Значит, что же... мы уж и своему дерьму не хозяева? Так выходит?

Полное бритое лицо комбрига оставалось невозмутимым.

— Ты солдат. Закон обязан знать. Заколи его в бою — святое дело. А лежачего да еще больного...

Емельян строптиво наклонил голову.

— Закон... Вот вы уйдете, а мы останемся. А жить как? Как, я спрошу, жить с ними? Разве вынесет душа?

Незаметно поднялся Юцевич, налил в стакан воды и поставил на стол рядом с темной рукой солдата. Емельян взглянул на стакан, не понимая, зачем он.

— Ты теперь власть,— втолковывал Котовский.— Берись, налаживай. Дорогу тебе очистили. Но — по закону. И — никаких!

— Слушай... брось ты их жалеть! Нашел кого...

От волнения Емельян поперхнулся, кашель согнул его пополам. Припадая грудью к столу, он мотал сизым, набрякшим лицом. На висках, на шее от натуги вздулись жилы. Тыкаясь рукой, слазил за табаком и стал жадно, глубоко затягиваться — полегчало...

Начальник штаба и комбриг переглянулись над его головой.

— Слушай,— сказал Котовский,— тебе бы полечиться надо, а?

«Вот, вот...— Бледные губы солдата тронула усмешка некоего превосходства.— Лечиться... Их лечи, соблюдай свой закон! Не воюет он с ранеными... А они вот вылечатся, так еще покажут. У них-то свой закон!»

— Погодим маленько,— произнес он нарочито врастяжку и твердо глянул в глаза комбрига.— Не время пока.

Взгляд его, насыщенный неукротимой яростью, заставил замолчать обоих. Не только комбригу, еще по каторге знакомому с такой отчаянной решимостью людей, но и моложенькому начальнику штаба стало понятно, что человека,

настолько заряженного ненавистью, не заставят отступить от своего никакие угрозы,— умрет, но доведет задуманное до конца.

«Наломает, черт, дров!» — решил Котовский, когда возмущенный солдат ушел.

«Голос мести!» — чуточку высокопарно подумал начальник штаба и не смог подобрать подходящего слова, чтобы определить, какая сила помогает жить и действовать этому вконец обессиленному, но не поддающемуся человеку.

Емельяну в штабе отвели боковушку рядом с узлом связи, где сидел дежурный телеграфист и стучал ключом. Емельян понемногу приходил в себя и, дожидаясь, когда уйдет бригада и оставит его хозяином в деревне, обдумывал первые шаги учрежденного ревкома.

Он заявлялся в штаб с утра, запирался в боковушке, закуривал и, раздышавшись, уняв злой кашель, подолгу стоял у окошка. Во дворе Черныш, ординарец комбрига, сосредоточенно занимался любимым делом — чистил лошадей. Под окном, на завалинке, день-деньской толокся народ. То обстоятельно и складно вязал о деревенском житье мужичонка Милкин, лодырь и пустоболт, то раздавался сдержанный бас Девятого, которого мужики, как и бойцы, уважительно называли по имени и отчеству: «Владимир Палыч», то приплетется, не усидев дома, ветхий Сидор Матвеич, грамотей и начетчик, уважаемый в Шевыревке и округе за ясный ум и древность. А через день или два на завалинке стал появляться осмелевший Милованов, какая-то дальняя родня Путятина. Раньше в этот богатый двор он приходил лишь по большим праздникам, гостем, сейчас ворота стояли настежь — заходи любой. Хорониться от людских глаз у Милованова причины были: сын его, Шурка, находился у Антонова. В первый раз,

увидев Милованова у себя под окном, Емельян натянулся струной, но сумел себя пересилить. Он считал, что оба Миловановы, отец и сын, одного поля ягода. «Ну ничего, дождетесь!»

Прикрыв глаза и пуская через нос густые струи дыма, Емельян слушал, как под окном бестолково гомонили мужики. Завалинка для них теперь словно медом намазана, как утро — все сюда. Вот и сейчас Емельян узнал надтреснутый голосишко Сидора Матвеича.

— Скажи ты нам,— допытывался у кого-то старик,— что это за меньшевики такие?

Установилась тишина, и слышно было, как старик, не в силах унять дрожь в руках, возит по земле костылем.

— Ну... меньшевики (бас Девятого)... Ясно дело: меньше их, вот они и зовутся меньшевиками.

— Ага, так... А большевиков, выходит, больше?

— Ясно дело.— Голос эскадронного зазвучал уверенней.— Меньшевики — они, суки, всегда у большевиков за хвостом ходили, и те их в вожжах держали, если по-вашему сказать. Ну а теперь, вишь, хвост задрали, изнанку свою стали выворачивать.

— В Ленина, случаем, не они стреляли?

— А кто же еще? В трон, в закон... Они самые.

— А почему, скажи,— опять подслеповато сунулся Сидор Матвеич,— почему за границей-то Советской власти нету? Али они дурнее нас? — и руку к уху ковшичком приставил.

«Ох, допрыгаешься, дед! — пожалел его Емельян.— Каждой дыре гвоздь».

— Не дурнее,— рассердился эскадронный,— а отсталее! Понимать надо! Старый человек, а... Просто мы первые. А потом и ихняя очередь придет. Вон в Германии... бунтовали.

— Немец? — удивился Сидор Матвеич.— Ну, мужики, ежели уж немец не утерпел... А японец? Про японца

ничего не слыхать? (Старик три года провел в японском плену.)

— За японца не скажу. Но тоже не отсидится, тоже хлебнет с наше. Вот увидите. Мы-то уж отмучились, а им еще все впереди.

— А правду говорят,— быстренько ввернулся Милкин,— что жить по «Интернационалу» будем?

Эскадронный растерялся.

— Ну... как тебе сказать... Чтобы безошибочно утверждать... А тебя это с какой стороны-то интересует?

— Да слух идет, что сначала надо все до основания разрушить и разорить. Землю вверх пластом перевернуть, речки перекипятить. А мужиков, говорят, всех поголовно будут крутым кипятком ошпаривать.

Девятый возмутился:

— Эх, за такие-то слова, в трон, в закон!.. Это же кулак в тебе говорит, контрик!

От страха у Милкина остановились глаза, не рад был, что ввязался на свою голову.

— Ты сначала сообрази,— сжалился над ним эскадронный,— а потом и говори. А то ведь... понимать же должен! Еще что вам непонятно? Давайте, покуда время есть.

— А эти вот,— Милкин, запинаясь, подбирал слова,— у нас которые... Ну, союз крестьянский трудовой. Эти от кого произошли? Не с бухты же они барахты объявились?

— Эти...— Девятый солидным кряканьем осадил свой голос еще ниже.— Я вас так спрошу, мужики, по-вашему. Скажите вот, ежели жеребца назвать коровой, ты его станешь доить? А? Оно, может, его и есть за что подергать, да толку-то? Верно? Га-га-га... Та же самая контра и эти ваши... с союзом. В ту же масть.

Хохотал эскадронный заразительно, но мужики выжидающе молчали: может, отсмеявшись, добавит еще чего, пояснее?

— Ну что вы? — удивился Девятый. — Опять не поняли?

Слушатели переглядывались, подталкивали Сидора Матвеича, понуждая его не молчать, сказать что-нибудь. Если что и ляпнет старик не так, какой с него спрос?

В это время сверху, как с небес, раздался голос комбрига (оказывается, он стоял в штабе у окна и слушал):

— Палыч... Ну что мне с тобой делать, а? Опять за свое?

Эскадронный оторопело вскочил, задрал голову (ну так и есть: стоит!).

— Да я ж... как лучше. Своими словами, для понятности.

— Погоди. Я сейчас.

Комбриг надел фуражку и спустился вниз. Мужики во главе с престарелым Сидором Матвеичем почтительно поднялись, он с каждым поздоровался за руку. Девятый, дожидаясь, в душе казнил себя: «Вот всегда так. Хочешь как лучше, а получается...»

Григорий Иванович знал, что поговорить с народом эскадронный любил и говорил, как правило, толково, убедительно. Не случайно кавалеристы его эскадрона считались самыми боеспособными, и нигде, как у него, была высокой прослойка коммунистов. Время от времени политотдел бригады забирал у него бойцов, чтобы укрепить другие эскадроны. Люди у Девятого росли быстро. Но в то же время эскадронный не мог удержаться, чтобы, как говорил комиссар Борисов, чего-нибудь не отчебучить. Бобыль и бессребреник, Девятый испытывал неприязнь к деревенским людям, которые, как он считал, из жадности превращают всю свою жизнь в стяжательское житие.

Красноречивым вздохом комбриг показал, что всякому терпению имеется предел.

— Ох, Палыч, Палыч... характер у меня мягкий, вот что тебя спасает. Давно-о бы тебе в обозе быть...

У эскадронного оскорбленно вытянулось лицо: при посторонних-то!

— Ладно, Григорь Иваныч. Чего сейчас об этом говорить?

— Я гляжу, волю взял спорить? — в голосе комбрига звякнули угрожающие нотки.

Закаменев лицом, эскадронный мрачно вскинул руку к козырьку:

— Разрешите идти?

Дождавшись, когда он скрылся с глаз, словоохотливый Милкин произнес с нескрываемым уважением:

— Самостоятельный мужчина!

— Ничего, боевой,— подтвердил Котовский, жестом пригласил всех садиться и сел первым, привычно устроил шашку между колен.

Мужики стали рассаживаться, соблюдая какой-то деревенский чин. Ближе к комбригу оказались Сидор Матвеич и Милованов. С самого начала Котовского поразил неприятный миловановский взгляд — прямой и наглый, как у барана; приглядевшись, он понял, отчего это: глаза у Милованова были голые, без ресниц.

— Кто-то из вас... ты, кажется, спрашивал про «союз трудового крестьянства».

— Я, я! — радостно закивал со своего места Милкин. При рассаживании его задвинули дальше всех, и теперь он старался выдвинуться поближе.

Комбриг едва заметно усмехнулся.

— Сам-то записался, нет?

От такой прямоты Милкин опешил.

— Да ведь... если, к примеру...

— Не бойся, говори. Сам же завел.

Ища поддержки, Милкин зыркнул вправо, влево,— мужики сидели, уставив глаза в землю. Дескать, сам затеял, сам и расхлебывай... Отчаяние взяло у Милкина верх над вековой осторожностью.

— Ну, а что бы ты-то па моем месте сделал? Или отказался? Плачешь, да пишешься! Это слезы наши, а не союз. Голова-то одна, вот за нее и держишься.

— У тебя одна, да у него одна — уже две!

— Так и у него она тоже одна-разъединственпая! Вот ведь какое дело, товарищ командир.

У Милкина была своя правота, и он гнул ее уверенно, нисколько не сомневаясь.

— Это все понятно.— Григорий Иванович отчетливо чувствовал напряжение всех, кто сидел вокруг. Затаились, молчат, но каждый ждет, как повернется разговор. А ну вскочит и затопает ногами, да еще прикажет похватать и посадить под караул? — Но вот чего не понять: почему это вы за свою держитесь, а они за свою — не очень? Может, у них запасная есть?

Милкин хмыкнул:

— Им-то чего бояться? Их — сила!

— Сила? А тогда зачем они вас заставляют записываться? Видно, без вас у них силы не хватает. Я, например, так понимаю.

Попал... Мужики качнулись, пронесся дружный вздох. Милкин, уступая, забормотал:

— Может, оно и так, не знаю. С нами не советовались.

— Власть ихняя,— с горечью признал Сидор Матвеич, тыча костылем в какую-то букашку под ногами.

— Какая же у них власть? От власти они бегают. Власть ваша, вы сами. Кого больше-то — вас или их?

— Поговори-ка поди с ними...— снова осмелел Милкин.— Чуть заикпулся — в яругу и башку долой.

— Ну вот, а ты говоришь — власть. У власти, у настоящей власти, суд должен быть, закон. Виноват — докажи. А какая же это власть: живот человеку размахнули, на воротах приколотили? Так только волки, если в овчарню заскочат...

Молчат, не поднимают глаз. Даже Милкин утих. Григорий Иванович подождал — и снова:

— Так теперь что, тебя за бороду хватают, а ты сиди, терпи? Так, выходит?

Первым не вынес Сидор Матвеич.

— А что делать, гражданин военный командир? Мужик — он ведь как веник смирный... Эх, чего языком молоть! Если бы на каждую оказию рот разевать, не только бороду, голову бы давно оторвали. Ведь ты бы поглядел, что тут было!

Оборвал зло, отвернулся и завозил плечами, словно то, чего не досказал, так и зудело, так и просилось.

— Ну... Ну...— подталкивал Григорий Иванович.

— А что — ну? Ладно, Антонов не власть. А был тут у нас Филька Матрос, в Шилове. И не где-нибудь, а в Совете сидел! Такого варнака днем с огнем не найдешь. Разговоры разговаривать не признает, орет во всю рожу, матерщины полон рот. Как кого заарестуют, к нему доставляют, а уж он решает, кого к стенке без разговоров, а кого к награде. Но если только он с похмелья — беда: сам же и шлепнет от изжоги организма.

— Жалко,— Григорий Иванович побарабанил пальцами по рукоятке шашки,— жалко — не дождался он нас!

— Его нету, другие есть,— смирно, прокашливаясь после долгого молчания, подал голос Милованов. Григорий Иванович даже вздрогнул: совсем забыл, что с этой руки у него тоже человек сидит.

По одному тому, как подобрались и стали слушать мужики, комбриг понял, что Милованов в Шевыревке не последний человек. Выдавала его и уверенная хозяйская повадка: этот человек привык, чтобы, когда он говорит, другие замолкали.

— Про Фильку — что...— Милованов махнул рукой.— Они с попом и без того от самогону бы сгорели... В Дво-

рянщине у нас что было! Привезли один день ситец. Ну, ситец! Голышом все ходим... Так что вы думаете? Равноправие, говорят,— значит, всем будем давать поровну, чтоб никому не обидно. Ну, тоже вроде ладно. И ведь головы же садовые, стали на сам деле резать! На всех-то помене аршина и досталось. По-хозяйски это? Да я ладошкой больше прикрою, чем этим аршином. Не издевательство это над мужиком?

Пристальный, обнаженный взгляд Милованова жадно караулил любую перемену на лице комбрига.

— Правильно,— согласился Григорий Иванович.— Это — вредительство.

— Ага. Теперь дальше гляди. С хлебом. Что ни день, то указ: сдавай то, сдавай другое. Заборы от указов ломятся. «Да мы же только что сдавали!» — «Не разговаривай!» И — гребут. И гребут-то как: с оркестром! Бабы, ребятишки воют, а у них музыка наяривает... Ну? Это власть? В силах это мужик вынести?

Говорил Милованов, как камнем бил. И заметно было — ждал: ну дрогни, хоть сморгни, ведь крыть-то нечем!

Пальцем комбриг полез за ворот гимнастерки, потянул. Минута прошла в молчании. Неприятная минута.

— Это произвол,— обронил наконец Григорий Иванович.— За это спросят. Спросим!

Вот-вот! В усмешке Милованова просквозило нескрываемое торжество.

— Кто спрашивать-то будет? Свой же и спросит. Знаем мы.

— Плохо знаешь! — отрезал Котовский.— У нас спрашивают так, что... В общем, не пожелаю ни тебе, ни кому другому!

Милованов глумливо промолчал, всем видом показывая: дескать, говори, говори... Григорий Иванович искоса взглянул на него, но ничего не сказал.

Жалея, что нарушился такой хороший, задушевный разговор, Милкин с сочувствием проговорил:

— Оно, конечно, за каждым разве углядишь? Москва далеко. Ленин-то, говорят, за голову схватился, когда узнал, что сделали с мужиком, с разверсткой этой самой...

Нет, такой помощи комбриг не хотел.

— Не мели, не мели,— остановил он Милкина.— За голову... За голову тот хватается, кто сдуру наломает. А с разверсткой все по плану было, сознательно пошли. Да, по плану! — с раздражением повысил он голос, заметив, как изумленно вылупились мужики.— И знали, что которые из вас за топоры возьмутся. Все знали! Ну а что делать, по-вашему? В городах люди мрут. Или ты думаешь, что Ленин как мачеха какая? Одним, значит, все, а другим ничего? У вас тут самогон гонят, а там ребятишек на кладбище таскать не успевают. Ему надо всех накормить, за всех душа болит. Вот и пошли на разверстку... Тоже — плачешь, а идешь.

Кажется, оправдывайся он незнанием, вали всю вину на таких, как Филька и другие, мужикам было бы легче. А так... что же получается-то?

Сцепив руки, Милованов вертел большими пальцами.

— Значит,— промолвил он, угрюмо выставив бороду,— земля наша, а что на земле — совецко? Солому надо жрать, чтобы так хозяйствовать!

Медленно, медленно поворотился к нему Котовский. Мужики не дышали: Милованов бухнул о том, из-за чего весь сыр-бор... Григорий Иванович не спеша поизучал его, сощурился.

— Значит, когда вам землю, то па́, возьми, да еще защити вас от тех хозяев, а когда от вас потребовалось по куску отдать, так вы за топоры, за вилы? Ишь ведь какие фон-бароны сразу стали! А подумали бы своей головой: кто вам землю-то дал? Забыли? И неужели вы отсиделись бы тут, если бы мы там кончились? Живо бы прежние

хозяева налетели, притянули бы вас за землю! Прошел же у вас тут Мамонтов. Что, хорошо было? Поправилось?

— Известно — генерал,— вздохнул Сидор Матвеич, укладывая на костыль дрожащие руки.

— Генерал!.. А если бы не генерал? А если бы вашу Шевыревку какой-нибудь немец занял? Он что — не забрал бы хлеб, вам оставил?

— Немец-то? — Сидор Матвеич убито махнул рукой.— Немец чисто гребет. Зернышка не оставит.

— О! Вот видишь! А кто сюда немца не пустил? Кто генерала вытурил? Кто загораживал вас, пока вы тут этот свой хлеб выхаживали и убирали? Ну, кто? Солдат. Рабочий. Мужик. Так почему же вы накормить их не хотите? Почему не поделитесь? По-человечески ведь просят! Они ж не только за себя, они и за вас бились. Собаку, которая двор стережет, и ту кормить положено. Трудно понять, что ли?

Тишина. Ни одна голова не поднималась. А что, в самом деле, возразишь? Понять не трудно, чего там не понять. Отдавать — вот чего душа не переносит. Свое — оно и есть свое.

Не вынес молчания и завозился Иван Михайлович Водовозов, сидевший до сих пор незаметно. Пока шел спор Котовского с мужиками, он угрюмо смотрел себе под ноги и, морща лоб, о чем-то напряженно размышлял.

— Солдат — что? — задумчиво проговорил он.— С солдатом мы бы поделились. Солдат не объест. Буржуйцев разных неохота кормить. Как паразиты живут.

— А я о чем? — обрадованно подхватил Милованов.— И я про то же самое!

— Ты погоди,— Иван Михайлович даже не взглянул на Милованова.— С тобой разговор другой. Тебя если и потрясти маленько — не обеднеешь. Ты вон свиней пшеницей воспитываешь, а люди хлеб над горсточкой едят.

Милованов вспыхнул и тревожно метнул взгляд на Котовского.

— Замолол! Я, что ли, виноват, что вы на зиму не запасли?

— Было бы из чего — запасли бы, не дурней тебя,— продолжал Водовозов.— Ты вон земли нахватал — управиться не можешь, людей нанимаешь, а через наш надел старуха перескочит. Тебя чуть прижмет, ты в поземельный банк идешь, ссуду берешь, а я куда сунусь, если у меня семь тощих собак в хозяйстве?

— Про землю не мне жалуйся! — отрезал Милованов.— Землю мужикам сам Ленин отдал.

— У нас-то не Ленин раздавал,— прищурился Водовозов.— И ты это хорошо знаешь.

Милованов заерзал.

— Что же молчал-то, когда время было? Земли было — бери сколько можешь.

— Ишь ты как запел! Поди-ка поговори тогда с вами. Сынок твой распрекрасный... Ему в оглоблях ходить, а он... Глотку свою в двадцать диаметров разинет, переорика попробуй вас!

— Не мели, не мели чего зря! — прикрикнул Милованов, не переставая поглядывать в сторону Котовского.— Ты о деле говори. Глотка! Вот ты глоткой-то и работаешь. У людей на руках мозоли, а у тебя на языке.

— Это у меня на языке?! — взвился Водовозов и, наступая, стал взглядывать то на голову, то на ноги обидчика.— Да я тебе сейчас такую мозоль поставлю!

— Не лезь, не лезь, хвороба,— отпихнул его Милованов.— А то как ткну, сразу сопли высушу!

— Ты?! Мне?! Ах-х ты...

И быть бы драке, не вмешайся мужики. Водовозова и Милованова схватили за руки, усовестили, развели по местам.

— Ну-ну,— усмехнулся Котовский, пощипывая усики.— Жизнь, я гляжу, у вас...

Водовозов снова вскочил, никак не мог успокоиться.

— Жить, Григорь Иваныч, потом будем, сейчас бы справедливости добиться!

Лицо его горело. В деревне Иван Михайлович славился своей небывалой невезучестью. За что бы ни принялся он, все у него выходит не так, как у людей. Корову заведет — она в короткий срок сделается неудойной и шкодливой, как коза. Теленок народится — от поноса изойдет. Свинья, извечная крестьянская копилка мяса на зиму, и та не приживалась. У соседей свиньи как свиньи, а у Водовозова тощие, длиннорылые, ногастые, точно собаки. От постоянных неудач Иван Михайлович настолько озлобился, что стал, как говорили в Шевыревке, человеком поперешным: ему одно, а он в ответ совсем наоборот. Словно кому-то в отместку... Кроме того, с Миловановым у него давнишние нелады из-за дочери Насти: миловановский парень Шурка не давал девке проходу, однажды Иван Михайлович даже погнался за ним с вилами.

Возвращаясь к разговору, комбриг показал Водовозову, чтобы он сел и успокоился.

— Ты говоришь, буржуев неохота кормить,— напомнил Григорий Иванович.— Как будто в городе одни буржуи. Смотри: топор тебе надо? Надо. А вилы? А плуг? Молотилку? Все надо. Кто же тебе все это делает-то? Кто? Ра-бочий. Ему надо и железо добыть и выплавить, и уголь всякий. Да мало ли... Или ты думаешь: рабочий в городе шляпу купил, задрал ее на затылок и по-шел себе бренчать полтинниками в кармане? Не так оно все. Совсем не так.

Замипая неловкость, Милкин примирительно заметил:

— Вот так бы и растолковали сразу. А то сдавай — и все! Нож к горлу.

Со своего места Милованов проворчал:

— Мужик власть уважает — уважь и власть мужика. Капни ему масла на голову — он тебе из себя вылезет, в проруби искупается. А за горло хватать — кому это поглянется?

— Тоже правильно,— согласился Котовский.— Только когда капать-то было? Деникин под Москвой стоял.

— Это так,— с легким вздохом подтвердил кто-то из последнего ряда.

Милованов ничего не сказал и с непримиримым видом отвернулся. Сбоку его лупоглазие заметно особенно,— кажется, стукни человека по лбу, глаза так и выскочат.

Пока тянулось неловкое молчание, Григорий Иванович незаметно наблюдал за ним издали. Что ж, с этим человеком все было ясно. Ну а остальные-то?

— Да-а...— раздавались вокруг вздохи.— К-гм...

Котовский терпеливо выжидал.

Затеяв спор и ничего не доказав, мужики чувствовали себя побито. Но, высказав все, что лежало на душе, стали доступнее, проще. Теперь бы самое время о новом разузнать. Старое — что? Пережили — и слава богу... Сидор Матвеич, как своего, деревенского, хитровато ткнул комбрига в бок.

— С разверсткой-то что? Слух был, будто ее похерили, окаянную. Верить, нет?

Глаза у старика неожиданно оказались живые, бойкие и немалого ума.

— Слух...— рассмеялся Григорий Иванович.— Написано везде. Своими глазами все читал.

— А-а... обману не выйдет? — И старался изо всех сил заглянуть в глаза поглубже, добираясь до самого дна души.

Дотошность старика все больше веселила комбрига:

— Да что ты, дедушка! Сам Ленин приказал.

— Так, так, так...— Мужики, пихаясь, полезли ближе, вытянули шеи.— И как же теперь будет? Мы уж тут всяко думали. Неуж одним налогом всех накормите?

Сидят не дышат, глядят в самый рот. Ну что ты с ними будешь делать! Опять не верят... Григорий Иванович закряхтел, снял фуражку и повесил ее па рукоятку шашки. Морщась, расстегнул пуговицы на воротнике.

— Не понимаю я вас, мужики. Вроде с головами, а рассуждаете, как малые дети. Налогу, если его собирать по правилам,— во, по уши хватит.

— Чего же раньше-то?

— А вот и считай, чего раньше,— стал загибать пальцы.— На Дону война? На Кубани война? На Украине — сами знаете... Да и Сибирь... Си-бирь! Соображайте.

Откинулись, вздохнули.

— Похоже, так. Сходится... А правду, нет говорят, будто в Сибири народ по колено в зерне ходит?

— А реки молоком текут? — весело подхватил Григорий Иванович.— Всяко живут, и хорошо, и плохо. Как везде. Я эту Сибирь насквозь прошел, насмотрелся.

— Не из Японии, случаем? — встрепенулся Сидор Матвеич.

— Почти оттуда, дедушка. С Амура.

— Пешком?

— А всяко. Иногда и ползком.

Сильно потянуло едким табачным дымом. Григорий Иванович завертел головой: откуда это? Сверху, из окна, свешивался Емельян — лежал животом на подоконнике и слушал.

— С налогом-то...— напомнил он, спрятав руку с цигаркой.

Появился Юцевич, деликатно стал так, чтобы комбриг увидел его и понял — есть дело, но Григорий Иванович показал ему: мол, обожди. Пробежал через двор Черныш, ведя за повод Орлика. Лоснящийся жеребец потянулся было к хозяину, Черныш дернул его и увел.

— А что налог? — с некоторым наигрышем удивился Григорий Иванович.— С налогом, по-моему, ясней ясного.

— Ладно, не томи,— ворчливо подпихнул его Сидор Матвеич.— Знаешь — расскажи. Ты приехал и уехал, а нам — жить.

Двумя пальцами Григорий Иванович взял себя за переносицу, зажмурился. Если он правильно запомнил, то декретом ВЦИК общая сумма налога устанавливалась примерно в 240 миллионов пудов. Это для начала, поспешил добавить, в дальнейшем она будет снижаться и снижаться. («Вот армию здорово сократим. Сколько мужиков сразу за дело примется!») Очень важно в декрете вот что: каждому крестьянину еще до весеннего сева будет известно, сколько хлеба он должен сдать осенью. Значит, каждый заранее сможет рассчитать: столько-то он соберет, столько-то сдаст в налог, а столько-то останется ему, делай с этим хлебом что захочешь. И вот еще: кто победней, с тех и налог поменьше, а есть и такие, с кого на первых порах вообще не возьмут ни зернышка, пускай сначала как следует встанут на ноги.

— Классовый принцип. С богатого — побольше, с бедного — совсем почти ничего. Там несколько налоговых разрядов установлено.

Милованов насторожился:

— А кто по разрядам будет разносить?

— Как — кто? Сами. Кого вам еще надо?

— Опять, значит!..— Милованов едва сдержался, чтобы не выругаться.— То на то и поменяли. Посадят когонибудь, он и начпет...

— А вы на что? — спросил комбриг.

— Много нас тут спрашивают...

— Ты не мели, не мели! — прикрикнул на него сверху Емельян.— Язык, гляжу, большой стал.

Милованов затих и отступил, но комбриг видел, что слушатели отчего-то жмутся, кое-кто разочарованно полез в затылок. Оказывается, смущает всех самая что ни на есть пустяковина: каким образом будет начисляться налог?

— Да вы что? — удивился Григорий Иванович.— Ну давайте вместе считать, раз такое дело... Вот, скажем, двор, где всего по полдесятины на едока. Есть ведь такие? Есть. Скажите мне: сколько он зерна на десятине соберет? Ну?

Ежатся, молчат. Наконец кто-то:

— Загодя как считать? Земелька у нас средненькая, жизнь серенькая... Урожай сам-пят, сам-шест, а если сам-сем, считай — бог послал.

Бестолковость (а может быть, и притворство) вывела комбрига из себя. Кажется, все разжевал как мог, так нет! К тому же Юцевич снова показался, постоял и озабоченно ушел.

— Ладно, по-другому будем считать. Меньше двадцати пяти пудов на десятине ведь не берете? (Нарочно взял самый нижний предел.) Или берете?

— Да что ты с ними! — не утерпел у себя в окошке Емельян.— За такой урожай руки надо отрубить!

— Пускай. Смотрите, я кладу двадцать пять. Значит, и налогу такой человек заплатит всего десять фунтов. И все! Но ведь есть у вас и такие, у кого по четыре десятины на едока. (Сам не зная почему, но глянул на Милованова и сразу понял: не ошибся, этот земли успел нахапать.) Ну вот, давай посчитаем ему. Как, может он собрать по-о... ну, скажем, по семьдесят пудов?.. Вот ему и поднесут налог — одиннадцать пудов.

Договаривая, надел фуражку и поднялся, стал застегивать ворот. Мужики сгрудились вокруг.

— А когда все будет... вся благодать-то эта? — поинтересовался Сидор Матвеич.

— Да хоть сейчас. Сегодня. А разобьем Антонова — и вообще живи не хочу. Никто мешать не будет.

У себя в боковушке Емельян слышал, что комбрига провожали гурьбой, не хотели отпускать.

— ...А куда смотрите? — раздавался голос Котовского.— Весна проходит, такие дни стоят, а вы завалинку шоркаете. Земля ждет!

— Боязно. Сунься за деревню — подстрелят.

— Защиту дадим. Для того и приехали.

Напоследок, когда комбриг уже взбегал на крылечко, Милкин сказал таким тоном, будто сообщал приятную новость:

— А ведь клянут вас по деревням, Григорь Иваныч, ох клянут! Сам слыхал.

Похоже было, что комбриг с легким сердцем отмахнулся.

— А кого вы не клянете? Вы отца с матерью так пушите, что хоть иконы выноси.

И скрылся в доме.

Глава шестая

— Заметил, Григорь Иваныч? Этот, вылупленный-то? — Емельян двумя пальцами ото лба изобразил пучеглазие.— У него сын в лесах.

— Ранен?

— Кто, Шурка? Черта ему сделается! Змеиная семейка. Рассказать тебе — не поверишь.

Оказывается, толкуя с мужиками о налоге, комбриг догадался правильно: Милованов, пользуясь тем, что прежний комбед перераспределял землю «по силе возможности», нахватал себе сверх меры, хотя семья у него известно какая: сам, да жена, да сын-баламут. Ясно, надеялся на чужие руки, на чужой горб,— самому столько не осилить.

Смеркалось. Юцевич вышел распорядиться, чтобы принесли лампу. Григорий Иванович, пользуясь роздыхом, покачивался на стуле. К вечеру накапливалась усталость, хотелось лечь, вытянуться, закрыть глаза.

В сумерках, наедине, голос Емельяна звучал негромко, задушевно. Солдат жаловался, что урожай в последнее время действительно редкий, редкий год удастся. Выручались тем, что держали коров. Куда девали молоко? А известно: на молоканку. Тот же Путятин по договору со всей деревней собирал молоко для маслозавода.

— Сколько платил?

— Платил?..— припоминая, Емельян завел глаза под лоб.— Да, помню, копеек по сорок за пуд.

— Сколько, сколько? Да вы с ума сошли! Так он вас на самом деле заставит солому жевать. Это ж грабеж! Сколько же он наживал?

— На мужике кто не наживал? Только ленивый.

— Сами вы ленивые! — возмутился Григорий Иванович, узнав, что снятое молоко (его крестьянам отдавали обратно) спаивали скотине или же выливали прямо на землю.— В Молдавии из него сыр делают. Сыр! Ел, нет?

— Слыхать — слыхал...— почесался Емельян.

— Иди отсюда! — огорчился Котовский.— Глаза бы на вас не глядели! Поса́дите себе на шею и тащите, тащите...

Изобразил, как сгибается под непосильной ношей замордованный мужик (уже привык к солдату; с чужим человеком он разговаривал бы совсем не так).

— Я гляжу, Григорь Иваныч,— осклабился Емельян,— по крестьянству у тебя голова соображает. Приходилось, видать?

— Ты лучше вот что,— посоветовал Григорий Иванович,— народ на поле посылай. Сейчас они ничего не сделают — зимой ноги протянут.

Растворив ногою дверь, появился Юцевич. В одной руке он нес зажженную лампу без стекла, ладонью другой прикрывал спереди трепетное пламя. Чудовищная тень солдата вскочила во всю стену, переломилась на потолок.

Комбрига и начальника штаба ждали дела. Емельян собрался уходить.

— Я что хотел узнать, Григорь Иваныч. Раньше молоко Путятину сдавали, и он какие-никакие, а деньги платил. Теперь как будем?

— Вам что — свет клином на Путятине сошелся? Самим надо браться.

— Торговать? Да какой же из меня... На пальцах считаю — много ли наторгую.

Придвинув лампу, комбриг как будто сразу забыл о солдате.

— Учись, учись,— проговорил он, увидев, что тот все еще стоит.— Не научишься — опять в колодец сядешь. Только на этот раз, может, и не вылезешь совсем. Понял, нет? Тогда кругом — арш!

О колодце у комбрига сорвалось так, походя, но Емельян сразу сделался мрачнее тучи. Каждый раз, вспоминая свое унизительное отсиживание в ледяной воде, свое бессилие, он ощущал, как горячо, нетерпеливо начинает колотиться сердце: болела душа за товарищей, зарубленных бандитами в путятинском — вот в этом самом! — дворе. Надо же, как дети малые попались! Подумаешь сейчас — и локти бы себе с досады откусил...

Домой, в Шевыревку, Емельян вернулся декабрьским мглистым днем, под праздник Николы, когда от первых морозов становятся на зиму обмелевшие, усталые реки. Покуда добирался, наслушался многого: и об Антонове, и о «союзе трудового крестьянства» («союз тамбовских кулаков»,— едко шутили вагонные попутчики), однако в серьезность затеи с восстанием не верилось. Колчака, поляков, Врангеля одолели, а уж какого-то Антонова...

Дома Емельян застал захудалость во всем и недостачу. Война — она кому как: одного погладит, а другого ушибет. Заметней, чем прежде, стала разница между двумя извечными концами деревни, верхним и нижним, будто одни за эти годы росли и укреплялись, а другие ветшали и худели.

Сильно распух Путятин, подумывал перебираться в Каменку, большое торговое село, где для человека с деньгами и соображением открывался нездешний простор в делах. Тянулся за ним и Милованов, во многом бравший с него пример. Когда Деникин подходил под самую Москву, Милованов скупил по деревням хлебушко и ссыпал про запас, готовясь повезти его в оголодавшую столицу. Размахнулся мужик не по-здешнему, на зависть многим, да вышла маленькая неувязка: Москву Деникину взять не удалось (а то выскочил бы Милованов сразу в большие тысячники). Но своей надежды Милованов не терял — теперь постоянно интересовался свободной торговлей...

— Дела, я гляжу, у вас...— крякнул Емельян.— Зачем же тогда царя скидывали? Чтобы Путятина да Милованова на шею посадить?

— Емеля, ты, сказывают, и в Москве бывал? — спросил Сидор Матвеич.— С Лениным, случаем, не видался?

— Где там, дедушка... У Ленина своих забот полно.

— Правду, нет ли говорят, будто белые французов наняли и те за хорошие деньги, за бриллианты поперек Волги магнит поставили? Как баржа какая или пароход идет, его — раз! — и притянет на дно. Оттого и голодуха: никакого подвозу не стало.

Недовольно завозился громадный Яценко.

— Ленин правильно распорядился: хочешь землю — сам бери! Вот и надо брать.

— Брали,— вздохнул Степан, брат Емельяна,— да между рук просыпалось. У меня семья трое, и у Милованова трое. У меня надел — куренка некуда выпустить, а у Путятина, у Милованова?

— Значит, и на них нечего смотреть!

После сердитых слов Яценко все замолкли и уставились под ноги. Так тихо стало, что слышен был визг снега под чьими-то сапогами на улице. Чернота ночи глядела в окна. Из сеней, куда часто выходила Алена, жена Степана,

врывались бойкие клубы холода. Самим брать... Хорошо бы, конечно, да как? Свои же все, деревенские. Неловко...

Подолгу просиживали мужики, собираясь вечерами у Ельцовых. Как правило, все с нижнего, бедняцкого конца деревни. Накуривали так, что начинало драть глаза, и Алена, проснувшись, разгоняла всех по домам...

Помог случай: в деревню приехал продовольственный отряд. С помощью приехавших потрясли богатеньких, у Путятина конфисковали дом под сельсовет. (За этот дом, за помощь продотряду Путятин потом криком изошел, требуя найти спрятавшегося Емельяна.)

— Вы главного ищите! — топал он ногами на бандитов, таскавших к нему в амбар избитых сельсоветчиков.— Главного нету. Он тут где-то, тут!..

Расправы над товарищами Емельян не видел, однако бандиты постарались согнать к путятинскому дому столько миру, точно выставляли свою лютость напоказ.

Антоновское воинство вошло в деревню пышно, с музыкой. По четыре человека в ряд ехало несколько десятков всадников на отборных гладких конях, двигались молча, с каменною неподвижностью в седлах. За ними показались новые ряды, человек пятьдесят, но тут каждый был с баяном. Широко и враз растягивая мехи, баянисты слитно выводили грубыми лесными голосами: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...»

За баянистами в мрачном одиночестве ехал огромный детина и в обеих руках держал древко большого бархатного знамени. По красному полю, обрамленному золотистой бахромой и кистями, в два ряда тянулась вышитая надпись: «В борьбе обретешь ты право свое!» За детиной со знаменем, тоже в одиночестве, на рослом сером жеребце, покрытом алым чепраком, ехал худой сутулый человек в невиданно пестрой одежде: красной с золотом и серебром. Седло и уздечка были щедро выложены серебром и начищены до блеска.

Конные ряды тянулись бесконечно. Потом ухарски проехали тачанки с пулеметами, за ними несколько упряжек тащили прыгавшее на кочках орудие.

Старик Путятин, радуясь возвращению, обходил свой дом, в котором несколько месяцев помещался деревенский Совет, оглядывал ободранные стены; он забылся в размышлениях и вздрогнул, когда распахнулась дверь и во главе гурьбы обвешанных оружием людей вошел пестрый человек, недавно проезжавший на сером жеребце. На Путятина близко глянули темные запавшие глаза, сварливым тонким голосом человек задиристо спросил:

— Кто таков?

У Путятина была привычка долголетнего хозяина выбирать работников по ширине кистей и плеч. Машинально он отметил, что этот в работники не годится: ничем не вышел. Красная гимнастерка с золотым шнуром по вороту и красные галифе с серебряными лампасами были сшиты из добротного материала, но сидели, как на нестроевом солдате. Едва увидев в избе постороннего, вошедший затеребил серебряный темляк на золотой рукоятке шашки, принялся подрыгивать ногой в гусарском мягком сапоге с кисточкой.

Влезая за ним в избу, низенький толстый человек в длинной бурке и зеленой чалме с пером успокоительно проговорил:

— Хозяин это, Александр Степаныч.

— Хозяин? А доказательства?

Капризный вопрос остался без ответа. Все молчали. Тогда Антонов, дернув головой, снял красную фуражку с золотым кантом по большому козырьку и вялой рукой погладил худой оголившийся висок.

— Ну что, дед? Сладко было при комиссарах?.. А ведь говорил вам, чертям! Не слушаете никогда.

Низенький, в бурке и чалме, зашел старику за спину и стал подталкивать его к дверям.

На крыльце уже стоял пулемет с продетой патронной лентой, к перилам охрана привязывала лошадей.

Человек в чалме кричал с крылечка, чтобы немедленно послали охранение на мельницу за деревней, и сердился, что этого не догадались сделать раньше. Выставив старика из дома, он ни минуты не сидел на месте. Казалось, основной его работой было производить как можно больше шума и суеты. С разбегу он взлетал на самый верх крыльца, и бурка его трепыхалась, как крылья большой подбитой птицы. Это был командир Особого отборного полка в антоновской армии, Назаров. Его странный, невиданный в Шевыревке головной убор вызывал любопытство и страх.

— Турок, что ли? — переговаривались в толпе, стоявшей с самого утра у путятинского дома.

— А вот он тебе покажет турка...

Минуя охрану и пулемет на крыльце, в дом заходили командиры полков и отрядов, озабоченные люди, все, как правило, с излишком обвешанные оружием. Антонов сидел за столом в окружении ближайших приспешников, с которыми он раздувал свое большое угарное дело. Здесь были сотоварищи, прошедшие с ним каторгу, соучастники его лихих дел на уездных дорогах дореволюционной России.

— Мобилизацию провели? — цедил он сквозь зубы и поглядывал вокруг себя из-под низких век.— Пьянствуете, сволочи! А мне люди, люди нужны!

В нем нарастало раздражение, и штабные без особой нужды на глаза к нему не лезли.

— Александр Степаныч, митинг сейчас,— напомнил Ишин, краснобай и большой знаток мужичьей психологии.

Антонов взглянул на него с неприязнью:

— Нам долго рассусоливать некогда. Сам знаешь.

Ему становилось жарко в теплой одежде, он рукавом утирал лицо.

Натужно переставляя ноги, вошел парнище с чубом на



пол-лица, в обеих руках он нес тяжеленную пишущую машинку. Все замолчали и дали ему дорогу. С усилием, выставив живот, парнище приподнял и со стуком опустил машинку на стол. От стука Антонов дернулся:

— Ты аккуратнее не можешь, м-морда?

Парень испугался и уронил вдоль тела руки.

Снова вмешался сладкоречивый Ишин, незаметно отодвигая парня к порогу, показывая ему, чтобы убирался подобру-поздорову.

— Надо бы, Александр Степаныч, поделикатней кого к машинке приискать. Давно говорю. Ему с быками управляться, а тут штука умственная, техническая.

— Он у меня научится! — разбушевался Антонов.— Я его... как зайца спички зажигать!

Выскочил из-за стола, схватил парня за роскошный чуб и остервенело принялся таскать. Расставив руки, парень покорно болтал головой.

— Да ну его, Александр Степаныч,— заступился за парня Ишин.— Сам помрет. Не расстраивай себя понапрасну. На митинг надо.

Антонов ударил напоследок парня по шее и, отдуваясь, отошел.

Легким стремительным шагом, почти бегом, влетел брат Дмитрий, молодой, чернявый, чем-то похожий на старшего, а больше не похожий, как будто не одна мать их родила. В руке Дмитрия развевался лист бумаги.

— Братка,— обратился он к Антонову,— что спросить-то хочу... Мне бы машинку на час.

Увидев, что старший брат не в духе, Дмитрий замолчал. Антонов сдувал с нарядной своей фуражки приставшую пушинку. Яркую форму для командующего он придумал сам и очень ею гордился.

Егор Ишин взял у него из рук фуражку и надел ему на голову.

— Александр Степаныч, ждут,— показал на дверь.

Одной тесной группой неторопливо вышли на крыльцо и с легким переталкиванием расположились так, чтобы и Антонов оказался впереди всех, и остальным быть тоже на виду. Охрана с карабинами наперевес повернулась к затихающей толпе. Где-то далеко истошным голосом вопила женщина. Антонов прислушался и дернул шеей.

— Что, мужики, пожили при комиссарах? — выкрикнул он, от напряжения приподнимаясь на носках.— Допустили их до амбаров, до баб своих, до девок? А сейчас еще хуже будет. В Тамбове в продкомиссии сидит еврей Гольман, он какой день христианской кровушки не выпьет, тот день сытый не бывает. А на помощь ему идет бандит Котовский, я его хорошо знаю. Его специально выпустили из тюрьмы. А с ним... кто, думаете? Целая орда китайцев, татарвы, латышей. Эти до девок злые, лютые. Так девок шелушат, ажник искры летят. Все сеновалы попалили.

Стоявший сзади Ишин незаметно пожевал губами. Об угрозе бабам и девкам как-то помянул на одном из митингов он сам, и с тех пор Антонов, если доводилось ему держать речь перед народом, говорил об этом к месту и не к месту. Сейчас говорить следовало совершенно о другом. Полузакрыв глаза, Ишин следил за нервными усилиями сплетенных сзади пальцев Антонова. Сам он умел задеть мужика за душу, почитывал речи Чернова и Спиридоновой и в окружении Антонова считался самым искусным оратором. Все говорение при подготовке восстания лежало на нем, и лишь теперь, когда открыто выступили с войском, Антонов все чаще задвигал его за спину и показывался перед народом сам.

— А что, мужики,— продолжал выкрикивать Антонов, поводя из стороны в сторону громадным козырьком своей фуражки,— может, хватит терпеть, а? Может, за вилы да за топоры? Встанем за свое!

Не удалось выступить Ишину и на этот раз. Командир Особого полка Назаров, скинув для проворства бурку, за-

гремел замком амбара, где содержались арестованные. Наступила самая ударная часть митинга, которую Антонов, как и везде, проводил с особенным подъемом. В таких делах он чувствовал себя уверенно.

— А ну выводи их на суд мужичий. Вот они, судьи, вся деревня. Как скажут, как приговорят, так и будет! Мужик — хозяин жизни. Кто мужика обидит, тот всем нам враг. Всем! А мне первому.

Прикрывая зевок, Ишин лениво поиграл перстами. Конечно, жестокость на войне вещь неизбежная, но как ему надоели эти бесконечные «суды»! Везде одно и то же. Нет, будь его воля, он кое-что непременно изменил бы. Скажем, расправу с арестованными следовало делать руками самих же деревенских, связывая их с восставшими крепкой кровавой порукой. Да и мало ли еще... «Тоньше надо работать, дорогой Александр Степаныч...»

Он заинтересовался происходящим, когда Антонов, распаленный видом крови и порубанных людей, стал запрокидываться и падать.

— Всех!..— заходился он в истошном крике и топал ногой в гусарском сапоге с кисточкой.— Всех в яругу и башку долой! Всех!..

Его успели подхватить и, толкаясь, мешая друг другу, потащили в дом — отпаивать. Ишин спокойно подобрал антоновскую фуражку и последним скрылся в дверях. На опустевшее крыльцо снова выкатили пулемет. Митинг кончился.

Располагаясь на ночевку, антоновцы выставили во все концы сильные охранения. Приказано было задерживать всех, кто попытается выбраться из деревни или войти в нее.

Ночь проходила в песнях, наперебой наяривали гармони. Часто раздавалась беспорядочная пальба — от избытка души. Гулянка не затихала до света.

Пароход пристает
Ближе к пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами!

И только для тех, кто сидел в доме Путятина, ночь тянулась медленно и трудно. Этим было не до веселья.

Ближе к полночи духота в избе загустела так, что Антонов, вялый, обессиленный от пережитого припадка, расстегнул ворот и снял фуражку. Кто-то догадался высадить прикладом раму (звон стекла услышал старик Путятин, вздохнул и перекрестился). Стало свежо. Антонов снова застегнулся на все пуговицы и покрыл голову фуражкой.

На душе у него было тяжело. Куда он поведет поверивших в него людей? Слишком ничтожными теперь казались ему самому набранные по деревням полки по сравнению с огромной, затихающей от всяких бурь страной. Верил ли он сам в то, что еще совсем недавно обещал? Тогда казалось — верил. А сейчас?

Обстановка требовала четких и продуманных решений. Само существование армии накладывало на тех, кто ее возглавлял, нелегкие обязанности. На худой конец (но не позднее сегодняшней ночи) необходимо было определить хотя бы движение стоявших на изготовке полков. Выработать и отправить распоряжения. Но как раз в этом-то и была загвоздка: Антонов не имел в себе сил даже для такого решения и, как все нерешительные люди, отыскивал малейшие зацепки, лишь бы оттянуть неприятную минуту, но при всем том не переставая соблюдать видимость самой активной работы. Все, кто был вокруг командующего, подыгрывали ему в этом, зная по опыту, что решение придет само собой в последний миг, когда все оттяжки будут исчерпаны и армия снова окажется перед началом нового дня.

Пока же, до наступления рассвета, штаб исправно помогал командующему создавать иллюзию занятости неотложными делами.

Многое сейчас зависело от Богуславского. В течение последних дней он со своими полками угрожал Тамбову, однако дальше угроз дело не двигалось. А тем временем разведка доносила, что регулярные части Красной Армии (не прежние отрядики) уже наводили порядок у соседей, в Воронежской губернии. И у Антонова мало-помалу крепла тревожная мысль, которой он не делился ни с кем: как бы не пришлось отказаться от Тамбова вообще.

Чтобы заглушить растущую тревогу (а своим чутьем он всегда гордился), главарь мятежа делал вид, что с головой утонул в заботах. Чрезвычайно помогало то обстоятельство, что некому было печатать на пишущей машинке. С тех пор, как при удачном налете на Рассказово в числе трофеев оказалась пишущая машинка, Антонов все приказы своего штаба рассылал только отпечатанными. Документ, написанный не от руки, как это делалось прежде, сам собой свидетельствовал об авторитете штаба и как бы убеждал, что нынче борьба достигла иного, более высокого уровня. Теперь Антонов уже не тот, хоронившийся в укромных дебрях, где он заметал свои следы, сейчас он глава армии, способный одним словом привести в движение огромные силы.

К машинке специально был приставлен человек, очень выносливый, обязанный оберегать ее пуще глаза. Он возил машинку на тачанке, все время удерживая ее на руках.

Размах восстания, как это ни странно, усугублял и без того мучительный разлад в душе Антонова. По мере того как раздувался мятеж, для руководства полками стали требоваться дельные, а главное, грамотные люди. Но Антонов всю свою жизнь презирал и ненавидел грамотных людей. Эта ненависть с новой силой поднялась в бурные дни после царского отречения. О, в те дни у него словно

открылось особое зрение и он увидел, что так называемые горшки обжигают совсем не боги, отнюдь нет! Тогда в Тамбове, в зале губернского собрания (не где-нибудь!), он сам, собственной персоной, торговал кусками своих кандалов, распиленными загодя и принесенными в серебряном ведерке для шампанского. О нем, когда-то прогремевшем на всю губернию чудовищной расправой над артельщиком с деньгами, давно уже забыли и, видимо, не вспомнили бы никогда, если бы не гром событий: срочно потребовался свой, доморощенный страдалец и герой. Судьба Антонова переменилась: чистенькие господа, в свое время безжалостно отвесившие ему «полную статью», взяли его под руки, стали показывать его и восхищаться, и у него забегали глаза. Сквозь мишуру красивых слов он своим цепким каторжным умом пытался поскорее разобраться, кому все это выгодно, и боялся, как бы ненароком не продешевить. Во всяком случае, пока что он был нужен этим говорливым господам, старавшимся замять свое давнишнее участие в его судьбе. Пока они носились с ним, будто со знаменем: страшная Сибирь возвращала России своих узников, каждого в ореоле каторжного мученика, а следовательно, и героя, и уже одним этим вызывала к ним нестерпимый злободневный интерес. А дальше будет видно; он подождет, посмотрит. Пока, как говорится, ветер ему в спину...

Публика губернского собрания сознавала двойственность своего положения. С одной стороны, человек, торговавший каторжными сувенирами, и по сию пору оставался страшен ей своими прошлыми кровавыми делами; страшен был его нечистый, воспаленный взгляд, страшны вспотевшие виски, продавленные, лошадиные, и тонкие, совсем не разбойничьи руки, руки интеллигента, не душегуба, но тем-то и страшней было, что эти руки не боялись никакой, даже самой большой крови; с другой же стороны, такой момент, такие исторические дни! И публика с азартом лезла к столику, каждый выкрикивал свою цену, совал измя-

тые кредитки и с минуту, на восторженных глазах других, менее счастливых и удачливых, в непонятном возбуждении переживал радость от диковинной покупки, вскочившей волею истории в такую моду и в такую цену.

В тот вечер в зале Тамбовского губернского собрания Антонова еще долго передавали от стола к столу, его и чествовали, и страшились, а он был молчалив, натянуто улыбчив и, чтобы не видели его растерянных глаз, упорно прятал взгляд, рассматривая свои руки. Он догадывался, что эти люди хотят воспользоваться им как временным знаменем, а затем выбросить за ненадобностью. «Дудки! На нас не проедешь. Сами с усами...» И он добился своего, широко развернул дело, но — вот наказанье! — разворачивался он на основе веры в природную мужичью силу, а едва восстание стало принимать сегодняшний размах, пришлось убедиться, что вести войну «одним нутром», особенно в таком масштабе, попросту невозможно. Для этого требовались люди не чета ему (сам он не умел даже читать карты). Приходилось идти на уступки и терпеть возле себя таких, кому он не мог верить.

Так терпел он и бывшего штабс-капитана Эктова, никогда не доверяя ему полностью, хотя сознание того, что штаб под руководством опытного военного работает «как следно быть», наполняло душу Антонова гордостью и прибавляло ему уверенности.

Эктов, Эктов... В последнее время Антонов нуждался в нем, человеке подозрительном, больше, нежели в любом из своего привычного и проверенного окружения. Без Эктова он был как без рук. Вот ведь она что делает, чертова грамота! Его люди неплохо владели шашкой и обрезом, здорово расправлялись с пленными, могли без устали отмахать десятки верст в седле, но тут, в деликатном штабном деле, не понимали ровным счетом ничего и перед той же пишущей машинкой терялись, как дети. Грамота казалась им каким-то колдовством, и недаром они с таким

недоверием относились к каждому умеющему читать и писать человеку.

Помимо ожидаемых известий от Богуславского заставляло нервничать еще одно: несколько дней назад из Москвы тайно прибыл человек и передал Антонову приглашение на подпольный съезд «партизанских сил всей России». Ехать, не ехать? Хотелось бы поехать самому, показаться, сорвать дань удивления перед масштабами раздутого восстания, но — страшно. А кого послать вместо себя? Кроме опять же Эктова, некого. А надежен ли штабс-капитан? Не подведет ли?

Вокруг стола, на котором стояла пишущая машинка, толпились штабные, кое-кто из охраны. За машинкой сидел Дмитрий и, заглядывая в исписанный карандашом листок, редко и с усилием тыкал в торчащие пуговки. Печатал — как кирпичи клал. На лице испарина. Из-за спины Дмитрия любопытные с изумлением наблюдали, как на белой странице выщелкиваются аккуратные буковки.

— Вот гады! Придумали же...

Зажатой в кулаке нагайкой Назаров сдвинул чалму со лба.

— Еврея нам какого, что ли, раздобыть? Уж так и быть, пускай бы жил. Вот нация на грамоту... Из-под карандаша аж искры летят!

Токмаков, командир первой повстанческой армии, знакомый Антонову по каторге, с сомнением покачал головой:

— Тут грамота не всякая сойдет. Тут особая грамота требуется.

— В городах девки на машинках щелкают.

— Вот и нам надо девку приискать,— сказал Токмаков.

— Не выдержит,— вздохнул Назаров.— Экая ведь орава! — показал вокруг себя.— Тут кобыла ногайская сбежит.

И тут негаданно-нежданно объявился сам Богуславский: молод, картинно красив, человек большой храбрости. От изумления у Антонова полезли глаза на лоб.

Щеголяя выправкой, Богуславский козырнул и доложил, что Хитровский полк внезапным налетом потрепал красных курсантов и захватил немалые трофеи, однако делиться захваченным отказывается: говорит, самому нужны. (О разладе между Антоновым и Матюхиным, командиром Хитровского полка, штабные знали и по молчаливому уговору фамилию последнего не поминали, употребляя лишь название полка.)

Богуславский докладывал, но по его глазам Антонов видел, что говорит он не о главном, боясь лишних ушей. Самые важные новости, заставившие его срочно прискакать, Богуславский берег для одного Антонова и больше ни для кого.

— Ох, допрыгается он у меня, контрик! — пригрозил Антонов, принимая игру.

Близился рассвет, и командующего спросили, как поступить с ранеными.

— Много?

Раненых оказалось человек пять-шесть.

— Оставить здесь.

Богуславский, помнивший армейские традиции, попробовал возразить:

— Не положено раненых бросать, Александр Степаныч.

— Что?! — ударив кулаками в стол, Антонов поднялся.— Учить меня?! Я не посмотрю! Я те обломаю!..

Молодой офицер оскорбленно отвернулся. На минуту в штабе воцарилось молчание, слышно было лишь редкое щелканье пишущей машинки. Наконец Антонов, отдуваясь, опустился на место и с утомленным видом стал барабанить по столу. Зря погорячился. Так ведь терпения не хватает: каждый со своим умом суется...

— Мобилизация идет?

Ему ответил смирный Ишин:

— Без коней много. С одними вилами.

— Все равно давай,— сердито бросил Антонов.— Не жалей. Криком возьмем!

В последнее время он со всеми без различия говорил напористым и бодрым тоном, словно отсекая самую возможность хоть малейшего недоверия к его большой и кровавой затее. В душе, наедине с собой, Антонов давно уже осознал, что победа, такая, о какой мечталось и оралось на всех митингах, не добывается ни численностью полков, ни даже личной храбростью таких командиров, как Богуславский (на одной смелости сейчас далеко не уйдешь; слишком это простое дело — махать под пулями шашкой). И все же он всеми силами старался вдохнуть уверенность в своих сподвижников, напирая именно на массовость восстания. Но верят ли они в его слова, в его искусственную бодрость? Бороться с постоянным подозрением ему помогало сознание того, что все его подручные связаны одной кровавой порукой и никому из них нет иного пути, как только вместе с ним до самого конца.

Распорядившись, чтобы всякого, кто уклоняется от мобилизации, «в яругу и башку долой», Антонов устало приказал остаться в комнате одному Богуславскому.

Наедине со своим любимцем он ни о чем не спрашивал, лишь заглянул ему в самые глаза, глянул глубоко, с затаенной тревогой. И как выяснилось, боялся он не зря.

Разведка была, пожалуй, одной из наиболее сильных сторон антоновского восстания. Штаб повстанцев располагал своими людьми даже в Тамбове, «наверху», откуда доставлялись самые последние, самые секретные сведения. Однако сегодня Антонов был бы рад не иметь тревожной информации, какую привез его доверенный человек. Новости были страшными. В ночь на 1 мая, когда на станции Моршанск начали выгружаться эшелоны кавалерийской

бригады Котовского, под Тамбов направились и войска из Воронежской губернии. Избегая неминуемого окружения, Богуславский спешно отошел, использовав заслон из мобилизованного населения... В заключение Богуславский обронил, что вообще-то этого следовало ждать: после разгрома кронштадтского мятежа, отмеченного в начале апреля парадом войск на Красной площади, власти неминуемо должны были обрушить на восставших мощный кулак боевых регулярных частей.

Знал ли об этом сам Антонов? Догадывался ли? Конечно, знал и догадывался. Это других можно обманывать и верить в то, что они не сомневаются в твоих словах. Но перед самим-то собой можно и без пляса пройтись. И у Антонова засосало под сердцем. Слишком привык он к малочисленным отрядам красноармейцев, которых ему удавалось водить за нос, заставлять изматывать силы в бесплодных погонях по губернии. С теми чего было не справиться! Но вот пришла настоящая армия, и на него повеяло ужасом близкой расплаты. Слушая Богуславского, он непроизвольно сжимал кулаки. Кажется, давно ли получил он личное послание «мужичьего министра» Чернова, в котором тот уверял, что за личностью Антонова с восхищением следит весь мир? «Знайте, что только на днях закончился в Париже съезд членов Учредительного собрания, на котором большинство решило всячески поддержать социал-революционеров, а эти устами лучших своих вождей... объявили, что будут вести вооруженную борьбу с большевиками. Итак, помощь не за горами...» Ему даже подсунули целую политическую программу, провозгласившую свержение власти коммунистов-большевиков, политическое равенство всех граждан (исключая членов дома Романовых), частичную денационализацию фабрик и заводов, допущение русского и иностранного капитала для восстановления хозяйственной жизни страны... Слова, одни слова... Говорильщики проклятые! Им хорошо сейчас в своем

Париже, а тут начинается такое... Ну да мы еще не кончились, мы еще гульнем напоследок!

Ни в какую Москву он теперь конечно не поедет — пошлет вместо себя Эктова. А для пригляда он отправит с ним своего проверенного человека. Пусть штабс-капитан не стесняется, выпрашивает помощь. С Дона, например. Там сейчас давят казачье восстание, люди бегут, лезут, как клопы, во все щели, чтобы спастись. Вот пускай и заворачивают сюда, к нему.

— Коней держи в справе на всякий случай,— посоветовал он Богуславскому.— Побегать придется.

— Александр Степаныч, обратись с воззванием к мужикам. Тебя любят, послушают.

Наклонив голову, Антонов думал.

— Ладно. Скажи там, чтобы притащили машинку, что ли...

Зачем ему машинка? Но Богуславский ничего не спросил и отправился выполнять приказание.

Дождавшись окончания разговора, появились члены штаба. Поглядывая на Антонова, пытались догадаться о новостях. Он никому не давал заглянуть себе в глаза.

Вернулся Богуславский и доложил, что машинка занята Дмитрием: печатает стихи.

— Сгони к черту! Нашел тоже... Скажи — самому нужна.

Слышно было, как в соседней комнате стал горячиться Дмитрий.

— Сейчас, не лапай. Кончу вот.

— Нельзя, Дмитрий Степаныч. Приказ.

— Приказ, приказ... Комиссарские замашки! Для кого стараюсь? Для себя, что ли? Ни черта не понимаете.

Он вошел с выхваченным из машинки листком, все еще сердитый.

— Чего там у тебя? — спросил Антонов.— Опять стихи? Ну вали, послушаем. Только короче, а то некогда.

Дмитрий, трогая себя за горло, кашлянул и подозрительно глянул на Ишина — у того по губам промелькнула едкая усмешка.

Новой жизни занимается заря,
Цветок красный «коммунистик» уж отцвел
И начал кругом облетать.
«Народник» же весело зацвел
И спешит разноцветные розы укреплять.

— Все? — спросил Антонов.

— А чего же еще? — Дмитрий пожал плечами.

— Ладно,— изрек Антонов,— оставь. Нам теперь всякое дерьмо гоже.

Дмитрий вспыхнул:

— Ну, знаешь! Валяйте тогда сами. А я погляжу.

Проводив его взглядом, Антонов усмехнулся и потер висок.

— Горячий... Ладно, давайте за дело,— он повернулся к смирно стоявшему Ишину.— Насочинял бы ты попонятней, что ли? Чего они, черти, как колоды по печкам сидят? Нам люди нужны. Пусть хоть с вилами, хоть с голыми руками!.. Заверни там, чтоб проняло, ты же можешь.

Испытывая удовлетворение от того, что Антонов при всех признает его превосходство и незаменимость, Ишин скромно потупился:

— Чего уж... Ладно. Сделаем.

— Про мародерство бы хорошо,— подсказал Богуславский.— Такая армия сейчас прибывает, котовцы эти. Да неуж никто из них не оскоромится? Тоже, поди-ка, есть любители и бабу прищемить, и в сусек заглянуть...

Утром на деревенских заборах появилось наполовину написанное от руки, наполовину отпечатанное на машинке «Воззвание» антоновского штаба.

Не остались без применения и стихи Дмитрия Антонова. Под своими сочинениями он подписывался: «Молодой

Лев». Каждый листок стихотворения сопровождало грозное предупреждение: «За срывание, как враги партизан, будут наказаны по закону военного времени».

Глава седьмая

Свет в штабе бригады горел до поздней ночи. К исходу дня стало известно, что отход бандитской армии прикрывает крупный отряд Селянского. Комбриг продиктовал приказ Скутельнику, поворачивая его с эскадроном влево, на дерзкий и рискованный маневр в обхват, рассчитывая прижать Селянского к двум эскадронам Маштавы, как вдруг пришло коротенькое донесение самого Маштавы и разом внесло такие перемены в расстановке сил, что срочно потребовалось многое, если не все, в намеченном плане ломать.

Время уходило незаметно, и, когда от утомления появилась знакомая ломота в висках и надо было прикрывать глаза от света, комбриг спохватился, что час уже поздний. Неторопливый, аккуратный Юцевич забрал какие-то бумаги и отправился к себе,— он рассчитывал просмотреть их рано утром, на свежую голову.

Стянув с себя с кряхтеньем сапоги, Григорий Иванович пальцем постучал по прохудившимся подметкам. Потом он дунул на лампу и в темноте с наслаждением вытянулся всем большим усталым телом. Со двора доносился степенный голос ординарца Черныша,— с кем-то беседовал, коротая ночь.

— По женской части, я гляжу, у вас строговато,— осторожно выспрашивал Черныша невидимый собеседник.

— А когда? — спрошу я тебя. Одно дело — некогда. С коней не слазим. Другое — нельзя. Если что, разговор короткий: в особотдел.

— А сам? Мужчина-то уж шибко в теле.

— А что тебе сам? У нас что сам, что не сам — все одно. Закон для всех. Правда, Григорь Иваныч при жене, супруге то есть. Родить вот скоро должна. Аккуратная бабочка. Уговаривал ее остаться дома — не схотела. Она у нас все время при бригаде, по медицинской части.

— Фершал?

— Выше бери. Врач.

— Нашел, значит? Это правильно. Каждый по себе дерево ломит.

— Когда ломить-то? Не шибко, знаешь. Жить потом будем, сейчас пока воюем.

В конюшне вдруг забила копытом лошадь, заржал Орлик.

— Балуй! — заорал Чернып, бросаясь к лошадям.

«Жить потом будем»,— повторил Григорий Иванович. Второй раз за сегодняшний день приходилось ему слышать эти слова, в которых, если вдуматься, заключалась философия целого поколения людей, чья жизнь выпала на грозные годы ломки старого мира и зарождения нового. Потом... Ради будущего, которое неузнаваемо исправит несовершенство прошлого, бойцы бригады отказались от всего, чем жили раньше, и обучились стрельбе с лошади и спешившись, стрельбе одиночной и залпами, рубке шашкой и кавалерийским перестроениям, организации боя и уходу за лошадью — всей науке убивать и не быть убитым, совершенно ненужной для крестьянина и рабочего, но необходимой для бойца, чтобы устроить жизнь такую, о какой они мечтали все эти жестокие кровопролитные годы. (Закрыв глаза, Григорий Иванович представил своего начальника штаба. Такой человек, как Юцевич, размышляя о красных кавалеристах, объединенных в братство эскадронов и полков, непременно уподобил бы их... ну, скажем, заряженным патронам, не способным в своей классовой ненависти покамест ни на что иное, кроме как

быть выстреленными по определенной цели. Да, не человек, а боеприпас, причем по доброй воле... Так или примерно так сформулировал бы свои наблюдения Юцевич и непременно записал бы в свою книжечку.)

Но разве сам он, командир красной кавалерийской бригады, не подчинил всю свою жизнь тому же самому? Разве не ради *жизни потом* сложилось все его нелегкое существование на земле, оглядываться на которое ему попросту не было времени, кроме тех минут, когда он, вот как сегодня, по каким-то причинам вдруг задумывался о том, что сталось бы с ним, если бы не то-то и не то-то, не стечение каких-то обстоятельств, чаще всего случайных, но тем не менее определивших всю его судьбу, переменивших его так неузнаваемо, что теперь он был не в состоянии увидеть себя в какой-то иной жизни, другой, не сегодняшней...

Для начала, скажем, мелочь. Не ударь бы его Скоповский, просвещенный хам, помещик, у которого он служил управляющим имением... О этот гнусный, унизительный удар барской руки по лицу!

Тогда он был молод, полон планов и надежд. Окончив сельскохозяйственную школу, стремился учиться дальше и втихомолку зубрил немецкий, намереваясь со временем получить агрономическое образование в Германии.

Принимая его на службу, Скоповский не знал, что молодой управляющий уже попадал на заметку полиции за беспорядки в Кокорзенской сельскохозяйственной школе (зачитываясь Пушкиным, Григорий воображал себя Дубровским, встающим на защиту крестьян от произвола самодуров помещиков). На Скоповского произвело впечатление, что дед Котовского, полковник русской армии, владел небольшим именьицем в Балтском уезде. (На военной карьере деда губительно сказался отказ участвовать в подавлении польского восстания 1863 года, и Григорий Иванович застал уже полное разорение дворянской семьи,

даже без остатков прожитого именьица; отец, обнищав вконец, вынужден был приписаться к мещанскому сословию и, чтобы содержать семью, поступил механиком на винокуренный завод князя Манук-бея в Ганчештах.)

Молодой управляющий с первого же дня почувствовал затаенное озлобление крестьян против помещика. Скоповский сам землей не занимался, а предпочитал сдавать ее в аренду исполу. И вот весной крестьяне потребовали снижения арендной платы. В ответ Скоповский пригрозил испольщикам, что сдаст всю землю богатым хуторским мужикам. Деревенские испугались. Чтобы прокормить семьи, своих наделов — «подарка» от первой «воли» — было недостаточно. Не было выгонов для скота, не было леса и водных угодий; рыбу в барских озерах разрешалось ловить только удочкой. А на хуторах сидели цепкие, прижимистые мужики. Если не взять у Скоповского землю исполу, все равно придется наниматься к хуторским, иначе не прожить. И деревенские, скрепя сердце, согласились на помещичьи условия.

Свою месть они приберегли до осени, когда подошла пора убирать хлеб.

Испольщики сжали свою половину, а барскую оставили на корню. Управляющему они так и заявили:

— Сперва свое надо свезти. А там поглядим. Не век же на барина ломить! Пускай радуется, что вспахали ему, посеяли.

Скоповский рассвирепел и потребовал от управляющего, чтобы он покончил с бунтом. Григорий Иванович отправился в деревню. Что он мог сказать крестьянам? Уговаривать? Григорий Иванович считал, что мужики правы. По дороге он зашел к старику Дорончану и посоветовал не поддаваться, стоять на своем: еще немного — и Скоповский уступит.

В барском доме говорили, что виной всему запрещенные бумажки, которые подбрасывают в деревню какие-то

разбойники. Ходят по земле злые люди и смущают смирных мужиков рассказами о привольной жизни без господ, без податей, без начальства.

На четвертый день приехал из города барин со светлыми пуговицами и ласково объяснял на сходке, что люди, которые сулят мужикам господскую землю, зовутся бунтарями, они против царя и начальников, хотят забрать власть себе и подчинить народ.

— В законе сказано,— наставлял он,— собственность нерушима, свята. Вот есть у тебя дырявое корыто,— обратился он к внимательно слушавшему Флоре,— оно твое. Не трогай! Я же не трогаю, правда?

— Гы-ы...— осклабился Флоря.— На, я тебе даром отдам.

— Я к примеру говорю, братец...

Барин уехал, ничего не доказав. Мужики не расходились. Богатый хуторянин Фарамуш налезал на Флорю.

— Землю тебе, дураку, подай! А на чем пахать будешь? Бабу запрягешь?

— Зачем бабу? Лошадь достану.

— Где? Дурак! На дороге найдешь?

— Зачем на дороге? — гнул свое Флоря.— У тебя вон много, может, дашь одну?

— Ты, черт! — закричал Фарамуш.— Ишь ты! Я тебе покажу! Я тебя вот к становому за такие разговоры!

А в помещичьем доме шептались, что у мужиков уже колышки на барском поле поставлены — давно уже размежевку сделали. Потом поползли слухи, что в отдаленных уездах господ выжигают, а их землю и все добро делят между собой. Скоповский распорядился заказать для дома ставни с железными болтами.

Приезжали земский, становой, исправник. Один грозил тюрьмой, другой — розгами, третий — казаками.

— Бунтовать!? — бушевал земский.— Запорю!

— Ваше благородие,— позвал степенный старик Дорончан,— а нам батюшка царский указ с амвона читал.
— Так. Что дальше?
— Царь приказал, чтобы нашего брата перестали пороть.
— Так. Дальше!
— Выходит, ваше благородие, ты самый бунтовщик и есть, если хочешь царский приказ нарушить.
Земский побагровел.
— Охрименко! — крикнул он стражнику.— Запиши-ка его, каналью!
Хуторянин Фарамуш укоризненно покачал головой.
— Как народ разбаловался, а? Все-таки раньше порядку больше было. Бывало, чуть что, в полицию вызовут и первым делом выпорют. А сейчас?
Стояли знойные, сухие дни. Неубранный хлеб осыпался. Скоповский уехал в Кишинев просить казаков. Помещичий дом на пригорке затих и обезлюдел.
Вечером Котовский сидел у раскрытого окна с томиком Тютчева в руках. «Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть...» В дверь постучали, он отложил книгу и поднялся. На крыльце стояли Флоря и старик Дорончан.
— Григорий Иваныч, хозяин за казаками поехал. Худа не будет?
— А что казаки? Они же не будут хлеб убирать.
— Барыня два ведра водки обещает выставить. Мужики сомневаться стали.
Котовский рассердился.
— Если вы сейчас уступите, он на будущий год с вами разговаривать не захочет!
— Это так.— Старик Дорончан почесался.— Григорий Иваныч, правду говорят, будто царь хочет мужикам землю отдать, будто уже манифест вышел, а баре скрывают его от нас?

— Чушь! — запротестовал Котовский.— Царь сам помещик. Как он может земли лишиться?

— Ну а я что говорил? — насмешливо спросил старика Флоря.— Нашли себе заступника — царя! Все они друг за дружку.

Ушли мужики, когда совсем стемнело. А утром к управляющему ворвался Скоповский, вернувшийся из города в бешенстве: там он узнал, что его управляющий еще до приезда в имение был взят полицией на заметку за беспорядки. Скоповский был в дорожной пыли, от злости один глаз его косил. Схватил открытый томик Тютчева, мельком глянул и швырнул его за окно.

— Вон, мерзавец! За что я тебе деньги плачу? Мне таких управляющих не нужно! Ты еще меня запомнишь! Волчий билет, с голоду подохнешь.

И, подскочив к вставшему с постели управляющему, Скоповский залепил ему пощечину.

Ответный удар Котовского отбросил помещика к стене. Кажется, если бы не холуи, караулившие за дверью, драка кончилась бы убийством. Словно в беспамятстве, Котовский расшвыривал навалившихся на него людей, добираясь до горла испуганного хозяина. Его оглушили по голове, затем скрутили руки. Дальнейшее он помнил смутно.

Днем он оказался в городе, в полицейском участке. Бравый пристав с усами вразлет, мясистые, бочкообразные городовые, вонючий подвал-клоповник...

Барский удар продолжал гореть на щеке.

«А он? А его?» — негодовал Котовский и колотил в бесчувственную казенную дверь, бушевал, выкрикивая что-то вроде: «Не смеете!.. Я требую!»

Смеют, оказывается, и еще как смеют!

— Отдыхай,— обронил за дверью дежурный и убрался наверх, скрылся, как казалось, навсегда.

О эти первые часы в неволе! Никто в участке не следил за временем, никто не спешил. Потом и Котовский научится простой философии заключенных — не торопить и не отодвигать событий: все произойдет своим чередом. Но тогда...

С трудом успокоившись, он назначил себе, что освобождение придет к вечеру, никак не позже. Хоть и долго это, но — пусть! (В душе он сознавал, что схитрил, назначая такой долгий срок; но тем приятней будет, если все разрешится еще до вечера. Вроде подарка выйдет.) Но время в участке словно остановилось, и о нем, похоже, забыли. Тогда в отчаянии, что ему придется провести взаперти не только вечер, но и целую ночь, он снова впал в буйство и громыхал в дверь до тех пор, пока не послышались шаги.

— А ну засохни! — рявкнул за дверью грубый голос.— Смотри, недолго и рот заткнуть.

Голос был незнакомый, не тот, что прежде, и Котовский сообразил, что дежурные успели смениться. Значит, прежний сдал свой пост и отправился домой, сидит сейчас у окна и попивает чаек, благодушествует и обсасывает усы; стоит тихий вечер, спешит куда-то народ. Представился и Скоповский: стол на веранде дома, звяканье посуды, женский смех, потом, едва над садом взойдет одинокая звезда, из распахнутых окон зала загремят чувствительные, искусно взятые аккорды рояля...

А здесь сиди и жди! И никому до него нет никакого дела — ни хозяину, распивающему сейчас чаи, ни усачу приставу, взглянувшему на арестованного лишь мельком, краем глаза, как на ничего не значащую вещь...

Он опускался на пол, но вспоминал о пощечине и снова вскакивал. От оскорбления кипела кровь. А что же должны чувствовать те, кого бьют каждый день? Привычка? Страшная привычка, превращающая целую нацию в стадо молчаливых, задавленных рабов!

Утром ему принесли миску баланды, и он понял, что наступил новый день. Спал он, не спал? Ему уже казалось, что он здесь долго, измятый, нечистый, небритый... Но уж сегодня-то обязательно! И он представил, как возвращается домой полевой дорогой: солнце, зной, воздух стригут ласточки, а он щурится и смотрит на небо, в желтеющие поля, и губы сами собой ползут в счастливую улыбку. Да, после клоповника обрадуешься просто воздуху и солнцу...

Освобождение пришло не скоро.

Он выждал до вечера, до темноты, меньше всего думая о солнце и приятной глазу желтизне полей. У него было достаточно времени, чтобы обдумать план мести, и той же ночью он пробрался в барское имение, посвистел отвыкшим от него собакам, притащил с гумна охапку сухой, как порох, соломы. Уж он-то знал, с какого места лучше запалить, чтобы все сразу взялось огнем!

В канцелярии тюрьмы ему сказали:

— Извольте раздеться!

Затем, бесцеремонно разглядывая все его тело, стали записывать особые приметы. Потом взамен его одежды выдали казенную: две рубахи из грубого небеленого полотна, две пары штанов.

— Руки назад, вперед марш!

В камере среди осужденных он встретил простое человеческое сочувствие и точно ожил. Вокруг него разговаривали о прогулках и погоде, о том, какой надзиратель сегодня дежурит, о кассационных поводах и адвокатах, о свиданиях с родными и о женщинах (о женщинах говорили беспрерывно). Постепенно он вошел в сложный и путаный быт тюрьмы. Соседи объяснили, что ежели узника зовут

из камеры без вещей, то это на допрос или на свидание с родными. Его научили выстукивать тюремную азбуку, он познал гнусные свойства параши, узнал все, что нужно знать о надзирателях, младших и старших. На прогулках поглядывал на узкие окошечки одиночек, в которых содержались смертники (однажды ему показалось, что в одном окошечке мелькнуло чье-то белое лицо). Он усвоил жестокие нравы уголовных, вместе со всеми восхищался ловкостью карманников, ворующих во время обыска папиросы у надзирателей, познакомился со страшными Иванами — так назывались на тюремном языке отпетые уголовники-каторжане.

В эти месяцы он еще более, чем тогда, в полицейском участке, измерил силу потерянной свободы.

Первый побег удался ему довольно легко: он содержался на общих основаниях. Но уже в следующий раз — после поимки и нового суда, нового приговора — он был переведен в разряд опасных, режим для него сменился.

И все-таки он снова бежал!

За ним потянулась слава мстителя, врагами его сделались помещики — в имениях и на уездных дорогах. Совершая налеты и спасаясь от погонь, попадая под суд и убегая из разных мест заключения, он в одиночку мстил за тех, кто гнул спину на богатых и не каждый день ел досыта. Каждый раз о нем подробно сообщали падкие на запах крови, да еще с дымком пожара, газеты (уж он-то не даст репортерам погибнуть с голоду!). У него появился свой недобрый гений, кстати сделавший на нем хорошую карьеру,— участковый пристав Хаджи-Коли, тот самый, с жирной грудью и усами вразлет, приказавший в первый раз без разговоров отправить провинившегося управляющего вниз, в клоповник. (С приставом Хаджи-Коли, франтоватым усачом, судьба свяжет Котовского на многие годы, и развязка придет лишь зимой двадцатого года, при взятии Одессы. Но это будет после, после...)

Теперь Котовский не колотился в дверь, требуя справедливости. Он стал опытным, бывалым заключенным.

Проходили годы, и Григорий Иванович с недоумением вглядывался в свое прошлое, уже не представляя, что у него могла сложиться совсем иная судьба, судьба агронома, который терпеливо, так же как и отец-механик, тянулся бы всю жизнь, чтобы прокормить свое семейство и вырастить детей, вывести их в люди.

Жизнь его теперь напоминала легенду о подвигах гайдуков, о которых молдавский народ складывал печальные песни-дойны. Гайдуки в одиночку выступали против турецких и молдавских господарей, они отличались благородством в борьбе, всю свою добычу раздавали бедному народу, потому-то и казалось, что смелых и неуловимых удальцов укрывает сама земля.

Жизнь гайдука во многом зависит от удачи, и Григорий Иванович считал, что ему в общем-то везло. Пусть он попадался, но ни одна тюрьма не смогла продержать его весь срок приговора. Бесконечные побеги, дерзость и удаль на воле — все это сделало имя Котовского известным, даже знаменитым. (Правда, среди арестантов приходилось утверждать себя еще и кулаком, благо сила была, и немалая: подростком он как-то на спор поборол быка, свалил его за рога на землю.)

Постоянно заряженный на побег, Котовский доставлял массу хлопот администрации. Тюремный режим давным-давно обязан был сломить его здоровье — сгорали и не такие, как он! — но Котовский держался и не позволял себе одрябнуть и впасть в сонливую апатию. К пятнадцатиминутным прогулкам в тюремном дворе он добавлял усиленные занятия гимнастикой два раза в день, утром и вечером, по системе немца Мюллера, после чего обязательно обтирал свое богатырское тело холодной водой. Он был бледен, как и все, но мускулы его были тверды и готовы

к самой усиленной работе. Упрямый арестант словно издевался над царской системой лишения свободы и вел с ней многолетнюю непримиримую войну. «Побег все равно состоится!» — как бы предупреждал он своих обвешанных оружием сторожей и выжидал лишь удобной минуты.

Став «князем неволи», Котовский содержался чрезвычайно строго. В кишиневском тюремном замке его держали в камере на самом верху башни. Бежать оттуда считалось практически невозможным.

И все-таки он бежал! Не сразу, но бежал. По сравнению с тюремщиками заключенные обладают там преимуществом, что думают о побеге больше, нежели те — об улучшении охраны.

«...Возник вопрос,— писала по этому поводу газета «Одесские новости»,— как он мог выйти из своей одиночной камеры (в самой верхней башне), в которой окно защищено толстой решеткой, а у дверей неотлучно дежурил надзиратель... Затем, выйдя из камеры... он незамеченным добрался до чердака башни, откуда по веревке спустился с восемнадцатисаженной высоты во внутренний двор; отсюда в наружный двор он опять не мог пройти незамеченным мимо дежурившего надзирателя... но, однако, прошел. Достигнув внешнего двора, он приставил доску к забору — и был таков... Попутно мы узнали следующую удивительную историю, характеризующую энергию, решительность, неутомимость и изобретательность этого молодого преступника Котовского. Оказывается, что нашумевшая 4 мая попытка 17 человек во главе с Котовским к побегу из тюрьмы была только маленькою частью задуманного Котовским плана заарестования всей высшей и низшей тюремной администрации и открытия свободного выхода из тюрьмы всем узникам...»

*«Циркулярная телеграмма
Петербургского департамента полиции
жандармским офицерам на пограничных пунктах
и начальнику Одесского охранного отделения*

2 сентября 1906 г.

31 августа из Кишиневской тюрьмы бежал опасный политический преступник, балтский мещанин Григорий Иванов Котовский, 23 лет, роста два аршина, семи вершков, глаза карие, усы маленькие черные, может быть без бороды, под глазами маленькие темные пятна, физически очень развит, походка легкая, скорая, боязливая. Установите самое бдительное наблюдение за появлением бежавшего. В случае появления немедленно арестуйте и препроводите под усиленным конвоем в Кишиневскую тюрьму.

За директора *Харламов»*.

В Бессарабии стояла осень, ясная, сухая, золотая осень.

На этот раз налеты Котовского отличались особенной дерзостью. Везде, где побывала его лихая ватага, он оставлял хвастливые записки: «Атаман Адский».

Чтобы разнообразить свою жизнь зафлаженного волка, он стал бравировать опасностью, как никогда раньше. Появляясь в городе, открыто снимал самый шикарный номер в гостинице, подолгу просиживал на веранде ресторана «Робин», где бывал «весь Кишинев» (причем хозяин ресторана Туманов всякий раз льстиво приветствовал своего опасного гостя), посещал театры, церкви, выставки. Он словно сам лез в руки преследователей.

Сидя в партере театра, он расслышал сзади женский шепот и насторожился. Перешептывались, как видно, две приятельницы. Одна из них признала в сидевшем впереди господине («лопни глаза!») знаменитого Котовского. «Ты с ума сошла! Не дурак же он, чтобы соваться в театр». Про себя Григорий Иванович подумал: «А вот дурак и

есть. Самый настоящий!» Надо было немедленно уходить. Поднявшись из кресел, он по-барски скользнул взглядом вбок. Две остроглазые, жадные на зрелища дамочки так и ели его глазами... В другой раз, стоя в соборе и задумчиво уставившись на костер горевших свеч, он вдруг почувствовал чей-то упорный взгляд, скосил глаза — и сердце его прыгнуло: совсем рядом, в парадной праздничной форме, стоял пристав Хаджи-Коли, многолетний враг и преследователь, и, забыв о молитве, не сводил с него прицельного полицейского ока. Узнал!.. Все же Котовский не кинулся бежать, как сделал бы любой на его месте. С великолепным самообладанием он осенил себя крестом, слегка прикрыл зевок и стал неторопливо пробираться к выходу. Вот черт, какая встреча! Он же знал, что пристав набожен... Интересно, побежит он за ним, не побежит?.. Не побежал! Не поверил собственным глазам! Рассудил здраво, по-житейски: человеку, объявленному к розыску по всей России, было бы безумием являться в переполненный собор. Пристав считал, что Котовский после побега нашел укрытие в уездной глуши и лишь с наступлением темноты выходит на проезжие дороги. Не далее как два дня назад полиция получила очередное сообщение: помещика Атанасиу, ехавшего домой в имение, остановили несколько человек. «Я Котовский»,— сказал один из них. Этого было достаточно. Перепуганный помещик отдал все, что было при нем, в том числе и заряженный браунинг.

Выбравшись из собора, Григорий Иванович убедился, что опасности нет, и привычным жестом закрутил нахальные усики. Черт возьми, а ведь был в самых лапах! Конечно, пришлось бы отстреливаться, да толку-то? Сцапали бы за милую душу...

Неуловимость Котовского сильно подрывала престиж власти. На его поимку брошены огромные силы. Бессарабский губернатор объявил о большой награде за голову бунтовщика. На ноги поставлена вся полиция Южного края.

Пристав Хаджи-Коли потерял покой. Зная опасного преступника в лицо, изучив его характер и повадки, он стал как бы «специалистом по Котовскому». Каждый день от него требовали результатов, а он лишь разводил руками. Начальство нажимало. В бессильной ярости пристав грозился переломать беглецу ноги, изувечить его так, чтобы навсегда отбить у него охоту к побегам.

Полицейский сыск основывается на низменности человеческой натуры. Хаджи-Коли отыскал человека, соблазнившегося губернаторской наградой за голову Котовского. Действуя осторожно, без спешки, пристав нашел провокатора в боевом отряде, все же остальное было вопросом времени и полицейской техники. С помощью провокатора был установлен городской район, где появляется неуловимый предводитель отряда, затем на заметку попала улица — Гончарная, выходившая на Тиобашевскую; на Гончарной, 20, в доме счетчика вагонов станции Кишинев Михаила Романова, и скрывался Котовский.

Что ему в тот вечер сказало об опасности? Предчувствие? Но он в него не верил. И все же Григорий Иванович, дождавшись наступления темноты, вышел из дому. Рука в кармане пиджака не выпускала заряженный браунинг. Пройдя Гончарную, свернул на Тиобашевскую и здесь лицом к лицу столкнулся со своим старым знакомцем — приставом. На этот раз изумились оба. Хаджи-Коли был переодет рабочим, в кепочке, за ним шагало несколько человек, каждый из них держал правую руку в кармане. Замешательство длилось недолго. «Ла-ави!» — завопил пристав, широко раскрывая усатый рот. Ударив первого, кто бросился к нему, Котовский пригнулся и побежал. Путь был один — назад, в темноту Гончарной. Вслед ему загремели беспорядочные выстрелы.

Помогли ночь и обширные, разросшиеся огороды. Однако участь беглеца была решена. Дважды раненный в ногу, он потерял много крови. Следовало сейчас же ухо-

дить из города, но сил не осталось. Скрываясь в зарослях, он слышал голоса городовых и понимал, что Хаджи-Коли, опытная ищейка, его уже не выпустит. Что остается? Отстреливаться? У него был браунинг с двумя обоймами (тот, отобранный у помещика), но при первом же выстреле городовые изрешетят его из своих тяжелых «смитвессонов».

Утром Хаджи-Коли вызвал подмогу, началось прочесывание всего района. Спасения быть не могло...

Тем же вечером сообщение о поимке опасного преступника поступило в редакции газет. Власти торопились доказать, что они не даром едят казенный хлеб. В тюрьме Котовскому попался номер «Бессарабской жизни». Репортер довольно живописно поведал читателям о ночной стычке на углу Гончарной и Тиобашевской. Последние строчки отчета заставили Григория Ивановича помрачнеть. «Владелец квартиры М. Романов также арестован и содержится при втором полицейском участке. Романов будет привлечен к уголовной ответственности за укрывательство преступника».

У Михаила Романова была семья, дети... С его маленьким сынишкой Григорий Иванович подружился в первый же день (всю жизнь любил детей) и учил его тюремному искусству «играть на белендрясах» — гудеть, перебирая губы пальцами. Ольга Ивановна, хозяйка дома, испытала удивительную способность опасного жильца завоевывать сердца. Ее покорила непосредственность Котовского, его милая шутливость, его радость от дружбы с мальчиком и даже тихая зависть квартиранта к их семейным заботам, чего он, человек одинокий, был начисто лишен.

Сам Романов не был единомышленником Котовского. Все, чем тот занимался и чем был знаменит, он не ставил ни в грош. Налеты, грабежи богатеньких помещиков, даже раздачу награбленного беднякам Романов называл атаманством, чепухой. Подумаешь: отнял у одного и отдал

другому! Копеечная благотворительность, не более... Котовский, не умея вести споров, мгновенно взорвался. Атаманство? Чепуха? Но эта, с позволения сказать, чепуха поставила сейчас на ноги всю полицию (в душе Котовский гордился тем беспокойством, которое он доставлял властям). А посмотрели бы, как его встречают крестьяне! Да, пусть это благотворительность, называй как хочешь, но он хоть что-то сделал. Да если бы в каждой губернии объявился свой такой вот атаманствующий...

— Что? — быстро спросил Романов. — Все распределили бы по справедливости?

Язвительный вопрос хозяина осадил Котовского. Так перед неожиданной преградой на все четыре ноги оседает разогнавшийся горячий конь.

— Ну, все не все, но-о... но хоть что-то. Не сидеть же сложа руки...

Горячность Котовского забавляла железнодорожника. Больше того, она даже нравилась ему. Романов считал, что спорящего человека можно убедить, переуверить, хуже — с равнодушным. Равнодушных людей он не любил: такие существуют тупо, как бы прислушиваясь только к тому, что происходит в собственном желудке... Ольга Ивановна, не вникая, о чем спорят мужчины, видела, как молодое энергичное лицо Котовского выражает то презрение, то страсть и азарт.

Никто, наставительно говорил Романов, сложа руки не сидит (упрек Котовского задел его). Борьба идет, и давняя упорная борьба. И люди есть, смелые, выносливые люди. Может быть, они менее сильны, нежели Котовский, за ними нет погонь с перестрелками, но правительство, жандармерия ведут на них облавную охоту, выслеживают как самых опасных врагов. «Народовольцы, да?» — загорелся Котовский. Небольшое, но сплоченное братство отчаянных людей, объявивших смертный приговор самому царю, восхищало его. Все, что ему удалось сделать со сво-

им отрядом, не стоило одного разрыва бомбы, брошенной рукой народовольца. Вот эти люди занимались настоящим делом!.. К его изумлению, Романов и тут покривился. Котовский даже подскочил. Что, снова чепуха? Ничего себе, хорошенькая чепуха! Самого царя кокнуть — это чепуха? А министра? А губернатора?

— Вы что же — эсер? — поинтересовался Романов.

В запальчивости Котовский заявил:

— Может быть. Это мне все равно. Я с теми, кто действует. Понимаете — действует!

Он по-ястребиному смотрел на хозяина, худого человека, из которого железная дорога, казалось, высосала все соки, оставив лишь один костяк мастерового, необходимый для исполнения работы.

— Вы в шахматы, случаем, не играете? — неожиданно спросил тот.— Я это к тому, что только в шахматах потеря главной фигуры ведет к проигрышу. Да и то, знаете ли, не всегда!

Из дальнейшего разговора Григорий Иванович уяснил: спорить с Романовым бесполезно. Тот оставался в беспредельной уверенности: события в мире будут обязательно развиваться таким образом, что молодой знаменитый экспроприатор поймет — не сможет не понять! — свою главную ошибку в жизни. Бороться с самодержавием нужно, необходимо, но только не так, как это делал Котовский, о нет, совсем не так!

Расстались они тогда, едва не поругавшись. Собираясь уходить, Григорий Иванович с некоторым высокомерием заявил, что, покуда российского мужика вываришь, как это вроде бы требуется, в фабричном котле, покуда, как говорится, натянешь на него рабочую шкуру, покуда то да се... так ведь и жизнь пролетит. Нет, ждать он не намерен. Да и зачем? Вы там валяйте копошитесь — листовочки, типографии, прокламации,— а он-то знает, что того же Хаджи-Коли с его усатой толстой рожей, с битюгами городо-

выми надо не листовочкой хлестать, не прокламацией... Он меня, значит, кирпичом, а я его калачом!

Провожая гостя, Романов доверительно посоветовал ему быть осторожней. На его взгляд, Котовский уже достаточно насолил властям, и в первую очередь полиции. Что им стоит пристрелить его при аресте? Скажут — сопротивлялся. Или при попытке к бегству. И никто с них не спросит, все будет законно...

В тот вечер Котовский лишь пренебрежительно хмыкнул, но потом, когда оцепление прочесывало огороды и все громче слышались голоса городовых, он вспомнил совет Романова и с сожалением повертел в руках заряженный браунинг. Действительно, что в нем? Так, игрушка для гимназиста. Слабоват против целой оравы, не справиться...

На судебное заседание публика буквально ломилась. Бескорыстие знаменитого налетчика, не оставлявшего себе из добычи ни копейки, вызывало жадный интерес. Что это за грабитель такой? Председатель Кишиневского окружного суда распорядился пускать публику в зал по специальным билетам.

Адвокат Гродецкий, защищавший подсудимого, умело сворачивал к тому, чтобы придать процессу ярко политическую окраску. В своей речи он заявил:

— Когда один человек, неимущий, отнимает часть имущества у другого, имущего, то обыкновенно он это делает в личных интересах — для себя и только для себя. Это просто и понятно всем. Когда же образованный, сознательный человек, рискуя своей жизнью, отнимает часть богатства у имущего и раздает ее неимущим, такое необыкновенное явление, такой протест личности против несправедливого распределения богатств в обществе будит общество и привлекает к себе его внимание. Этот человек выходит из ряда обыкновенных, он думает не о личном эгоистическом

счастье, а о счастье других, о счастье всего общества. Тут уже есть что-то дерзновенное, героическое...

Председательствующий на суде несколько раз прерывал адвоката и в конце концов исключил его из заседания.

Газета «Бессарабская жизнь», сообщая о приговоре окружного суда, писала:

«...Котовский защищал себя лично и сначала старался открыть перед присяжными заседателями свои политические воззрения на общественный строй и угнетение низших слоев общества. Председательствующий остановил Котовского и просил говорить лишь по существу дела... Присяжные заседатели вынесли Котовскому обвинительный приговор, и суд приговорил его к каторжным работам на 12 лет по совокупности с прежними приговорами. Это последнее дело о Котовском, и он в скором времени, вероятно, будет отправлен к месту своей ссылки».

Первые два с половиной года он провел в николаевской каторжной тюрьме (так называемой образцовой).

Весь режим каторжного заключения в России был продуман с таким расчетом, чтобы отбить у осужденного охоту жить. И николаевская тюрьма исправно выполняла свое назначение. В ее мрачных одиночках погасла не одна светлая судьба.

От гибели или, что еще хуже, от сумасшествия Григорий Иванович спасался ежедневной гимнастикой и чтением.

Гимнастика, все те же восемнадцать упражнений немца Мюллера, не давали тюремщикам сломить не только его физическую силу, но и дух. Даже в карцере — сырой темный подвал, кандалы на голом теле, сон на холодном цементном полу, сухой хлеб без соли и несколько глотков воды в сутки,— даже там он не прекращал своих упражнений, и надзиратели, заглядывавшие в фортку, смотрели на него как на помешанного.

На прогулки заключенным отводилось пятнадцать минут в сутки. Часы висели в стеклянном шкафчике на заборе, и арестант сам видел, сколько он гуляет. Григорий Иванович, стараясь вымыть из легких гнилой воздух камеры, все отведенное время бегал по дорожке. На охранников он привык не обращать внимания.

Чтение арестантов составляли дозволенные начальством книги из тюремной библиотеки, большей частью духовные. Можно было спросить грамматику, синтаксис, кое-что из русской литературы. Из газет разрешались «Правительственный вестник» и «Русский инвалид». Тайно по рукам ходили и недозволенные книги (жандармы-ключники были из крестьян, по набору, и с ними договаривались). Котовский отдавался чтению с жадностью. Только здесь, в неволе, он сделал для себя удивительное открытие: оказывается, на белом свете существует такая свобода, которую не заковать ни в какое железо,— свобода думать.

Большое впечатление на него произвели сочинения крамольного князя Кропоткина «Записки революционера» и «Речи бунтовщика». В княжеских жилах текла голубая кровь наследников Рюрика, по знатности происхождения Кропоткины стояли выше царствующих Романовых. В бунтовщике князе Котовский как будто нашел единомышленника. Но — странное дело! — размышляя о том, к чему призывал Кропоткин — к полной экспроприации частной собственности и, так сказать, грабежу награбленного,— Григорий Иванович незаметно для самого себя стал испытывать чувство неудовлетворенности. Ну хорошо, он превратился в угрозу для помещиков, они вздрагивали при одном упоминании его имени. Но что он изменил если не в целом мире, то хотя бы в своем уезде? Отбирал деньги, ценности? Раздавал их, ничего не оставляя себе? Однако главная ценность помещиков — земля. А ее не поднимешь и не унесешь с собой. Выходит, надо что-то другое... (Пе-

ред последним арестом он узнал, что известие о расстреле рабочих у стен Зимнего дворца заставило Скоповского с семьей перебраться для безопасности в город, что богатый Фарамуш потихоньку скупил землю и нанял для охраны хутора черкесов, а Флорю арестовали приехавшие стражники за какие-то листовки. Времена переменились быстро,— теперь уж ни у кого из крестьян не осталось надежд, что добрый царь отберет всю землю у помещиков и распределит ее «по совести».)

После Николаева его перевели в Смоленск, затем в Орел. Он все время думал о побеге, готовился, ждал случая, но из этих тюрем еще никто не бегал, недаром за их крепкими стенами сидели «самые опасные преступники». Неужели придется отправиться в Сибирь, страшную тюрьму без стен и крыши, надежное, проверенное место, куда царское правительство засылало всех, от кого хотело избавиться бескровным способом? Убежать оттуда будет еще трудней.

За годы тюрем, побегов и погонь у Котовского выработался прищур сумрачных, тяжелых глаз, прищур постоянно настороженного человека. Правда, у него еще сохранились задорные усики — эх, однова живем! — но в ту пору их можно считать лишь данью прошлому, терявшемуся безвозвратно. Сощурившись, он теперь не переставал вглядываться во все, что происходило вокруг, и в нем, покамест еще незаметно для самого, совершалась большая, трудная, медленная, но безостановочная работа.

Глава восьмая

Над сырой раскисшей дорогой висел глухой звяк мокрых кандалов. Арестанты были скованы по рукам и ногам, а для надежности еще и с соседом.

В пару Котовскому достался невзрачный человечек, деликатный, легко краснеющий от любого пустяка, невы-

носимый заика. Григорий Иванович не поверил, узнав, что его напарник исполнял на воле тяжелые и опасные обязанности «верблюда» — так назывались у подпольщиков перевозчики нелегальной литературы из-за границы. На работе заику отличали поразительные находчивость и хладнокровие. Однажды он привез чемодан со шрифтом, и как-то получилось, что его никто не встретил на вокзале. Одетый изысканно, настоящим барином, он небрежно подозвал дежурного жандарма, и тот с готовностью дотащил тяжеленный чемодан до извозчика. У станционных шпиков находчивый «верблюд» не вызывал ни малейшего подозрения.

За плечами у заики было такое страшное место заключения, как Орловский каторжный централ (то-то сразу бросилось в глаза, как он обращался со своими кандалами: обычно опытного арестанта узнают по экономному звяку кандалов). Григорий Иванович провел в Орловском централе несколько месяцев и знал, какое это испытание для любого человека. Заключенных там нещадно били буквально за все: за то, что здоров, и за то, что болен, за то, что русский, и за то, что еврей, за то, что имеешь крест на шее, и за то, что креста нет.

В этапе заика имел знакомых и единомышленников, двое из них тащились через две пары впереди. Один — громадного роста и силы, по кличке Молотобоец, ему во время разгона маевки жандармы выбили глаз; другой — донельзя простуженный, в очках, замотанных суровой грязной ниткой, и с бородкой клинышком, его называли товарищем Павлом. Политические ничем не отличались от остальных: все одеты в серые суконные халаты и такие же бескозырки, лишь у одних на спине нашиты два желтых туза, а у других — один (два туза — знак отличия ссыльнокаторжных; одним тузом метились ссылаемые на поселение).

Присмотревшись, Григорий Иванович обнаружил, что товарищ Павел так сумел себя поставить, что его уважали

не только заключенные, но и конвойные, хотя ни в облике его, ни в поведении не было никакого окаянства. Видимо, товарищ Павел брал не силой, а чем-то иным...

Политические, попавшие в этап, были главным образом из рабочих Иваново-Вознесенска, Шуи и Орехово-Зуева. За последнее время судебные власти провели несколько крупных процессов. «За участие в сообществе, поставившем целью своей деятельности насильственное ниспровержение существующего в России общественного строя», за принадлежность к РСДРП все обвиняемые по 102-й статье уголовного кодекса получили по восемь лет каторжных работ, лишение всех прав и вечную ссылку в Сибирь.

Несколько человек были осуждены выездной сессией Московской судебной палаты за «принадлежность к организациям Московского окружного комитета РСДРП».

Революционный спад, наступивший в стране после бурных событий 1905 года, сильно разбавил обитателей российской каторги осужденными за политическую деятельность. В этапе, с которым двигался Котовский, находились бундовцы и анархисты, эсеры, большевики и меньшевики — люди не только разных убеждений, но и разной силы, воли, страсти и отваги. С самого начала Котовского привлекло, что эти заключенные в отличие от Иванов и прочих уголовников помельче не спорили о дележе добычи, не орали за картами, не толковали о водке и своих «марухах». На суде никто из них не ловчил, стараясь выгородиться и смягчить приговор, они объявляли о своей борьбе открыто, и в этом сквозило невыразимое презрение ко всем, кто стоял у власти. Даже совершив побег, попав на волю, они не торопились обжираться жизнью, а неизменно принимались за свое, за старое: — подкапывались под устои того, что звалось «престолом, верой и отечеством», причем каждый спешил сделать до очередного ареста как можно больше. В заключении политические держались дружно и с достоинством. У них считалось позором снимать перед

тюремщиками шапку, вскакивать, если в камеру входил кто-либо из начальства, подавать прошения о помиловании («подаванцы» исключались из общества). В то же время, действуя организованно, они добились права самостоятельно избирать старост, держать днем двери камер открытыми, носить свою одежду, выписывать книги, играть в шахматы, вести диспуты. Эти привилегии были буквально отвоеваны у тюремной администрации изнурительной многолетней борьбой. Политические действовали своим единственным оружием, против которого бессильна любая власть со всей охраной,— сплоченностью. Причем, если недостаточно бывало общей голодовки, заключенные не останавливались и перед самоубийством. Когда-то в Сибири, на Каре, протестуя против свирепости тюремщиков, несколько человек в один день и час покончили с собой. Об этом случае писала вся мировая печать.

К своему аресту, суду и приговору политические относились как к чему-то должному. Григорий Иванович обратил внимание, что у товарища Павла слезятся глаза, лицо стало прозрачным, с подозрительным румянцем на щеках,— по всем приметам, у него начинался туберкулез. Но старик оставался деятельным и бодрым.

В его разговорах с товарищами то и дело упоминалось имя Ленина. Товарищ Павел часто начинал так: «А знаете, что думает Владимир Ильич по поводу того-то и того-то?» В окружении товарища Павла несколько раз на дню можно было услышать: «Ленин пишет...», «Ленин считает...» На расспросы Котовского маленький заика, с трудом выговаривая слова, пояснил, что для большевиков авторитет вождя так высок, так высок — сравнить просто не с чем.

Одноглазый Молотобоец расспрашивал соседей о положении в организациях Москвы, настроениях рабочих, партийной работе в районах, о настроении интеллигенции, среди которой в то время усиливался разброд.

В беседах с кандальниками товарищ Павел уверял, что в мире, судя по всему, готовится большая война. Конечно, война принесет много бед, но она неизбежно обострит недовольство рабочих и крестьян и в конечном счете приведет к революции. Такова логика исторического развития.

На протяжении нескольких месяцев пути в Сибирь речь политических звучала неизменно бодро, часто раздавался смех, вызывая недовольство конвоя.

Удивительно, думал Котовский, чем тяжелее становилось на этапе, тем тверже эти люди верили, что лучшие времена не за горами. Голодные, больные, в железе по рукам и ногам, они жили большой, неистребимой надеждой.

Этап был долог, двигались медленно, с дневками и ночевками, и кругозор Котовского день ото дня расширялся. События 1905 года были лишь первым натиском великой бури. Подпольщики, о которых он когда-то пренебрежительно отзывался в споре с Михаилом Романовым, не страшились ни масштабов начатого дела, ни трудностей, ни расстояний. Убегая из тюрем и ссылки, они появлялись в крупных европейских городах, в Америке, Австралии, Японии, даже на экзотических Гавайских островах, и всюду с муравьиным упорством продолжали свою разрушительную, но в то же время и созидательную деятельность.

Мало-помалу он убеждался, что царское самодержавие имеет в их лице несокрушимого противника.

Молотобоец, когда им с Котовским выпадало идти рядом, рассказывал, что мальчишкой он две зимы учился в церковноприходской школе. Собственно, не учился, а чистил от снега дорожку к дому дьячка, бегал у дьячихи на посылках, подавал в алтарь просфиры с поминанием за упокой, таскал подсвечники, читал псалтырь над покойниками. В четырнадцать лет уехал на заработки в Москву, поступил на фабрику Цинделя. Фабричная казарма, водка, драки... Зимой на льду Москвы-реки устраивались «стенки»: Симонова слобода против Дангауэровки или же

деповские против фабричных. Но вот первые подпольные собрания за Калитниками, у забора Андроньевского монастыря. Появилась цель — сплотить рабочих, направить их силы не друг против друга, а против общего врага. Гвоздильный завод Гужона, нефтяной завод в Анненгофской роще, завод Бари за Симоновой слободой... Объединялось рабочее племя — люди, о которых Карл Маркс сказал, что им нечего терять, кроме своих цепей.

Молотобоец был участником знаменитой Обуховской обороны, семь месяцев просидел в одиночке, а затем был выслан в Якутскую губернию под гласный надзор полиции.

Среди осужденных царским судом на каторгу и ссылку были, к удивлению Котовского, не одни рабочие и крестьяне, бунтовать которым, как говорится, сам бог велел. Много было интеллигенции, даже дворян, людей вполне обеспеченных. Ему показали юношу, сына арендатора, выросшего в богатой семье, в собственном имении. Брел в кандалах учитель, отвесивший гневную пощечину самому министру просвещения Сабурову. Перешептывались о таинственном угрюмом арестанте, к которому в харьковскую тюрьму зачем-то поздно ночью приезжал генерал-губернатор.

Котовский считал, что Молотобойцу с приговором повезло: ссылка — не каторга. Но запротестовали сразу и Молотобоец, и заика. По их мнению, ссылка гораздо тяжелей, чем тюрьма и даже каторга. На каторге люди находятся в коллективе, и страдания, которые они переносят, объединяют их между собой. В ссылке же человек одинок, он лишен права на труд, ему запрещено выходить даже за околицу. Как правило, ссыльных загоняют в такие глухие углы, где еще не знают употребления колеса. Недаром среди ссыльных необычайно высок процент самоубийств и случаев душевного помешательства.

— Человек же не вяленая вобла! — сказал с досадой Молотобоец.— У него и душа, и мозги.

— Вяленая вобла...— усмехнулся Григорий Иванович, подтягивая ремень от ножных кандалов.— Щедрина цитируете?

Ему показалось, что Молотобоец и заика удивились, посмотрели на него с интересом.

— Чит-тали? — спросил заика.

— Приходилось,— уклончиво ответил Григорий Иванович, задетый тем, что товарищи по этапу удивлены его начитанностью.

Впоследствии он узнал, что Салтыков-Щедрин был любимым писателем политических. В этапе, споря между собой, обличая друг друга, они то и дело поминали «премудрого пескаря», «самоотверженного зайца», «карася-идеалиста» — полунамеки, вполне понятные Котовскому.

Поняв перемену в настроении Котовского, маленький заика сжал его руку. Григорий Иванович ничего не сказал, но на сердце у него потеплело. Через несколько минут он спросил:

— Но бежать из ссылки легче?

Заика и Молотобоец переглянулись. Да, это, пожалуй, единственное, что говорит в пользу ссылки: бежать оттуда все-таки проще, чем с каторги.

В семидесяти шести верстах от Иркутска находится Александровский централ — зловещие ворота сибирской каторги.

После Красноярска в этапе стали поговаривать о том, что́ ждет в Сибири. Рассказывали, что после 1905 года каторжное начальство злобствует без меры. Грозное оружие заключенных — коллективизм — оказалось сломанным. Любая попытка организовать голодовку обречена на провал. Наступил праздник реакции.

Смутно говорили о порядках в самом Александровске. Начальство будто бы до сих пор не могло забыть, как в

1902 году здесь восстали каторжные, выкинули охрану, забаррикадировались и держали осаду, покуда перепуганная администрация не удовлетворила все требования заключенных.

Незадолго до Александровска этап зашептался горячо и взволнованно. Обсуждалась свежая новость: в Зерентуе покончил с собой Егор Созонов, эсер, отбывавший каторгу за участие в убийстве Плеве (убийство царского министра было организовано неуловимым Борисом Савинковым; сам Савинков ареста избежал, Созонов же был схвачен и судим). Егор Созонов покончил с собой демонстративно, требуя убрать озлобленного начальника каторги. О самоубийстве удалось сообщить на волю, и власти испугались.

На испуге властей вообще построена вся система борьбы заключенных за свои права. Дело в том, что тюрьма сама по себе является свидетельством слабости и страха, недаром ее, как некое отхожее место, стараются запихнуть куда-нибудь на окраину, от глаз подальше. И вдруг мир узнает не только о тюрьме, но бунте в ней! Газеты, шум... У высокого начальства недовольно кривятся губы,— неприличную историю обычно из дома не выносят. Гримасы высокого начальства больно отзываются на низшем: там начинаются перебои сердца, дрожание ног. Жизнь портится. Поэтому до бунта никакое начальство обычно заключенных не доводит.

Так получилось и в Зерентуе: прежнего зверя начальника сменили.

Чувствовалось издали, какой неспокойной, напряженной была обстановка на всей сибирской каторге. Недаром сюда отправлялись только те, кто получал по приговору более восьми лет. Остальные отбывали наказание в тюрьмах Центральной России,— в Сибири и без них полным-полно.

Перед Александровском подтянулся и забегал конвой.

— Ногу, ногу держать как надо! — покрикивал старший.— Без разговоров! Соблюдай расстояние на одну про-

тянутую ногу. Пара от пары на три шага... Соблюдай порядочек, иначе драться буду. Без разговоров!

Стояла ростепель. Из тайги наваливались густые туманы, снег в полях осел. Тяжелые «коты», арестантские ботинки, промокли насквозь. Конвой не разрешал обходить лужи.

Узкой серой лентой, по двое, измученный этап стал втягиваться в распахнутые деревянные ворота. На обширном дворе кучками стояли каторжные, выискивая среди новичков знакомые лица.

Этап встречал начальник централа Хабалов — ноги врозь, голова набычена, руки за спину.

Движение вдруг замедлилось, раздались недовольные голоса:

— Что там? Чего их черти мают?

— Эй, чего стали?

Все сильнее напирали задние.

— Бьют кого-то...

Наконец от одного к другому передалось приказание: за три шага до начальника централа каждый обязан сдернуть головной убор.

— Ого! Порядочки...

— В-воз-змут-ти-ти...— задергался низенький сосед Котовского и с вызовом выпрямился, плотнее натянул бескозырку.

Опять зашевелились, тронулись.

— Эй, очки! — расслышал Григорий Иванович грозный окрик надзирателя.— Эй, кому говорят?

Товарищ Павел, поддерживаемый Молотобойцем, проковылял мимо начальника централа и не притронулся к головному арестантскому убору.

У Хабалова налились сырые, непропеченные щеки.

Подскочив к строю, надзиратель развернулся и ударил строптивого арестанта в ухо. Бескозырка и очки товарища Павла полетели в грязь.

Передние ряды в этапе оглянулись, стали останавливаться. Порядок снова сломался.

— По местам! — заорал Хабалов и, смяв погон на плече, выбросил вверх толстенький кулак.— Заморожу, как омуля!

Изготовились надзиратели, конвой.

Маленький заика задиристо ловил на себе взгляд Хабалова, но глаза начальника централа сверлили Котовского, выделявшегося из толпы массивностью открытой шеи и шириной плеч: снимет он шапку, не снимет? Котовский дерзко выдержал взгляд. На него, как иногда бывало, «накатило»: бешено округлились глаза, окаменели скулы. В таком состоянии он был готов на самый безрассудный поступок. На, бей меня, режь меня! Ну?

Надзиратели затаились, ждали приказания. Хабалов, посапывая, промолчал. Опытный тюремщик, он знал, на что способны люди, пусть и закованные, но живущие на грани отчаяния. Сейчас любой неосторожный поступок мог возмутить этап.

Но Котовского он мстительно запомнил, не забыл и «очкарика», которого на глазах всего этапа ударил надзиратель. Вечером того же дня он распорядился отправить обоих в карцер.

Помня, что перед бешеным плечистым арестантом спасовал сам начальник централа, надзиратели предусмотрительно явились гурьбой. Мало ли что может выкинуть? Отпетая голова.

Сидеть Котовскому довелось в самых разных тюрьмах. В одних режим был чуточку слабее, в других — строже, в одних среди надзирателей можно было найти человека, через которого связывались с волей, в других — не смей и заговорить. (И совсем как анекдот ходил среди заключенных рассказ об одном чудаковатом начальнике тюрьмы, кажется в Вильно, который, входя в любую камеру, вежливо снимал фуражку.) Но карцеры везде были одинако-

вы — везде подвальные каменные мешки с сырыми стенами и полом.

Чтобы согреться, Григорий Иванович привычно напирал на гимнастику. Кроме того, переносить томительное заключение в каменном мешке помогала маленькая хитрость, нащупанная им еще в первый арест: он заранее настраивал себя на отсидку гораздо дольше положенного срока (скажем, вместо назначенных пяти дней настраивался на все десять), поэтому освобождение всякий раз принималось им как подарок судьбы и он встречал надзирателей с таким просветленным лицом, словно гнилой карцер не имел над ним никакой силы. Конечно, детская уловка, но помогала...

В первые минуты, когда надзиратели толпой проводили их с товарищем Павлом вниз и, заперев, оставили вдвоем, Григорий Иванович не замечал, что обнаженное железо браслетов натирает лодыжки (у наказанных карцером, как правило, отбираются подкандальники и оковы остаются на голом теле). Бешенство его не проходило. Кажется, было бы легче, ударь его Хабалов или надзиратель. О, уж он бы не посмотрел ни на конвой, ни на надзирателей. Разумеется, его измолотили бы до полусмерти (а тюремщики умеют бить, и бьют тяжелыми, подкованными сапогами), зато на душе как-никак чище: и я с вами, собаками, тоже не церемонился! А сейчас гнев распирал грудь, требовал выхода.

Гремя цепью, он мотался по каменному закутку — три шага туда, три шага назад — и с неприязнью поглядывал на своего невольного напарника по заключению. В дороге он привык относиться к товарищу Павлу с уважением, почитая его за ученость и твердость характера. Сейчас от уважения не осталось и следа. Почему он стерпел удар надзирателя? Да и остальные... Они чего смотрели?

Товарищ Павел, едва вошел, опустился у стены на корточки и принялся перевязывать ниткой сломанные очки.

Котовский фыркнул в усики и зашагал усиленней: видать, не впервой получать в ухо. Борцы! Революционеры! Ну уж нет, он бы не стерпел...

Закончив починку очков, товарищ Павел спрятал их в карман арестантского халата и стал обматывать тряпочкой браслеты кандалов. Котовский все ходил и фыркал. Товарищ Павел его словно не слышал, не замечал. Вот он управился и с обмоткой браслетов, зевнул, передернулся от озноба и, дождавшись, когда Котовский утихомирился и сел к стене, тоже заходил, горбясь, засунув руки в рукава.

Из них двоих еще никто не сказал друг другу ни слова.

Котовский задрал штанину и, разглядывая растертую в кровь ногу, поцокал языком. Товарищ Павел остановился.

— Ай-ай-ай...— сочувственно пропел он, поматывая своей косой бородкой.— Надо же!

Он ловко отодрал от изнанки халата клок мягкой изношенной тряпки, присел и взялся за проклятый безжалостный браслет, стараясь не задевать свежую рану. Просовывая тряпочку между железом и телом, он отпихивал мешающие ему руки Котовского.

— Да я сам... Чего вы? — бормотал Григорий Иванович.

— За это маленьких ругают, а вы...— приговаривал товарищ Павел, и от его стариковского ворчания гнев Котовского совсем сошел на нет, он остро почувствовал боль в израненной ноге. Кажется, в самом деле погорячился. И чего, спрашивается, разбегался?

Наблюдая за умелыми руками товарища Павла, Котовский понял, что перед ним тоже опытный заключенный. Выяснилось, кстати, что старик сиживал и в Смоленске, и в Орле, но вот в Николаеве, в тамошней так называемой образцовой тюрьме, побывать ему не довелось.

И все же затрещина надзирателя не выходила у Котовского из ума.

— Что же,— неожиданно спросил товарищ Павел,— если бы он тронул вас, не стерпели бы?

В голову опять ударила кровь, окаменели ноздри: как наяву представил он пьяное мурло Хабалова, наглый, безбоязненный замах его руки...

— Уб-б-бил бы! Г-горло вырвал! — У Котовского запрыгала челюсть, он стиснул зубы, прикрыл потемневшие глаза.— Ненавижу!..

Усики на побледневшем мучнистом лице казались наклеенными. Товарищ Павел только головой покачал. Видимо, и страшен же человек в гневе!

— Ах, молодые люди, молодые люди... Погляжу я на вас, Григорий Иванович... Какая в вас силища пропадает, а? Уму непостижимо. Ну чего ты кипишь попусту? Чего?

— Не могу! — Гнев снова поднял его на ноги.— Терпения нет.

Снизу вверх товарищ Павел посмотрел на него с едва заметной усмешкой:

— А ты копи. Подкапливай помаленьку. Потом пригодится.

— Накопил уже... во! Через край хлещет!

Расхаживая по каменному закутку, Григорий Иванович бренчал железом и говорил горячо, сбивчиво, безостановочно. Копить и ждать... Говорили ему об этом, советовали. Но он не может, не в состоянии. Ведь жизнь же уходит! Чего ждать? Чего дождешься? Он признался, что не верит, будто в самое ближайшее время удастся свалить такую махину, каким ему представлялось российское самодержавие. Он видел перед собой огромную силу, подпираемую армией, жандармерией, полицией, всей государственной системой угнетения и подавления. А кто за нами, то есть против тех, кто в столицах, на самом верху? Да, верно, злых в стране полно. Но уж больно сильны те... Говорил он с Молотобойцем, тот спит и видит организацию рабочих. Однако почему именно рабочих? В свое время он

наблюдал за рабочими на заводе князя Манук-бея. Это, конечно, не крестьяне: ничего своего, только руки да тряпка, чтобы отгородиться в углу казармы от соседей. А между прочим, сказал он, в том же 1905 году крестьяне показали себя как будто поактивнее. Рабочие бастовали, баловались листовками и прокламациями, а крестьяне взялись как надо — за топоры, за вилы, пустили по усадьбам «красного петуха». Черт возьми, может, все же прав князь Кропоткин: уж лучше теребить помещиков в усадьбах, грабить, как он пишет, награбленное?

Товарищ Павел слушал терпеливо, не перебивал и копошился у себя в ногах, что-то там перематывал, подвязывал.

— Башка у тебя, Гриша,— хоть из ведра в нее лей,— признал он наконец, когда Котовский выговорился и умолк.— Но пихаешь ты в нее, прости меня, будто свинья по огороду идет: что подвернулось, то и давай. Какой дурак подсунул тебе писания князя? Ах, сам раздобыл! Да еще, наверно, таился, прятал, заглядывал украдкой? Поди-ка, «Речей бунтовщика» начитался? Ну сознайся же!

Он залюбовался смущением богатыря в оковах, в распахнутом на груди халате.

— Я не эсер, не думайте,— Григорий Иванович загородился ладонью.— Но признайтесь, что в тактике они ушли намного дальше всех.

— Еруслан ты, как я погляжу,— с тихим укором сказал товарищ Павел.— И как тебя до сих пор не пришибли — ума не приложу.

Вот, вот, то же самое говорил ему и Михаил Романов...

К двери подошел и заглянул в «глазок» надзиратель, пригрозил «доложиться кому следовает». Пришлось затихнуть на минуту, на две.

Нет, не соперник был Котовский старику в словесном бое. Товарищ Павел даже не спорил с молодым и несдер-

жанным соседом. Тоном человека, вынужденного объяснять прописные истины, он стал втолковывать: ведь сам же говорил, что самодержавие — это целая система угнетения, довольно продуманная и сильная. Так разве не глупо бороться с системой в одиночку? Это же все равно что ложкой вычерпать море! Против системы выстоит только система, сильная организация. Всякая другая борьба заранее обречена на неудачу. «Ты похвалил тактику эсеров... Мальчишество! Слепота!» Для настоящей революционной работы мало желания и преданности, готовности умереть, важней всего организованность и дисциплина. А террор, борьба одиночек — это от отчаяния. Еще Виктор Гюго остроумно заметил, что террор так же ускорит приход революции, как можно ускорить течение времени, подталкивая стрелки часов. Революция — это борьба масс, а не одиночек. Мы не в террор верим, а в другую силу — в рабочую организованность. Один в поле не воин. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — вот лозунг, который приведет к победе. Все иные пути, они, по существу, выгодны тем, кто наверху, ибо позволяют им разбивать своих противников поодиночке. Так что все эти княжеские призывы к грабежу награбленного, весь героизм даже таких выдающихся людей, как Халтурин, Желябов... Нет, нет, он признает, что «Народная воля» собрала редкостных, удивительных людей. Но разве не досадно разменивать таких людей на каких-то там царей? Ведь русские самодержцы, за очень редким исключением, бездарнейшие люди. Так стóят ли они подобных жертв? Это, простите, все равно что хрустальной вазой забивать вульгарный ржавый гвоздь. Да вот, кстати, последний пример, совсем свежий — Егор Созонов... Уж человек-то был! А на что потратил себя? Ну, убили Плеве. Так другой же пришел! Другой!..

— Не пойму я,— вызывающе сощурился Котовский,— вы что же, крови боитесь? Собираетесь делать революцию чистенькими руками?

Товарищ Павел осекся, щеки его покрыл гневный румянец.

Он спросил, представляет ли себе Котовский айсберг. Так вот, тонны этой ледяной громады спрятаны под водой, не видны сверху. Но время, солнце, теплая вода понемногу подтачивают основание айсберга, и в один момент привычный центр тяжести смещается и глазам свидетелей открывается ужасающая картина. Грохот льда, шум воды, гигантские волны, вихри... То же самое произойдет и в России, когда весь ее вековой дремучий уклад перевернется вверх дном. Вместе со скрипом колеса истории раздастся и хруст костей.

— И мы это понимаем, прекрасно понимаем! — заверил он своего молодого собеседника.

Григорий Иванович задумался. Но не получается ли, спросил он немного погодя, что большевики (к этому времени слово это было ему уже хорошо известно) напрочь отрицают такие понятия, как, скажем, самопожертвование, героизм? Конечно, он понимает, что тут не игра в шахматы и потеря фигуры значит очень мало (Григорий Иванович вспомнил Романова), но ведь и отдельный человек не просто пешка. Верно? Организация организацией, система системой, а на такое, как Егор Созонов, хватит духу не у всякого. Уж он-то знает!

— А... Героизм ваш...— махнул рукой товарищ Павел.— Будь ты членом партии, я запретил бы тебе заниматься ерундой, потребовал бы дисциплины.

Самопожертвования он не отрицал, совсем нет. Но если уж человек решил пожертвовать собой, то только так, чтобы своей смертью нанести врагу жестокий удар. А иначе умирать не стоило.

— Так, а Егор?

— О, Егор...— Товарищ Павел вконец расстроился.

Нелепая судьба Егора Созонова не давала ему покоя еще на этапе. Так глупо кончить жизнь!.. Но дело тут

было, видимо, вот в чем. Поразмыслив, он пришел к убеждению, что Егор поступил так от отчаяния. Да, да, именно... Человек цельный и гордый, посвятивший всю свою жизнь борьбе, он в конце концов понял, что время одиночек прошло, что все усилия таких, как он, неизбежно ведут к краху. Что ему оставалось делать? Выкинуть белый флаг? Признаться перед всеми в пустоте своих многолетних усилий? Нет, не такой он человек. И он умер так же, как и жил,— в одиночку, но избрал себе смерть на миру. Сыграл в последний раз, под занавес.

— Героизм, Гриша, в моем... в нашем понимании, настоящий героизм, а не на публику,— это если ты делаешь то, что необходимо. Пусть этого пока не видно, тебя не замечают, но все равно твоя работа... это... ну, как бы тебе попонятней-то сказать... это вроде посева, понимаешь? Вроде зерен, которые обязательно взойдут, если даже тебя уже не будет в живых.

— Чего ж не понять? — Котовский пожал плечами.— Я агроном. Но думать, как вы говорите, о всходах, то есть о том, что будет только после нас,— значит всего лишь унавоживать собою почву для других. Так ведь получается!

— А тебе,— рассердился товарищ Павел,— надо, чтобы тебя узнавали, писали о тебе в газетах, тыкали в тебя пальцем? Смотрите, мол, вот он, герой наш!

Ну, герой не герой, а греха таить нечего: газеты он просматривать любил. Сидишь на веранде ресторана, читаешь, что про тебя наверчено, и думаешь: вот изумились бы все вокруг, подымись ты и объяви во всеуслышание... Да и озорные записки атамана Адского... Возразить на этот раз было нечего, и он почувствовал себя перед насмешливым и умным стариком как бы раздетым и обысканным до глубины.

«Интересно, насчет газет он специально подпустил или к слову получилось? Ядовитый дед, чертяка...»

Окончательно добил его старик своей биографией.

В поведении Котовского всегда проскакивало некое любование тем, что пришлось ему испытать, несмотря на молодость. Иному человеку хватило бы на всю жизнь и десятой доли того, что выпало ему. Но вот к исходу четвертых суток в карцере товарищ Павел, окончательно продрогнув, вдруг заговорил о невыносимой духоте Гавайских островов. Григорий Иванович даже подскочил от изумления: как, неужели?.. Нет, это походило на какой-то бред. Подумать только, одно название чего стоило!

Сын николаевского солдата и прачки, товарищ Павел в тринадцать лет сбежал от отцовских побоев и, научившись паять, рубить и пилить, кочевал по московским заводам. Однажды сосед сунул ему брошюру, отпечатанную на гектографе. Навсегда запомнились слова: «Один ест за сто человек, а другой голодает». Связался с кружками. Первый арест, освобождение, снова арест. Больше года просидел в Таганке. Был много бит, один раз собственной рукой его превосходительства господина Зубатова. В тюрьму пришел с черными кудрями, вышел полуседым... Потом ссылка, побег, арест, год «предварилки». На этот раз вышел совсем седым.

Дальше работал на Урале. Сунув в карман кусок хлеба, по неделям объезжал заводы Пермской губернии, проводил по ночам собрания рабочих и членов партии. В пути заболел, вынужден был зайти в деревню. Там его выдали. Тюрьма, суд, каторжные работы. Бежал в Шанхай. Работал кули. Из Китая уехал в Австралию, принимал участие в рабочем движении. Стал пробиваться ближе к России, спрятался в трюме парохода. Когда после недели качки и темноты он вылез наверх, перед ним возникли Гавайи, всплывающие из вод Тихого океана. Он был потрясен их красотой. Но на островах, на сахарных плантациях, он увидел худые, ссутулившиеся спины туземцев, их жалкие лачуги из пальмовых листьев, детишек, копающихся в от-

бросах, самодовольных американцев, чувствующих себя здесь безграничными властителями. Заработав денег на дорогу, он отправился в Соединенные Штаты. Бедствовал страшно. Работал на самых тяжелых работах, заболел туберкулезом.

На роду ему было написано посидеть еще и во французских тюрьмах...

Вслушиваясь в глуховатый голос старика, Григорий Иванович подавленно молчал. Какая, черт возьми, судьба, какая жизнь! Бывают биографии, но эта... Ничтожным показался он сам себе со своей уездной, местечковой славой. Атаман Адский... Со стыда бы сгорел!

Покашливая, товарищ Павел признался, что ненужным озорством грешил и он. Следишь-следишь за собой, а потом возьмешь да и сорвешься.

А дело было так. Одно время он скрывался на Волге, в приволжских городах. В Саратове довелось принять участие в выпуске первого номера марксистского журнала «Саратовский рабочий». В жандармских кругах, естественно, поднялся переполох. Полковник Иванов, глава местного управления, рвал и метал. Начались аресты. Надо же было случиться, что в руки жандармов попали товарищи, причастные к выпуску журнала! Следовало поспешить с выпуском второго номера, чтобы доказать жандармам: подлинная редакция журнала — на свободе. Через несколько дней второй номер удалось отпечатать.

Конечно, к полковнику Иванову журнал попал бы своим путем, но захотелось подшутить. Товарищ Павел сделал дарственную надпись от имени почитателей жандармских талантов полковника Иванова, надписал на конверте: «Здесь. Жандармское управление» — и опустил пакет в почтовый ящик.

Мальчишество, конечно; за такие выходки следует драть ремнем. Но что было, то было. Прав Салтыков-Щедрин: когда у воблы вычистили внутренности и повесили

ее на веревочке на солнце, когда голова ее подсохла, а мозг выветрился, она с удовлетворением сказала: «Как хорошо! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести...» Бедная вяленая вобла! В конце концов, боец и с недостатками все же боец, а муха без недостатков всего лишь безупречная муха.

Вот уже неделя, как они в каменном мешке.

Григорий Иванович видел, что холод, сырость, скудная еда подтачивают силы товарища Павла. Карцер с его жестоким режимом валил людей и не с таким здоровьем.

Старик стал кашлять, хвататься за грудь.

— Вот привязался! — приговаривал он каждый раз, когда приступ проходил.

Котовский стискивал зубы. Если бы он мог поделиться с ним хоть каплей своего здоровья!

Старик стал меньше ходить, больше сидел, запахнувшись в халат. С Котовским они пристраивались спина к спине, так было теплее, и Григорий Иванович, разогретый ходьбой и упражнениями, с жалостью ощущал немощную плоть больного — одни остренькие, дугою выгнутые позвонки.

Заметив, что товарищ Павел оживляется в разговоре, Котовский старался разговорить его, не дать ему закостенеть в молчании, с уставленными в одну точку глазами. Хуже приходилось по ночам. Котовский просыпался от звуков сдавленного кашля, слышал, как возится и что-то шепчет сосед. Он понимал: товарищ Павел мучается в одиночестве, притворялся, что у него тоже бессонница, и рассказывал ему смешные истории и смеялся сам, хотя смеяться ему не хотелось, как не хотелось и рассказывать.

Однажды он спросил о Ленине. Старик сразу оживился, поднялся и сел, обхватив колени. Товарищ Павел знал Ленина лично, встречался с ним за границей. На его

взгляд, авторитет и обаяние большевистского вождя особенно возросли после победы реакции, когда рабочее движение раздиралось множеством партий и групп («точно князьки на древней Руси»). А вообще отношение к Ленину в партийной среде установилось как к товарищу в лучшем смысле этого слова, как к близкому, родному человеку, «нашему Ильичу».

«Нашему...» Знал бы старик, какой отчужденностью веяло на Котовского, когда он слышал: мы, нас, наше дело! Сам он таких слов не употреблял (не привык) и сейчас с особенной остротой чувствовал, что оказался сбоку, в стороне от большого дела, в совершенном одиночестве.

— Чего-то я, видимо, не понимаю,— признался он товарищу Павлу.— Копать, как вы говорите, подкапываться... Ждать, когда айсберг перевернется... Как будто жить человеку тысячу лет. Жизни же не хватит, чтобы дождаться! И без того молодость, считай, уже прошла.

— Ах, атаман ты Адский! — покряхтел товарищ Павел.

Время ожидания, которого так страшится Котовский, по его словам, уже позади. Давно позади! Ведь века, не десятилетия, а именно века российское самодержавие вело непримиримую войну со своими подданными. Да, да, и Пугачев, и Разин, и декабристы... Но это, так сказать, открытая, объявленная война. А необъявленная? Ведь воевать — не обязательно стрелять! И такая война идет, она не затихала и не затихает, несмотря на всю жестокость власти. В этой войне случались отливы и приливы, успехи и провалы. Мы, признавал товарищ Павел, несли и несем огромные потери: посаженные в казематы, замученные, казненные, убитые при погромах. Но мы не прекращаем наступления, а войну выигрывает, как известно, наступающий. Казалось бы, парадокс, но вот что примечательно: чем больше наши потери, тем сильнее прилив к нам желающих пойти в бой. О, это лишь кажется, что после

девятьсот пятого года самодержавие укрепилось и стало на ноги! Обман! Оно добилось всего лишь передышки. И скоро, скоро грянет. Теперь уж скоро. Это будет такой гром, такая битва — страшная и великолепная!

Но армия, армия! Котовский хватался за свой последний аргумент. Как управиться с армией? Ему не верилось, что серошинельный бессловесный монолит, муштрованный веками покорно умирать за «вер-отечество», скованный уставом и угрозой немедленной расправы за малейшее непослушание, может тоже взяться вдруг разводами и трещинами.

С бряканьем цепей товарищ Павел вскочил на ноги, вздел над головой скованные руки.

— Черт возьми, как я ненавижу эту слепоту! Даже они... они сами понимают, что конец близок. Думаешь, отчего они так свирепствуют? Каторга, виселицы, расстрелы... Не так сказал, не туда ступил... От бессилия, от отчаяния. Им больше ничего не остается. И вот даже они это понимают, а тебя, дубину этакую, приходится уговаривать. Мне осталось жить немного, я знаю, но если бы я мог, я бы заорал во весь остаток своих легких: да разуйте же вы свои глаза! Неужели вы совсем ослепли? Ведь все же лезет и шатается. Все! И армия. Роты и полки...

Всплеск этот отнял у него последние силы. Товарищ Павел, вздрагивая, улегся на пол, вытянулся и затих. Иногда по его телу пробегала судорога, тогда он вздыхал и морщился. Котовский, подавленный, пристыженный, молчал. В душе его была сумятица. Приговоренные к бессрочной каторге, без всякой надежды дождаться окончания ее, эти люди верили, будто еще немного — и оттуда, из-за Уральского хребта, прорвется и заблещет долгожданный луч свободы. Ему казалось, что они умеют глядеть куда-то вдаль, поверх всего, что происходит под ногами. Да что же, черт побери, открывалось их глазам там, в далеком далеке? И что у них за зрение такое?

— А что нужно, чтобы сделаться революционером? Настоящим!

— Голова и ноги,— рассмеялся товарищ Павел.— Хорошие ноги!

— Да ну вас...— вспыхнул Котовский.— Я серьезно спрашиваю.

— Ах, Гриша, Гриша... Завидую я тебе, если честно говорить. Сколько у тебя еще всего впереди... Не торопись,— добавил он.— Потом поговорим.

Глава девятая

Он почувствовал на себе чей-то взгляд и моментально проснулся, но не дернулся, не вскочил, а лишь настороженно, по-звериному открыл один глаз. Над ним наклонился товарищ Павел.

— Фу ты! — вздрогнул старик.— Вечно напугаешь...

Оказывается, за ним пришли, и он хотел проститься.

— Увидимся,— кивнул он вяло, подобрал цепи и обессиленно побрел, зазвякал вдаль по коридору.

В карцер вошел Хабалов, как всегда вполпьяна, усы и щеки вниз, руки за спину. Из-под надвинутой фуражки свисал багровый затылок. Посапывая, он с головы до ног оглядел Котовского, точно желая оценить, как действует наказание. Богатырский вид арестанта раздражал его. Григорий Иванович уловил густой чесночный дух и догадался, что начальник централа боится цинги и лечится испытанным сибирским способом — водкой с чесноком.

— Смотри у меня,— пригрозил Хабалов и весомо показал кулак.— Заморожу, как омуля.

Это была его всегдашняя угроза.

В первые дни, оставшись один, Григорий Иванович находился под впечатлением того, что узнал от своего напарника по карцеру. И все же он хорошо помнил, как понесло

порохом и кровью в девятьсот пятом году. Страна закипела от края до края. Но точно ли, что тон всему задавал именно город с его заводами и фабриками? Ведь что ни толкуй, а если разобраться, сколько их там наберется, фабричных и заводских? Горстка... Котовскому казалось, что здоровое семя народного возмущения всегда было заложено в уездной России, не в городской. В пользу этого говорило такое, пришедшее уже сейчас, на прохладную голову, соображение: в уездах было неспокойно давно, еще задолго до городских волнений, не утихомирилось и потом, после взлета и упадка в городах. Да и история, история, если оглянуться: Пугачев, Разин...

Интересно, что́ именно на это возразит товарищ Павел? А мысль, казалось, сформировалась дельная.

Его выпустили в солнечный весенний день. В лицо пахнуло теплом, воздух был душист и влажен. В первую минуту показалось, что на ногах не устоять, и он прислонился к стене. Все же карцер сказывался. Он обмяк, на руке можно свободно защипнуть и оттянуть кожу. Ну ничего, не в первый раз, поправимся...

Что же должен чувствовать товарищ Павел? Кстати, где он? Надо искать.

Во дворе централа, на припеке у стены, где земля подсохла, группами валялись арестанты. Сибирь, если присмотреться, не казалась такой страшной, и от одного этого становилось легче: везде, оказывается, солнышко, весна и зелень, всюду можно жить.

Люди, намаявшись за зиму и долгую дорогу, радовались:

— Мама родная, солнце-то как нажаривает!

— Ай, погода! Ай, благодать!

— Природа — одно слово...

Котовский обошел весь двор и не нашел товарища Пав-

ла. В одном месте уголовные толпились гогочущей кучей, по очереди приникали к дырке в заборе: за высокой деревянной стеной находилась женская тюрьма.

В углу двора в кружке солидно беседующих людей он узнал Молотобойца и заику. Заика приветливо закивал ему. Молотобоец рассказал, что товарищ Павел снова угодил в карцер: не поднялся с нар, когда в камеру вошел Хабалов. Только день и полежал старик на солнышке...

Дни напролет заключенные проводили во дворе, на вольном воздухе, в камеры запирались на ночь. Григорий Иванович с интересом слушал нескончаемые перепалки политических. Он обнаружил, что и эти люди, при всей казавшейся со стороны сплоченности, совсем не так дружны между собой, больше того — грызутся насмерть. Словесные распри — настоящие сражения — продолжались в камерах.

Внимание Котовского привлекал Мулявин, рыхлый человек в старомодном захватанном пенсне. В свое время Мулявин считался знаменитостью, имя его знала каждая курсистка. Рассказывали, что к нему с уважением относился сам Егор Созонов... Долгая жизнь в эмиграции отдалила Мулявина от российских дел. Он оставался человеком далекого прошлого, когда революционным считался любой призыв к бунту. Попав в Россию (Мулявин был арестован в Пруссии и выдан царскому правительству), за время ожидания суда и уже здесь, на каторге, он жадно впитывал все, от чего был так долго отрешен в своем эмигрантском далеке. Сложность обстановки, когда необходимо было не только уцелеть, но и сохранить прежнюю решимость и ясность цели, путала старика, порой пугала, и ему становилось легко лишь на «ногах своей молодости», когда неслыханная дерзость кровавых слов заставляла чаще биться молодые сердца и поднимала имена глашатаев на высоту обожания, преклонения. Угрюмый Молотобоец в минуту запальчивости назвал речения Мулявина «словесным поносом», но все равно старик испытывал горделивое

удовольствие, упрекая своих противников в боязни крови,— сам-то он был славен как раз тем, что крови не боялся никогда и всю свою жизнь звал к топору, не меньше...

Старик вскакивал, загорался. Напрасно некоторые господа так пренебрежительно отзываются о терроре. Террористы вызвали удивление всего мира, они воспитали целые поколения русских революционеров... Да, он считает, что систематический террор — наиболее верное средство вырвать у правительства необходимые уступки.

— В русском народе,— патетически провозглашал Мулявин,— всегда найдутся люди, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за святое дело.

«Индивидуй» — насмешливо отозвался о Мулявине маленький заика. Желание его высказаться было так велико, что он пренебрег своей обычной застенчивостью и, мучаясь, невыносимо краснея, натужно произнес несколько тщательно отобранных слов об интеллигентской чванливости, о вольном или невольном высокомерии к пролетариату, которому, видите ли, отказывается не только в руководящей роли, но и вообще в возможности быть полноправным «субъектом движения».

На «индивидуя» Мулявин откровенно обиделся.

— Позвольте обратить ваше внимание,— с ядовитой любезностью наклонился он к заике, отдыхавшему после своей мучительной речи,— есть только один правильный путь развития — это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является результатом изменения сознания в обществе. Но... Если уж говорить о насильственных методах, то, закрывая глаза на террор интеллигенции, я признаю в России одну-единственную реальную силу — это крестьянство. Да-с, мужика, именно его. Да и в историю взгляните: кто Наполеона-то расколошматил? Мужик!..

Крестьянство, считал он, сильно не только численностью, но и сравнительною определенностью своих общественных идеалов: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, свобода совести и слова. Несмотря на развитие в его среде мелкой буржуазии, крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической.

«Верно!» — загорелся Григорий Иванович и подсел к спорщикам ближе. Ему хотелось, чтобы доводы Мулявина услыхал товарищ Павел. Интересно, что возразит старик?

Кажется, именно тогда и отвесил нелюдимый Молотобоец обидное замечание о «словесном поносе», а когда Мулявин возмутился и потребовал придерживаться рамок приличия, тот прочитал ему короткую, но внушительную нотацию.

— Вот он,— и Молотобоец невежливо ткнул пальцем в сидевшего рядом Котовского,— гляди: об лоб хоть поросят бей. Конем не свалишь. Верно? А чего он добился в одиночку? Пшик один. А почему? А потому, что один. А «семеро ребят и барина съедят» — так в народе-то говорят.

Двинув щеками, Мулявин поправил пенсне и оглядел Котовского, как вещь, затем перевел взгляд на Молотобойца,— тот, продолжая свою неловкую речь, как бы для убедительности загибал на руке пальцы.

— Если взять пролетария,— говорил он,— то он, по правде сказать, ничто, пока остается один. Всю свою силу он черпает из организации, из совместной деятельности с товарищами. Он силен, когда только составляет часть сильного организма, не иначе. И этот организм для него — все! Отдельный же «индивидуй», как вот тут сказали, по сравнению с ним ничего не значит. Потому-то пролетарий и ведет свою борьбу как частичка массы, без всяких

расчетов на личную выгоду или славу. Именно поэтому он исполняет свой долг на всяком посту, куда его поставят, добровольно подчиняясь дисциплине.

— О, с дисциплиной вашей! — страдальчески протянул Мулявин и болезненным жестом приложил руки к вискам.— Выходит, мне может указывать всякий босяк? Да пусть их хоть большинство, хоть разбольшинство! Плевал я на них! Я их не уважаю...

— Тогда вам в партии делать нечего! — заявил Молотобоец.

— А я и не стремлюсь, как вы, наверное, заметили,— отпарировал старик с насмешливым поклоном и руками врозь.

— А-а! Вот то-то и оно...— Молотобоец разоблачающе наставил длинный палец.— Вот потому-то вы и есть этот самый «индивидуй». А еще обижаетесь... А рабочий дисциплины не боится, она ему, если хотите знать, необходима, потому что он боец, а не болтун. Если он хочет драться, ему без нее каюк. А драться он хочет, хоть кого спросите.

Неожиданно разговорившись, он уже не мог замолкнуть, покуда не высказал всего, что у него накопилось.

— Что составляет оружие интеллигента? — обличал он.— Прежде всего, личные знания, личные способности. Говоря иначе, он может преуспеть только благодаря личным качествам. Поэтому первым условием он всегда ставит полную свободу, так сказать, проявления личности. А коллективу он если и подчиняется, то с трудом, подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины он признает лишь для массы, а не для избранных. Самого же себя он, разумеется, причисляет к избранным душам... Такой получается коленкор,— подвел итог Молотобоец.— И вот помяните мое слово: схлестнемся мы с вами, как дойдет до дела. Не миновать нам этого.

После второго карцера товарищ Павел едва держался на ногах, сил у него осталось ровно столько, чтобы дойти до камеры. Гадать не приходилось: Хабалов не отвяжется до тех пор, пока не доведет человека до гробовой доски.

Спасительным в какой-то мере представлялось наступление пасхальных праздников, целая неделя отдыха и улучшенной кормежки, хождений по камерам «в гости» друг к другу, разговоров, споров и тому подобного приятного препровождения времени. А за неделю, надеялись, что-нибудь да образуется...

В первый день пасхи разговлялись праздничной, пожертвованной с воли снедью. Под ногами валялась разноцветная яичная скорлупа. Молотобоец торжественно священнодействовал над крохотным куличом, разрезая его на тоненькие ломтики. Белые крошки он аккуратно смел в ладонь и отправил в рот.

Было что-то языческое в этом праздничном обычае объедаться, тешить человеческую утробу, и разговор, перелетая от одного к другому, шел о древних славянах с их поклонением «болванам», о раннем христианстве и, естественно, о крестной муке спасителя, предложившего людям идею всеобщего братства угнетенных.

Второй день несло сыростью, холодом, и в камерах в такую погоду людям казалось даже уютно. Разговор тянулся мирно и незлобиво. Мулявин набрел на мысль, что Христос, если судить по-нынешнему, был не кто иной, как первый бунтовщик, пропагандист, причем с террористическим уклоном («не мир принес я вам, но меч!»).

Старик помахал рукой маленькому заике, чтобы тот доставал шахматы,— он привык разговаривать за игрой. Котовский заметил, что товарищ Павел повернулся на бок и подсунул под щеку обе ладони. С Мулявина он не сводил внимательных глаз. Изучал его, что ли?

Шахматисты расставили самодельные фигуры, стали делать первые ходы. Расчерченный на клетки лист лежал

на полу, заика по-ребячьи опустился на корточки. Мулявин восседал на табуретке, руки на расставленных коленях, он поторапливал партнера, нетерпеливо пристукивал каблуком и шевелил пальцами. Заика играл старательно. Сняв фигуру, он прижимал ее донышком ко лбу и надолго погружался в созерцание «доски». На лбу у него оставался круглый отпечаток. Мулявин делал ходы небрежно, свысока. Краем глаза поглядывая вниз, на «доску», Мулявин то и дело встревал в разговор, выкрикивая:

— Бросьте вы с вашим марксизмом! Бросьте! Ваши марксисты хотят зарезать мужика на корню, искоренить его. Варить мужика в фабричном котле — это преступление. Мужик, позвольте вам сказать, основа государства. Да-с, государства! Здравствуйте, как это какого? Российского. Русского. Да!

— Хороша основа,— проворчал Молотобоец, всецело занятый приготовлением какого-то питья для товарища Павла. Он ухаживал за больным, точно нянька.

— А чем она вам нехороша? — немедленно подхватил Мулявин.— Чем? Ах вон оно что — жаден. Так позвольте вам заявить, что жадность русского мужика имеет государственную ценность. Да-с, государственную... И ничего я не фиглярничаю. Подбирайте выражения... В жадности — сила русского мужика, его живучесть, его, если хотите, долговечность. Да, да! Ибо жадность его полезна всем. Всем! Что? А вот почему. От своей жадности он старается производить как можно больше... как можно. Вспомните: он даже жену выбирает поздоровей, поработящей. Как лошадь. Так кому же от этого выгода? Кому?

Старик кокетничал знанием деревенской жизни, и Котовский находил, что возражать ему трудно. В самом деле, насчет жадности... И у Скоповского, и у князя Манук-бея крестьяне «ломили», как лошади, надеясь вырваться из проклятой бедности. Работал сам мужик, не отставала от

него жена (часто и рожала прямо в поле, на полосе), втягивались в работу ребятишки...

— Кажется,— не утерпел товарищ Павел и, покашливая, усмехнулся,— кажется, Столыпиным запахло?

Мулявин вздернул голову. Видимо, он был наслышан об этом болезненном человеке со спокойными изучающими глазами и, разжигая спор, ждал, когда же ему станет невтерпеж. И вот дождался.

— А что вам Столыпин? Это же государственный ум... Бросьте вы, батенька, с вашим Ульяновым. Бросьте! Столыпин смотрит в корень, сиречь на много лет вперед. Он создал класс хозяев... Да называйте вы их хоть кулаками, хоть как. Важно одно: эти люди завалят Россию хлебом. Ибо они, и только они, являются про-из-во-дителями.

— Вот спасибо-то ему! — опять поддел со своей обычной усмешкой товарищ Павел. Он спустил ноги и сел, держась от слабости обеими руками за лавку.— Ваш Столыпин, позвольте вам заметить, не видит дальше собственного носа. Вы знаете, что происходит сейчас в деревне? То же самое, что в городе. Бедные — богатые, кулаки и батраки. Но вы-то, вы-то уж должны бы знать, что это означает одно — борьбу. И какую борьбу! Насмерть!.. Вот за это ему и спасибо.

На лице Мулявина появилась глумливая ухмылка.

— Ох, товарищи марксисты! — закачал он головой.— Ох, не знаете вы своего народа! Сидит он сиднем, не шевелится, но уж как встанет, да как пойдет крушить что ни попадись... И вас он в первую голову разорвет. В первую голову!

— Это за что же, интересно?

— А за то...— И Мулявин, хихикая, погрозил пальцем.— Передергиваете-с. Так сказать, желаемое за сущее... Вынужден вас огорчить: ничего у вас не выйдет. Нет-с, не выйдет! Благодаря Столыпину деревня получила то, о чем мечтала веками. Слышите? Веками!

— Потрудитесь расшифровать.

— Потружусь. С удовольствием... Деревня, сиречь мужик получил главное — свободный труд и землю. Слышите? Свободный труд и землю!..— Подняв палец, он повторил последние слова, точно вслушиваясь в их звучание.

— Демагогия! — На лице товарища Павла загорелись пятна, заставившие Котовского вглядеться: очень тревожным показался ему этот неестественный румянец на испитых щеках.— Дешевая демагогия! Свободный труд... Чтобы свободно эксплуатировать, да? А батраку свободно отдавать свой труд задаром? Или земля... Кто ею владеет и кто на ней работает? Кто? Столыпин ваш...

С притворным смирением Мулявин поник головой. Партнер по шахматам, маленький заика, продолжал сидеть на корточках, но об игре тоже забыл.

— Вот вам человек,— товарищ Павел неожиданно указал на внимательно слушавшего Котовского,— спросите-ка его, спросите! Он из села и дело знает.

Мулявин с неохотой повернулся и взглянул через пенсне. Он с предубеждением относился к телесной мощи, предпочитая людей ума, мысли. А этот верзила с бритой головой внушал ему тайный страх. По утрам, когда Котовский, бренча цепью, принимался за гимнастику, Мулявин всеми силами старался стушеваться. Для него это были самые неуютные минуты.

Несколько пар глаз с ожиданием уставились на Котовского. От смущения он затеребил себя за нос и оттого первые слова прогудел в кулак.

— Громче! — приказал Мулявин, строго изучая его.— Уберите руку!

Перебирая в пальцах мелкие звенья плотной цепи, Григорий Иванович стал говорить, что еще со времен екатерининского межевания в русской деревне происходит мельчание и мельчание земельных наделов. Владельцы

некогда огромных имений теряют связь с землей и в основном поддерживают ее через вороватых приказчиков, призванных блюсти хозяйский интерес.

— Да бог с ними, с приказчиками,— кротко махнул Мулявин, обращаясь к товарищу Павлу.— Вы же знаете, что в России верх всегда был отделен от низа. Так что, если они малость и украдут...

— Да ведь они воруют-то у кого? — в отчаянности товарищ Павел ударил себя по коленям.— Кого обкрадывают-то? Вашего же драгоценного мужика! Почему вы этого-то не видите? Или не хотите видеть? Год от года земля переходит в руки скупщиков, лавочников. А мужик — тот мужик, о котором вы так сладко поете,— он уже не хозяин земли, он берет ее в аренду.

— Вот ее и надо перераспределить,— с терпеливым упорством вставил Мулявин.

— Как? Чем? Этим самым? — И товарищ Павел пальцем показал, как нажимается крючок револьвера.— Многого вы этим добились! Нет,— заключил он,— то, что так легко решают длинноволосые теоретики, сидя в библиотеках Запада, дико и непонятно неграмотному мужику, который гнет хребет на своей тощей десятине.

— Это разбой! — вставил Котовский, разозленный тем пренебрежением, которое открыто проявлял к нему Мулявин.— Всю жизнь крестьянин работает на земле, но хозяином ее не является. Деревня сейчас, как солома: достаточно бросить спичку. Недаром хозяева нанимают охрану — казаков, черкесов. Но знайте: если уж мужик по-настоящему вцепится в землю, оторвать его можно будет только с руками!

«Так, так...» — кивал ему ликующий заика и, не удержавшись, показал большой палец.

— Философия грабителей,— презрительно процедил Мулявин и, не найдя больше возражений, побито уплелся в свой угол.

Товарищ Павел повеселел и, хлопнув рукой по нарам, показал, чтобы Григорий Иванович подсел к нему.

— Добили теоретика,— украдкой подмигнул он Котовскому.

В камеры Хабалов на праздниках не совался, но ловил заключенных во дворе. Товарищ Павел снова не снял шапку — и готово: карцер. Да сколько же можно?

До вечера, когда его должны были отправить вниз, товарищ Павел находился в камере вместе со всеми.

Молотобоец, заика и Мулявин украдкой не то совещались о чем-то, не то бранились. Все трое озирались на нары, на товарища Павла, с головой укрытого халатами.

Григорий Иванович подошел к ним и предложил: пусть общество вынесет Хабалову смертный приговор, а он возьмется привести его в исполнение. Он все обдумал и готов.

— Да? — оживился Мулявин.— Это очень интересно. А вы готовы? Сами? Поздравляю вас. Мы это обсудим.

К Котовскому он сразу же почувствовал расположение.

Всю затею поломал товарищ Павел.

— Ах, Гриша, ничего-то ты, я вижу, не понял... Не дури и займись-ка лучше делом. Ведь столько настоящего можно сделать!

С минуту оба молчали. Григорий Иванович грузно опустился рядом с ним на нары. У больного поднимался жар, лицо у него удивительно помолодело. Эх, ему бы сейчас горячего солнца, красного вина, хорошей еды вдоволь, а не сырые потемки холодного карцера...

— Гриша,— позвал товарищ Павел и, приподняв голову, посмотрел по сторонам,— я вижу, ты бежать налаживаешь... Молчи, слушай. Мне трудно говорить... Убежишь — доберись до таежной полосы. Я дам тебе адрес в Иркутске, там помогут... Записывать ничего не надо, привыкай запоминать.

Он облизнул воспаленные губы, обессиленно закрыл глаза.

— Ладно, потом поговорим еще...

К вечеру в централ прибыл из России свежий этап, и камера сразу опустела: все бросились во двор выискивать знакомых. У Котовского появилась надежда, что, может быть, за хлопотами с этапом о наказанном забудут и не отправят в карцер.

Со двора стали возвращаться бегавшие встречать, озябшие, но веселые. Знакомых мало, однако новости из России утешительные. Прибыло несколько разжалованных офицеров, приговоренных военно-полевыми судами за отказ стрелять в бунтующих рабочих. Разваливалась последняя опора царизма — армия.

Через полчаса, разместив прибывших, за товарищем Павлом пришли надзиратели. Идти сам он не мог, его понесли.

Глядя, как надзиратели грубо схватили больного за ноги и под мышки, заключенные загудели. Юноша с бородкой (из соседней камеры) предложил в знак протеста не вставать на поверку. Мулявин гневным жестом приказал ему замолчать и сказал, что протестовать — так протестовать: нужно шуметь, петь, бить стекла.

— А я считаю,— заявил Молотобоец,— что в нашем положении всего лучше голодовка.

Его горячо поддержали. Молотобоец потребовал тишины.

— Шуметь, бить стекла, как предлагает коллега Мулявин,— неразумно. Хабалов объявит это бунтом и устроит кровопролитие. Объявим голодовку... Но предупреждаю: кто не готов ее выдержать, пусть уйдет сразу.

Молчание тянулось нестерпимо. Наконец старик Мулявин покачал головой:

— Нет, я не разделяю вашей сумасбродности.

— Скатертью дорога! — сказал Молотобоец.— Болтать только умеете.

— Я протестую...

Но старика оттерли.

— Возьмите меня,— попросил Котовский.— Вместо него.

Молотобоец отказал резко, категорически.

Вечером, когда о голодовке было объявлено, он объяснил Котовскому причину своего отказа. В таком деле важно не давать врагу никаких уступок, ни в чем. А если Котовский вдруг не выдержит? В своих товарищах Молотобоец уверен, они скованы партийной дисциплиной. А что делать с ним? Малейшее отступление потянет целую цепочку,— как правило, все кончается дезертирством, предательством. На войне как на войне...

Через три дня в камеру вошел Хабалов. Сурово, исподлобья оглядел всех.

— Этого,— указал на Молотобойца,— в карцер.

— Н-на к-каком основании? — вежливо осведомился заика.

— Кончайте голодовку, и я отменю свое распоряжение.

— Товарищи! — крикнул Молотобоец.— Не отступать ни на шаг!

— Уведите его! — распорядился Хабалов.

Кроме того, он приказал запереть камеры, прекратить хождение «в гости».

Заработал тюремный «телеграф». К голодовке присоединялись камера за камерой. Через два дня голодали все политические.

От истощения, а вдобавок и от простуды у заики открылось кровохарканье. Он признался Котовскому, что ему отбили легкие на допросах. Григорий Иванович, ухаживая за ним, сбился с ног: чтобы достать для больного кусок льда, соленой воды, кипятку, чистую тряпку, в централе с его дикими порядками приходилось затрачивать неимоверные усилия.

На десятый день заика попросил Котовского собрать возле себя товарищей, которые еще на ногах. Он заявил, что выдерживать дольше не в состоянии, и попросил разрешения покончить с собой. Просьба потрясла всех. Кто-то вскочил, потом сел. Наконец заговорили: имеет ли заика моральное право уклоняться от борьбы? Все же кто мог решить такой вопрос за него... В угнетенном состоянии товарищи разошлись по местам.

Григорий Иванович, ошеломленный, боялся подходить к заике. А тот словно забыл обо всем на свете: ничего не просил, никого не звал, лежал молча с закрытыми глазами, лишь пальцы его мелко-мелко перебирали край серого арестантского халата, которым он был укрыт.

Добровольная смерть заики не укладывалась в сознании Котовского. Поглядывая на него со стороны, он верил, что пройдет какое-то время и маленький заикающийся человек поднимется, окрепнет, в глазах его появится то выражение, которое так любил Котовский,— дерзкое, упрямое, мальчишеское — и он вновь будет работать, садиться в тюрьмы, убегать, скандалить с тюремным начальством — одним словом, жить той жизнью, которую он себе избрал.

И был еще какой-то ужас любопытства: а когда же он думает совершить это над собой? И как?

Всю ночь Григорий Иванович не сомкнул глаз. Утром, едва забрезжило, он стал вглядываться в очертания лежащего навзничь маленького арестанта, и сердце его дрогнуло: по одному тому, как было прикрыто лицо заики полой халата, он понял, что это все же произошло. Кусочком стеклышка заика перерезал вены на левой руке и затих, последним своим движением скрыв лицо под полой арестантского халата.

Этим же днем от голода и истощения умерло еще четверо заключенных. Слух о голодовке вышел за стены централа. Губернские власти переполошились. В тюрьму примчался помощник прокурора.

К вечеру Молотобоец был освобожден из карцера. Он принес печальную весть: товарищ Павел скончался в сыром подвале.

Старик Мулявин плакал навзрыд, утирая слезы руками, а руки о штаны. Он мотал седой головой и горько причитал, что ничего не понимает в этом страшном веке, за чертой которого остался. Раньше они считали, что если один стреляет в тысячу, то он сильнее их, теперь же хотят, чтобы против тысячи была обязательно тысяча. Так все переменилось! Надвигается что-то чудовищное, он ничего не в состоянии понять. Ему хочется одного: умереть и ничего не видеть...

Перед тем как отправиться с составленным этапом из Александровска в Казаковскую тюрьму, Котовский узнал, что старик подал прошение. Собственно, к этому шло уже давно.

Глава десятая

«Колесуха» — так на языке арестантов называлась Среднеамурская железная дорога. Дорогу прокладывали через вековые таежные дебри. Люди работали по колено в болотной жиже. Тучами налетала мелкая мошкара — гнус. Охрана, спасаясь от гнуса, палила огромные дымные костры.

Для Котовского заканчивалась первая половина каторжного срока. Шестой год с него не снимали ручных и ножных кандалов. Железо изменило его прежнюю походку — легкую, порывистую,— теперь он ходил вразвалку, приволакивая ноги.

В стылое январское утро — было крещенье — за Котовским явился старший надзиратель Балябин — из амурских казаков.

— В контору,— мотнул он головой.

Через пустынный двор побрели к приземистому флигелю. С верхних этажей, где помещались политические, высовывались любопытные.

В тесных комнатках конторы топились печи. Когда Балябин доложил о прибытии, несколько инженеров с раскрасневшимися лицами отошли к окнам, стали лихорадочно закуривать.

Люди свежие, сразу определил Котовский, раньше никто из них на строительстве не показывался.

Начальник тюрьмы, мучаясь от изжоги и похмелья (вчера вечером он засиделся в гостях, а сегодня — служба проклятая! — его подняли на ноги чуть свет), показал Котовскому, чтобы подошел ближе. Один из инженеров, самый молодой, разглядывал закованного каторжника с таким вниманием, будто собирался его покупать.

Как потом выяснилось, привели Котовского вот зачем. В семи километрах от Казаковской тюрьмы находилась старая заброшенная шахта, лет десять в нее уже никто не спускался. Пользуясь тем, что поблизости пройдет железная дорога, дирекция приисков решила проверить, можно ли возродить шахту. Для этого была послана группа инженеров. Приехавшие добрались до шахты, заглянули в сгнивший шурф, но спускаться вниз никто не захотел. Пришла мысль обратиться к администрации Казаковской тюрьмы — уговорить кого-либо из отпетых каторжников рискнуть. В награду пообещали кое-какие поблажки.

Большинство инженеров, люди пожилые, семейные, в один голос утверждали, что возродить шахту — дело безнадежное. Составить акт — и концы в воду. Им возражал молодой инженер. Он-то и настоял обратиться к начальнику тюрьмы.

— В кандалах не полезу,— заявил Котовский.

— Кандалы снимут,— поспешил заверить молодой и взглянул на начальника тюрьмы. Тот кивнул набрякшим лицом:

— Снимем.

Первый пробный спуск наметили на следующий день.

Казалось бы, невелика тяжесть — восемь фунтов, но, когда с рук и ног упали опостылевшие кандалы, Григорий Иванович ощутил удивительную легкость. Ничто больше не связывало, не гремело, движения стали бесшумны, ловки. Одно неприятно: нестерпимо чесались натертые лодыжки и запястья.

В Александровском централе, перед тем как расстаться с Молотобойцем, Григорий Иванович сказал, что товарищ Павел обещал некий адресок в Иркутске.

— А, знаю,— кивнул тот.— Запомнишь?

Несколько лет иркутский адрес манил Котовского (станция Хилок, «Казенный дом», барак железнодорожных рабочих). Кажется, он дождался счастливого момента: с него сняли кандалы. Другого такого случая может и не подвернуться.

Шахтный ствол — ясно и неспециалисту — сгнил, обветшал. Снизу, из черного провала, пахнуло сыростью. Инженер, опасливо отстраняясь от края бездны, вытягивал шею, чтобы заглянуть. Бледный, он отошел к своим коллегам, они о чем-то заговорили.

Риск, риск, конечно, однако какой еще выход? Лица господ в черных фуражках с надеждой оборотились к раскованному каторжнику. Конвойные солдаты уже приготовили бадью, висевшую на канате. Интересно, надежен ли хоть канат?

Задание Котовскому на первый раз было такое: пройти по штреку (если это возможно) и в концевом забое подобрать кусок руды.

— Ты, слушай! Ты все понял? Ну, с богом!

Конвойный, мордастый казак с нашивками младшего урядника, стал подталкивать арестанта к бадье.

— Давай, давай... Ты чего это — боишься? Лезь... У-у, сволочь!

Была не была! Решившись, Григорий Иванович перенес ногу через край бадьи. Заскрипел ворот.

Подняли его наверх не скоро. Солдаты ловко подхватили бадью, оттащили в сторону от страшного провала. Каторжник продолжал сидеть в бадье, опустив голову. С лица его сходила бледность.

Инженеры смотрели на него, как на поднявшегося из преисподней.

— Ну,— спросил урядник,— достал?

С трудным вздохом каторжник выпрямился.

— Поди сам достань!

Оглянувшись на начальство, урядник угрожающе зашевелил рыжими бровями:

— Ты что это, а? Насмешки строить? Да я тебя...

Подошедшим инженерам Котовский сказал:

— Там завал — во! Сначала надо гору своротить.

— Господа, я же говорил, предупреждал! — плаксивым голосом заговорил пожилой человек с бородкой надвое.— Никакого уважения, даже обидно... Всякий мальчишка...

После короткой обидной перепалки к Котовскому обратился молодой инженер. Его юное безусое лицо пылало, точно от пощечины.

— Слушай, ты! За неделю справишься? — и кивнул в сторону шурфа.

Раздумывая, Котовский пожал плечами:

— Можно попробовать.

— Ладно, завтра начнешь. На сегодня хватит.

На следующий день Котовского отвели на шахту под конвоем трех стражников. Затем с ним стали посылать только двоих. Возвращались затемно, к самому отбою.

Мордастый урядник всю дорогу туда и обратно ругал тюремное начальство, бездельников инженеров и Котовского,— из-за этой затеи на шахте у него не оставалось времени на хозяйство.

Однажды тюремный парикмахер Стасик, свой человек, передал политическим, что Котовский просит сахару и спичек. Губельман, большевик, значительно поднял брови. Спрашивать не полагалось, но без расспросов ясно: готовится побег. В несколько дней собрали, передали и с нетерпением стали ждать.

Утром, когда колонну каторжных собирали на работу, Стасик сообщил, что вчера вечером он брил Котовского. Если, сказал Стасик, что-то и произойдет, то только сегодня. На худой конец завтра. Такое у него предчувствие.

Вечером в тюрьме поднялся переполох. Начальство в полном составе спустилось в подвальный этаж, осмотрело одиночку Котовского и с удрученным видом показалось во дворе.

Губельман поманил пробегавшего мимо надзирателя Балябина.

— Эй, дядя, случилось что?

— Не до вас...— отмахнулся тот.

Конвой с Котовским к обычному часу с шахты не вернулся. Подождали еще немного, затем послали проверить. Все выяснилось на следующий день. В шахте нашли тела застреленных казаков. Мордастый урядник был раздет до белья. Сомнений не оставалось: убив конвойных, каторжник переоделся в казачью форму и бежал. По всем признакам, расправа со стражниками произошла примерно в полдень, следовательно, у бежавшего, чтобы замести следы и оторваться от погони, были почти сутки. Много...

В казачьей форме, с винтовкой, Котовский заходил в села, делая вид, что разыскивает беглого каторжника. Местным властям он устраивал разносы за небрежное несение службы.

Таким образом удалось добраться до таежной полосы. Дальше двигаться стало труднее. Он питался сахаром, обогревался у костров. Вообще, побег из-под стражи оказался самой легкой частью задуманного плана. Впереди лежали тысячи верст зимней тайги.

Села он обходил стороной. Особенно приходилось остерегаться казачьих поселений. С той поры он возненавидел казачью верноподданность, их разудалые чубы, лихой залом папах.

В случае поимки спасения быть не могло,— за убийство стражников его неминуемо ждала петля.

Адрес, который он запомнил со слов Молотобойца, принадлежал «прачке» — так у подпольщиков назывались люди, занимающиеся подделкой паспортов. Раздобыв чей-нибудь документ, они промывают его каким-то раствором, а затем на очищенном бланке вписывают нужную фамилию.

Явка в железнодорожном рабочем бараке была «перевалочной». Молотобоец снабдил Котовского условным паролем — одной репликой,— и товарищ Мирон, хозяин квартиры, помог ему обзавестись необходимым документом. Григорий Иванович понимал, что «липа» ненадежная: вместо печати был приложен медный пятак с затертыми хлебным мякишем буквами, чтобы на бумаге отпечатался только орел. Сдавать для прописки в полицию такой паспорт опасно, но передвигаться с ним можно.

И для Котовского потянулся долгий-долгий путь. Он нанимался грузчиком, чернорабочим на стройку, кочегаром на мельницу, молотобойцем, кучером, разливщиком на пивзаводе. На одном месте не задерживался. Его поимкой занимался сам департамент полиции. Мобилизованы шпики Петербурга, Москвы, Киева. Всюду он видел свои фотографии, читал описание своих примет.

В обычной жизни человек ходит по улицам и чувствует себя совершенно одинаково со всеми окружающими. Но

беглый словно бы отмечен какой-то незримой печатью, точно с седлом на голове. Кажется, его опознает первый встречный и заорет, указывая пальцем.

Понемногу он научился узнавать людей, к которым можно обратиться, не рискуя быть разоблаченным. Он отсыпался в теплых избушках путевых обходчиков, в избенках и бараках городских окраин, где ютились мастеровые. С этими людьми было проще, легче, безопаснее, и он все чаще вспоминал товарища Павла, указавшего ему путь на много лет вперед. Старик Мулявин славил так называемую государственную жадность мужика,— теперь бы он и сам нашелся, что́ ему ответить. Много еще нужно было сил и времени, чтобы и крестьянина поднять на уровень, где собственная выгода сливается со всенародной.

К лету он выбрался на Волгу. Товарищ Павел был прав, когда шутил, что революционеру в первую очередь необходимы ноги,— не знать усталости от погонь. Григорий Иванович убедился в этом сам, выбираясь из Сибири.

Самодержавие пышно отпраздновало трехсотлетие дома Романовых. Глядя, как в ночное небо взвиваются гирлянды беспечных праздничных огней, Григорий Иванович вспоминал предсказание Молотобойца. Прощаясь в Александровском централе, тот сказал, что новая революция будет совсем не такой, какая была. На всем пути Котовский видел одно и то же: страна похожа на взведенный курок. Показное благополучие висело на ниточке.

Из Сибири он вернулся совершенно другим человеком. Как не походила родная Бессарабия на далекую студеную Сибирь! Здешнему бедняку трудно было представить немереные пространства за Уралом. Здесь крестьянин ковырялся на скудном наделе, там — хоть захлебнись землей. Но допотопный, примитивный уровень хозяйства был одинаков и там и здесь. Сибирский мужик обрабатывал землю настолько плохо, что она не могла обеспечить даже

его семью. Один плуг приходился на четыре двора. Во многих хозяйствах не было ни коровы, ни лошади. Зачастую политические ссыльные разбирались в земледелии лучше, чем местные жители.

Помещик Георгий Стаматов, к которому он под чужим именем нанялся управляющим (ватагой), выписывал ворох газет. По вечерам хозяин просматривал их одну за другой, сердито швырял на пол и брюзжал: «Прогнило, все прогнило!» После него газеты забирал управляющий, подолгу вчитывался в телеграммы из столиц и, положив газетный лист на колени, задумчиво покачивал головой.

По селам прощальным плачем заливались гармошки, пьяно горланили новобранцы. Царское правительство сгоняло под ружье огромную мужичью армию.

Завидев строгого управляющего, крестьяне уважительно снимали шапки.

Григорий Иванович измерял взглядом нескладных подвыпивших парней, в глазах которых водка не могла убить страх.

— На немца, значит?

— Известно дело...

— А чего вы с немцем-то не поделили?

— Да разве мы? Мы его в глаза не видели. Там они что-то...— и неопределенно показывали вверх.

— Так пускай они и дерутся! А у вас и дома дел полно.

— Это так, гм... Да ведь... как?

— Ну смотрите, зря головы не подставляйте.

Газеты скупо, сквозь сжатые зубы сообщали об отступлении и вдруг громко, во весь голос оповестили империю об успехе Брусиловского прорыва. Стаматов съездил в Кишинев, поотирался в тыловых учреждениях и добился привилегии отбирать пленных для полевых работ. В имение прибыли мадьяры и австрийцы (Григорий Иванович както увидел: пленный по-пластунски полз по бахче, сорвал дыню, заметил управляющего и со всех ног бросился

бежать. Григорий Иванович усмехнулся и поехал своей дорогой).

С газетных страниц глухо доносилось об интригах в Зимнем дворце, все чаще поминалось имя тобольского конокрада, вознесшегося к самому трону. Обстановка в стране грозила скорыми переменами.

С некоторых пор в имение Стаматова стали забредать в поисках работы подозрительные люди с шарящими вокруг глазами. Григорий Иванович понял, что петля сужается.

Однажды Стаматов зазвал управляющего в дом и, спросив о том о сем по хозяйству, как бы между прочим сообщил, что в имение приехал пристав со стражниками, говорит, что ищет Котовского,— тот будто бы с каторги сбежал и объявился где-то в здешних местах.

Вот оно! Рано или поздно ищейки должны были напасть на след. Но так просто он им в руки не дастся. С первых дней в имении он отобрал для себя выносливую лошадь, кормил ее отборным зерном и постоянно водил с собой в поводу, чтобы она была всегда рядом. Пускай попробуют догнать!

Стаматов ничего не заметил в лице управляющего.

— И еще одно попрошу: осторожней с речами. Мало ли, знаете...

Пристава управляющий увидел во дворе корчмы, тот распекал за что-то уставших стражников. Нерасседланные лошади стояли на солнцепеке, измученно отлягивались от слепней.

Григорий Иванович и ругал себя за прежнее сумасбродство, и ничего не мог с собой поделать. Ну вот зачем он лезет к стражникам? Снова захотелось испытать судьбу, пройтись по краю пропасти? А ведь казалось, что с прошлым покончено навсегда.

Сняв шляпу, Котовский вежливо поздоровался. Пристав окинул его взглядом и не отозвался. Лишь узнав, что перед ним управляющий, небрежно козырнул.

Испытывая, как все в нем натянуто и дрожит от неуемного озорства, Григорий Иванович осведомился, не может ли он чем-нибудь помочь. Пристав, дуя себе в расстегнутую грудь, поблагодарил. Он изнывал от жары и с тоской оглядывал необозримые поля: ну где тут отыскать беглого? Ведь не дурак же он, чтобы запросто попасться на дороге.

«Докладная записка Кишиневского полицмейстера начальнику Бессарабского губернского жандармского управления о задержании Г. И. Котовского

г. Кишинев. 26 июня 1916 г.

Получив сведения о том, что разыскиваемый беглый каторжник, грабитель Григорий Котовский находится в имении Стаматова, на вотчине Кайнары, Бендерского уезда, в качестве ватаги, 24 сего июня я предложил кишиневскому уездному исправнику Хаджи-Коли принять участие в задержании Котовского. В тот же день, ночью, я с исправником Хаджи-Коли, приставом 3 участка Гембарским и еще несколькими чинами вверенной мне полиции выехали на автомобиле в названное имение Стаматова. Около 12 часов дня на следующий день, 25 июня, Котовский, исполняя обязанности ватаги, разъезжал по экономии и, очевидно заподозрив в посланных мною в экономию переодетых в крестьянское платье, якобы ищущих работы... наблюдающих за ним, верхом же скрылся. Ввиду сего, за ним мною была устроена погоня. Скрываясь от погони, Котовский менял головной убор, слезал с лошади (возможно по причине усталости последней) и прятался в хлебах, пользуясь их большим ростом. Наконец, в $5^1/_2$ часов вечера он был замечен в ячмене; я подбежал к месту, где ячмень шевелился и, увидев недалеко от себя Котовского, потребовал поднять руки вверх, но так как он

исполнением этого моего требования медлил, я произвел в него из имевшейся при мне винтовки выстрел, коим ранил его, Котовского, в левую сторону груди. К тому времени подбежали и другие чины полиции...»

Выстрел из винтовки был произведен в упор. Надобности в нем не было никакой: преследуемый стоял во весь рост, без оружия. Стрелявший специально метил в левую сторону, намереваясь поставить последнюю точку в надоевшей полиции истории.

К лежавшему в ячмене истекающему кровью человеку подошел Хаджи-Коли, наклонился. Повышение по службе пошло ему на пользу. Бывший пристав выглядел человеком, добившимся не только сытости, но и постигающим комфорт жизни.

— К-каналья! — брезгливо проговорил он и пнул раненого, остерегаясь испачкать в крови сапог.

Спустя две недели газета «Маленький одесский листок» сообщила о переводе Котовского, еще не залечившего рану, из кишиневского замка в одесскую тюрьму.

В Одессе он узнал, что судить его будет военно-окружной суд. Но и суд присяжных тоже не давал никаких надежд на спасение. Он понимал, что влип окончательно, с ним теперь посчитаются за все, «размотают на всю катушку», как говорили заключенные. Тем более, что на суд нажимал военный губернатор, торопя разбор дела.

«Из приговора Одесского военно-окружного суда

г. Одесса 4 октября 1916 г.

...Суд постановил: подсудимого Григория Котовского, 35 лет, подвергнуть смертной казни через повешение...»

Услышав приговор, он сжал губы. Переполненный зал жадно пялил на него глаза, но он, не отрываясь, смотрел на высокий стол, за которым стояли судьи. Дряблые ста-

рики, склеротики в эполетах, они стояли в ряд, точно ждали команды повернуться и уйти. Глядя на них, не расходилась и публика.

Относительно приговора у Котовского с самого начала не было никаких иллюзий. И все же наступил момент, когда на него повеяло могильным холодом, он почувствовал, что здесь собрались кого-то хоронить: это когда его снова ввели в зал, конвой вокруг с лязгом обнажил шашки и преданно выпучил бессмысленные глаза, когда председатель начал торжественно читать: «По указу его императорского величества...»

А жить хотелось! Именно сейчас! Глупо умереть от рук режима, который сам-то еле дышит и все-таки тащит за собой в могилу каждого, кого успеет прихватить; глупо умереть, когда так много понял, увидел, узнал, когда коснулось озарение открытия, ощущение большого смысла жизни.

В тюремной карете конвойные солдаты поглядывали на него со страхом, как на человека, которого ждет ужасный ночной обряд умерщвления, и остерегались задеть его локтем или коленом. Ни один из конвойных не согласился бы остаться с ним один на один. Для них, живущих, он был уже отгорожен... Важность приговора и всего, что связано с приведением его в исполнение, продемонстрировали и тюремные надзиратели. Они приняли осужденного из кареты, полные некой значительности. Когда его вели по коридору, из камер раздавались голоса:

— Гриша, ну как?

Надзиратели торопили его:

— Скорей, скорей...

У себя в одиночке он собрал вещи, вышел.

— Прощайте, товарищи!

Мертвая тишина. Затем поднялся страшный шум. Заключенные колотили в двери табуретками, парашами, посудой.

— Сволочи! Палачи!

— Протестуйте, товарищи!

Почти бегом Котовского отвели в отдаленное крыло тюрьмы, втолкнули в заранее приготовленную камеру. Прогремел замок в двери, все затихло, и он очутился один. Что у него осталось? Часы ожидания, ночные шаги по коридору, угол тюремного двора, четыре ступеньки наверх, табуретка и суровая петля, надетая вонючим мужиком с широкими ноздрями и запахом водки из бороды...

Коридор, где помещались одиночки приговоренных к казни, был широкий, светлый, в три окна. Но, видимо, потому, что он так разнился с остальными тюремными коридорами, здесь веяло смертью. Пол застлан мягкими дорожками, надзиратели разговаривают шепотом. Единственные звуки — скрежет замков.

Обследовав свою камеру, Григорий Иванович разобрал нацарапанную надпись: «Осталось недолго. Уже был врач». Кто здесь сидел? Когда он отсюда вышел в последний раз? Неожиданно Григорий Иванович вздрогнул и резко обернулся: через глазок в двери на него смотрел надзиратель. Крышка глазка опустилась, но тут же беззвучно поднялась снова. Надзиратель не отходил от двери. Через несколько дней от такого беспрерывного и беззвучного разглядывания он стал приходить в бешенство.

В тюрьме было заведено, что приговоры приводились в исполнение в час ночи, в самое глухое время суток. Работал палач Егорка, получая за каждого повешенного по пятьдесят рублей.

Сразу после полуночи далеко в коридоре раздавались шаги нескольких человек. Идут! И у каждого, кто ждал и слушал, замирало сердце, подкашивались ноги: за кем сегодня? Скрежетал замок, и тишину тюрьмы разрывал истошный вой обреченного. Дверь камеры захлопывалась, но голос смертника был все равно слышен. Крик несся так тоскливо, так невыразимо безысходно, что взрывалась вся тюрьма. Заключенные орали, бесновались, били в двери

камер. Постепенно тюрьма успокаивалась, не засыпали лишь смертники. Им судьба давала отсрочку еще на один день. Сегодня не их черед. Но каждый мысленно следовал за тем, кого связали и уволокли,— вплоть до того момента, когда последнее движение пронзит все тело вздернутого за шею над эшафотом...

Каждую ночь Григорий Иванович ждал, что шаги оборвутся у его двери, и, прислушиваясь, запускал руку в ворот рубахи, принимался гладить шею. В такие минуты его одолевали частые глотательные движения. Как наяву, он представлял жесткую удавку и даже гадкое прикосновение рук палача, когда тот станет дергать за ноги, чтобы повешенный скорее умер... Нет, пусть только они войдут, пусть сунутся! Покорно он им шею не подставит!

Он опрокидывался на постель, когда там, у палача, должно было все кончиться, и забывался ненадолго дурным коротким сном, а утром поднимался вялый; резало глаза, давило голову. До обеда ходил, как не проснувшийся совсем, но после обеда снова начиналось ожидание, приготовление... Скорей бы уж, что ли!

Приговор военно-окружного суда подлежал утверждению командующим Юго-Западным фронтом генералом Брусиловым.

18 октября администрация тюрьмы получила уведомление, что «главнокомандующий приговор суда о лишенном всех прав состояния Григории Котовском утвердил, заменив смертную казнь каторгой без срока».

В один из суматошных дней ранней весны семнадцатого года, после оглушительного сообщения из Петрограда о царском отречении, в Одессе, в городском театре, во время антракта состоялся невиданно яростный аукцион.

Объектом необычной купли-продажи оказался предмет в какой-то степени вульгарный, низменный, однако по

капризу времени, если хотите, символический, обломок старого, разрушенного насовсем: в продажу были пущены ножные кандалы Григория Котовского. События последних дней, когда опустевший трон явился как бы венцом борьбы за новую Россию, снова вознесли имя Котовского на самый гребень острого общественного любопытства.

Виновник торжества присутствовал в театре, и разодетая праздная толпа, по-южному азартная, наэлектризованная, давилась, лезла, неприлично пялила глаза. Котовский выделялся из толпы: в косоворотке и пиджаке, в высоких сапогах, обритый наголо.

Таким или примерно таким толпа запомнила его по дням последнего процесса, когда здесь же, в Одессе, в переполненном зале военно-окружного суда, Котовский, еще не залечивший рану от полицейской пули, но тем не менее закованный в ножные и ручные кандалы, выслушал приговор о казни через повешение. Тогда, в зале суда, толпа была отгорожена от него не только деревянным отполированным барьером,— между нею и приговоренным к смерти человеком стояла еще целая, еще усердно исполнявшая свои обязанности государственная система царской России.

Лицо Котовского от длительного пребывания в тюрьме, в зловонной камере поражало театральную публику обескровленностью. Иногда, когда уж слишком пристальным становилось любопытство женщин, Котовский вспыхивал и дерзко вскидывал глаза, сощуривался (как тогда, во время приговора), и у женщин обморочно подгибались ноги: в мрачном взоре знаменитого каторжника мерещилась им бешеная скачка по ночной степи, пальба, ранения навылет, тюремный двадцатисаженный за́мок с веревочным обрывком на стене, сырые подземелья Нерчинска. Да, этот человек преодолел все, чем располагала тюремная Россия с ее централами и пересылками, с сибирскими зловещими рудниками для обреченных.

— Ура Котовскому! — раздался чей-то молодой и звонкий голос.

Вздохнув, Григорий Иванович с потаенной мукой человека, выставленного напоказ, взглянул на распорядителя аукциона. Низенький господин во фраке, выставив обтянутый жилеткою животик, в обеих руках вздымал над головой массивную цепь с двумя железными браслетами.

Торг постепенно нарастал и завихрялся, цены быстро лезли вверх.

— Две тысячи пятьсот! — выкрикивал распорядитель, впадая сам в азарт от накалявшихся страстей толпы.

— Сто больше! — упрямо раздавался голос адвоката Гомберга, душистого мужчины в перстнях, в кудрях с пролысинкой и яркими зубами.

Отгремел третий звонок, антракт кончился.

— Две восемьсот!

— Сто больше!..

Котовский потуплялся и жестким пальцем проводил по усам, как бы наклеивая их плотнее. Все, что сейчас происходило вокруг него, была, как думал он, сплошная «показуха». Ну, отречение. Ну, новая Россия. А что переменилось? Из тюрьмы сюда, в театр, его доставил конвоир. Камеры в тюрьме полным-полны, администрация осталась прежней, новизна сказалась только в том, что самим узникам разрешено было побеспокоиться об улучшении своего суточного рациона. Однако обратись он к этим господам с призывом раскошелиться на помощь заключенным — как же, держи карман! А вот за кандалы... Черт с ними, пусть хоть так чем-то помогут.

— Три тысячи! — провозгласил распорядитель и снова поднял кандалы, словно нахваливая их добротность.

— Сто больше! — достав платок, Гомберг принялся вытирать багровый затылок.

Внезапно толпа зааплодировала. Распорядитель, лучась, источая приятность, вручил победителю трофей и

широко, по-театральному облобызался с ним крест-накрест. О Котовском было забыто, и он оглянулся, отыскивая конвоира. Старорежимный караульный с ружьем прятался где-то за колонной.

Толпу понемногу размывало. Гомберг с недоумением смотрел на свою покупку. Мелкая плотная цепь кандалов издавала мягкий, маслянистый звук. Куда ее девать?.. Распорядитель, низенький, толстобокий, укатывался шариком. Игра кончилась.

— Гос-пода!..— раздался прекрасный голос адвоката; он привлек внимание всех, кто еще не успел скрыться в дверях зрительного зала. Победитель аукциона во всеуслышание заявил, что он дарит кандалы театру на вечное хранение. Это был ловкий, остроумный выход, и слова адвоката были покрыты торопливыми аплодисментами. Величественные капельдинеры уже закрывали двери в зал.

Довольный Гомберг, пришаркивая лакированными штиблетами и утираясь платочком, догнал распорядителя; они оживленно заговорили и скрылись за массивной дверью.

В пустом фойе появился стражник и выжидающе кашлянул, поглядывая на Котовского. Театральная роскошь пугала караульного, его мелкое деревенское лицо выглядело измученным. Один за другим конвоир и заключенный пошли к широкой парадной лестнице. Спускаясь по ковровым ступеням, Котовский задумчиво вел рукой по мраморным перилам. Сегодня, когда его вывели из тюрьмы и он увидел обыкновенные окна в домах, он поймал себя на мысли, что такие окна не настоящие, а устроены лишь для украшения, так как на них нет решеток, висят занавески и наставлены цветочные горшки.

На улице сырой ветер с моря хлестнул по лицу и вмиг выдул из-под арестантского бушлата все остатки тепла. На углу Котовский увидел расхлябанного гимназиста в пенсне и с винтовкой на ремне. Сложив ладони ковшиком,

гимназист давал прикурить разбитной цветочнице Марусе, в лучшие дни стоявшей на самом бойком месте города — угол Дерибасовской и Екатерининской. Марусю знала вся Одесса. Ветер трепал юбчонку цветочницы, она зажимала ее в колени и озябшим личиком оборачивалась на море, на порт, откуда несло пронизывающей сыростью.

— Табаку надо,— вспомнил Котовский наказ товарищей по камере.

— Еще чего? Не пропадут,— нелюдимо буркнул конвоир, движением головы приказывая не останавливаться. Ему не терпелось поскорей вернуться в привычное тепло тесной тюремной караулки.

Котовский остановился, глаза стали бешеными.

— Я т-тебе что сказал?

Конвоир с ружьем под мышкой испуганно попятился, махнул рукой:

— Ладно, ладно... Как цепной. Давай тогда деньги, что ли.

Он уже проклял час, когда получил на руки такого хлопотного арестанта. Извелся с ним сегодня. А ну взбредет ему в башку сбежать? И убежит, не от таких бегал. Вон он какой бугай! Рассказывали,— в смертную камеру, где он дожидался казни, остерегались входить. Живым бы он не дался. А теперь, как от петли избавился, сам черт ему не брат.

— Человечности не понимаешь,— проговорил Котовский, когда они тронулись дальше.— Недавний, видно?

— Иди давай,— обиженно отвернулся стражник, закидывая ненужную винтовку за плечо.— С вами по-человечески... сам без головы останешься.

— Слушай, давай бегом, а? — внезапно предложил арестант, задорно крякая и колотя себя по бокам.— Согреемся хоть.

— Не положено,— все еще обиженно держался караульный, однако шагу прибавил, и они пошли рядом, задевая друг друга плечами...

Через несколько дней, уже не в театре, а в кафе Фанкони, в продажу бросили ручные кандалы Котовского. Против ожидания, торг получился вялый, выручка составила всего семьдесят пять рублей. Интерес к «историческому моменту» катастрофически падал, даже митинги пошли на убыль. С царским отречением свыклись настолько быстро, словно никакого царя в России не было и в помине.

Проходили недели, месяцы, кончался апрель. Горячий южный город оделся в летнюю зелень. Заключенные одесской тюрьмы волновались. Объявлена свобода, а где она? Их успокаивали тем, что тюрьма в Одессе считается лучшей в Европе: дескать, в других тюрьмах заключенным приходится куда труднее, а ведь ничего, ждут. Но в общем ожидание должно вот-вот кончиться. По распоряжению Керенского создана специальная комиссия, в скором времени она соберется и начнется разбор дел о помиловании.

Помилование?! Вот так так! А чьим же именем? Или кто-то уже успел сесть вместо царя?

На возмущения арестантов тюремная администрация отвечала старыми испытанными мерами — запретами и наказаниями. Ничего другого она не знала, не хотела, да и не признавала.

В ответ заключенные озлоблялись еще больше.

Так продолжаться бесконечно не могло.

У всякого, кто наблюдал в те дни взъерошенный российский быт и задумывался над происходящим, невольно появлялось ощущение, что многое в стране осталось незаконченным, волна новизны, поднятая в феврале, остановилась где-то на полдороге. Как будто все дело было в том, чтобы разрушить старое! И мало, очень мало было тех, кто понимал, что своим февральским шагом огромная страна только вступала в длительную и грозную эпоху.

Выстрел «Авроры», грохнувший осенним мокрым вечером, стронул с места и обрушил такую лавину событий,

каких история еще не знала. Все, что было пережито после Февраля, оказалось сущим пустяком по сравнению с тем, что ожидало впереди. С этого дня, точнее, вечера уже и без того уставшую Россию ожидали еще годы и годы затяжной борьбы, кровавой и безжалостной.

Семена векового гнева дали щедрые и грозные всходы. Страну встряхнуло и переболтало, все разломилось глубоко и страшно. Сам он, недавний каторжник и смертник, скакал впереди сказочно выросших бойцов, и от топота эскадронов дрожала земля, а слитный вопль атакующих раскалывал небо.

Всякий раз, когда трубач играл «атаку», а знаменосец со штандарта сдергивал чехол, он вскидывал клинок и впереди бригады пускал во весь мах своего коня навстречу вражескому реву, первым из всех подставляясь под пули и клинки.

Ему некогда было задуматься и осознать, что по ним, сегодняшним, знаменитым или безымянным, будут настраиваться будущие поколения. Мысли и желания его были обыденнее, проще. Он знал: земля, уставшая от грохота разрывов, тачанок и кавалерийских лав, станет в конце концов заниматься тем, чем и положено земле,— давать радость работающему на ней человеку, чтобы он уже никогда не проклинал своего рождения. И на полях войны он жил и работал, как агроном, который готовит пашню для урожая. Ради будущего он с треском ломал все, что за века сложилось и срослось, ради этого он вел бойцов,— так, с Южной группой войск он сделал героический переход от Одессы до Житомира, затем вернулся и отвоевал Одессу, после чего бригада с боями прошла по Украине и выбила последнего врага за Волочиск, за Збруч...

Глава одиннадцатая

6 мая по решению Политбюро ЦК РКП(б) командование войсками Тамбовской губернии принял двадцативосьмилетний Михаил Николаевич Тухачевский, недавно закончивший операцию по разгрому кронштадтских мятежников.

Поезд командующего, не сделав ни одной остановки в пути, прибыл в Тамбов.

Связист, работавший на аппарате Морзе, пропустил через пальцы узенькую полоску с точками и тире, привычно расшифровал ее и потянул с головы обруч с наушниками: штаб войск в Тамбове вызывал комбрига Котовского к командующему.

Перед отъездом комбриг заслушал доклад начальника штаба.

По мнению Юцевича, имелись все основания считать, что крупный отряд Селянского, прикрывавший отход бандитской армии, перестал существовать как самостоятельное воинское соединение. Некоторое время Селянскому, превосходно знавшему местность, удавалось маневрировать и уклоняться от боя, но для Криворучко дни погонь не пропали даром: изучив тактику бандитов, он применил их же оружие. Сначала он направился на деревню Пахотный Угол, а затем совершенно неожиданно повернул на Рождественское-Покровское. Этим не разгаданным бандитами маневром Криворучко добился-таки своего: у деревни Лукино он настиг Селянского и «отвел душу». К слову, заметил Юцевич, сопротивление банд возрастает с каждым днем; видимо, сказывается постепенное сжимание: для широких маневров остается все меньше территории. Начальник штаба специально предупредил командиров эскадронов, что раненый зверь опаснее здорового.

Юцевич пожаловался, что его беспокоит отсутствие налаженного тыла. В Умани, чтобы разместить в эшелонах

самое необходимое — штаб, политотдел, эскадрон связи, хозяйственную команду, комендантский эскадрон для гарнизонной службы и отдел снабжения,— пришлось оставить все обозы как первого разряда, так и второго. Когда они теперь прибудут? Да и прибудут ли вообще? А уезжали, рассчитывая на месячный срок. Правда, боевое обеспечение удается поддерживать. Но белье, но суточные рационы, фураж... Без хозяйства, заключил Юцевич, трудно, сложно... можно сказать, невозможно воевать.

— Ну, мы тут зимовать не собираемся,— сразу помрачнел комбриг.

Тихая, вежливая непреклонность Фомича порою выводила его из себя.

— Что там еще? — отрывисто спросил он.

Терпеливый Юцевич заглянул в приготовленный для памяти списочек («Ладно, раз так, хозяйственные дела побоку. Хотя с бельем у бойцов дело швах...»).

— Вот что непонятно,— сказал он.— Хитровский полк Матюхина все время держится почему-то особняком, изолированно от остальной армии. Что это — какой-то замысел антоновского штаба? Но тогда какой именно? Или это просто результат внутренних распрей между перессорившимися главарями? Странно, если действительно так: нашли время для грызни.

— Грызутся, конечно,— проворчал Григорий Иванович.— Какие у них сейчас могут быть планы? Умри ты сегодня, а я завтра — вот и все их планы.

Комбриг любил своего выдержанного, не по годам солидного начальника штаба. За время, что они вместе воевали, Григорий Иванович настолько привык к его повседневному спокойному присутствию, что не представлял на этом месте никого другого. Многое менялось в бригаде, но начальник штаба был постоянным, как бы вечным. Поэтому, получив прошлой зимой назначение начальником 17-й кавалерийской дивизии, Григорий Иванович первым

своим приказом утвердил неизменного Юцевича в должности начальника штадива.

В конце доклада Юцевича появился сумрачный, осунувшийся Гажалов, и комбриг, размягший было на минутку, насторожился вновь. Начальник особого отдела бывал в штабе реже других, но каждое его появление было связано с чем-нибудь тревожным, неприятным. Кто-кто, а этот ничего радостного не принесет. Такие у него обязанности.

И точно, сводка особого отдела сообщила неутешительные сведения. Для пополнения фуража удалось, как известно, добиться местных поставок, но первая же партия овса, поступившая по разнарядке из Моршанска, оказалась пополам с битым стеклом. Гажалов сам проверил всю партию. Дальше. У наганов, доставленных с тамбовских оружейных складов, обнаружены сбитые бойки. Все эти наганы выбрось хоть сейчас, безнадежный брак. А наганами собирались вооружить пулеметные команды: винтовки для пулеметчиков слишком неудобны... Дальше. В деревне...— Начальник особого отдела заглянул в коротенькую запись,— в деревне Шилово сделали обыск в церкви (был сигнал от местных) и под алтарем нашли целый склад: полевой телефонный аппарат, связку газет «Знамя труда», листовки к крестьянам, бархатное знамя («В борьбе обретешь ты право свое! От Центрального Комитета Социал-революционной партии») и любопытный документ — резолюцию Кронштадтского повстанческого комитета. Похоже, в церковном тайнике хранилось и оружие (предположительно, именно это оружие попало в руки первых бандитских отрядов, действовавших здесь с наступлением весны, до подхода основных сил Антонова).

Как и Юцевича, комбриг слушал начальника особого отдела с полузадернутым, как бы дремлющим взглядом. Оружие... Тайники... Листовки и знамена... Все это лишний раз свидетельствовало, что мятеж вспыхнул не в одночасье, а готовился заранее, исподволь. Борьба за мужика,

можно сказать, началась с первых дней Советской власти. Когда Антонов захватил небольшой городок Рассказово и разграбил тамошние фабрики, Владимир Ильич Ленин послал Дзержинскому, бывшему в то время начальником тыла Юго-Западного фронта, гневную записку, называя попустительство бандитам «верхом безобразия» и требуя отправить в губернию «архиэнергичных людей». Разумеется, эсеры тоже не сидели сложа руки. Сейчас уже известно, что личность самого Антонова (как и всю его затею) буржуазная печать стала поднимать за полгода до начала мятежа. В особом отделе бригады имеется подозрение, что в Тамбове, под боком у штаба войск, функционирует крупный контрреволюционный центр.

Начальник особого отдела продолжал докладывать, время от времени сверяясь по записям. Его не обманывало бесстрастное, застывшее лицо Котовского. Он знал: комбриг не упустит ни одной подробности и уложит в свою память все, что здесь будет сказано. Гажалов назвал несколько деревень, уже очищенных от бандитов, но на которые вдруг были совершены внезапные налеты из леса. Расправе подвергаются в первую очередь работники деревенских ревкомов. Творя свой быстрый и кровавый суд, бандиты стращают население: дескать, Котовский пришел и уйдет, а мы останемся и за все обязательно спросим. Рассказывать о зверствах не поворачивается язык. О красноармейцах, попавших в лапы антоновцев, нечего и говорить. Установлено, что особое пристрастие к издевательствам питает Матюхин, командир Хитровского полка, бывший конокрад, человек огромной физической силы. В припадке ненависти он собственными руками откручивает пленным головы.

Сдвинув брови, Григорий Иванович двумя пальцами взял себя за переносицу и так, зажмурившись, сидел с минуту. Слишком хорошо он знал этих атаманчиков и батек, знал по тюрьме, по каторге. Там они жадной беспощадной

стаей могли терзать какого-нибудь безответного, забитого арестанта, но быстро уступали грубой силе или дружному отпору, более сплоченному, нежели их трусливые шайки. Точно такие же они и здесь, на воле: тешат душу над безоружными людьми. Выскочат из леса, похозяйничают вечер — и снова в лес.

— Пиши,— сказал он Юцевичу и поднялся для диктовки.

Как всегда, на память пришло множество важных дел, которые следовало уложить в скупые строчки приказа. Но боевой приказ должен быть кратким, как команда. И он выделил только то, что представлялось самым неотложным. Посмотрел через плечо — внимательный Юцевич был наготове.

В деревнях, очищенных от бандитов, целесообразно оставлять небольшие воинские гарнизоны во главе с младшими командирами. Задачей последних как начальников гарнизонов считается, во-первых, создание отрядов самообороны из местного населения (рытье окопов полного профиля вокруг деревень), во-вторых, помощь силами бойцов (с лошадьми, с повозками) в сельскохозяйственных работах.

Группа деревень, охраняемых гарнизоном, составляет так называемый посевной участок. Начальником участка является начальник гарнизона.

Помощь в сельскохозяйственных работах оказывать в первую очередь семьям красноармейцев и бедняков.

В настоящее время, когда для посева важен буквально каждый день, полевые работы приравниваются к боевым действиям. О том, что сделано, докладывать в штаб бригады ежедневно.

Провожая комбрига в Тамбов, Юцевич советовал взять надежную охрану. Котовский возражал. Сошлись на том, что с комбригом, на широченном заднем сиденье «роллсройса», отправятся двое бойцов с ручным пулеметом.

Опасения осторожного, предусмотрительного Фомича оказались напрасными. До самого Тамбова доехали спокойно.

Безлюдная высохшая дорога, просекающая страшноватый лес, шарахала в днище машины мелкими камешками. Надвинув на глаза козырек фуражки, Григорий Иванович сонно покачивался на упругом кожаном сиденье. Краем глаза он постоянно замечал напряженные руки шофера, без устали сновавшие по гладким закруглениям рулевого колеса.

Трофейный «роллс-ройс» достался Котовскому вместе с шофером. Раньше автомобиль (подарок английского короля) и шофер принадлежали великому князю Николаю, затем — деникинскому полковнику Стесселю, застрелившемуся после поражения под Одессой. Полковник с ног до головы одел шофера в кожу и присвоил ему первый офицерский чин в русской армии — прапорщика. Григорий Иванович вначале не доверял великокняжескому шоферу, но постепенно убедился, что «Ваше благородие» обладает отменной выдержкой (не вздрагивает, если даже выстрелить у него над ухом), а после опасного приключения с бандитами Тютюнника он стал считать его своим человеком.

Приключение сошло с рук благодаря сообразительности шофера Николая Николаевича. Въезжая в деревню, ни комбриг, ни водитель не подозревали, что она уже занята бандитами. Догадка пришла поздно: к диковинной машине, пробирающейся по узкой деревенской улице, сбегались отовсюду вооруженные люди. Казалось, спасения нет, ловушка. Покуда широкий, неуклюжий «роллс-ройс» развернется и наберет ход, бандиты догадаются, кого это к ним прямо в руки доставила судьба. В эту минуту не растерялся Николай Николаевич. Разворачивая машину, он форсировал подачу горючей смеси — из глушителя с треском повалил густой черный дым. Услышав треск, бандиты мгновенно

попадали на землю: им показалось, что из машины заработал пулемет. Недолгого замешательства оказалось достаточно: пока бандиты опомнились, за машиной вилась дорожная пыль.

С того случая интерес комбрига к неповоротливому «роллс-ройсу» упал. Он пользовался автомобилем, когда требовался известный шик,— при поездках в город, в штаб. В боевой же обстановке предпочитал испытанного Орлика.

Охлаждение комбрига к автомобилю доставило огромную радость ординарцу Чернышу. Машина, считал он, существо железное, какое может быть сравнение с лошадью? В глубине же души Черныш продолжал испытывать ревность и к автомобилю, и к затянутому в кожу водителю. Он видел: в мирной жизни машина комбригу более с руки: и удобней, и быстрее, и вид совсем другой. И чуяло сердце Черныша, что железный ящик на колесах скоро совсем заменит людям лошадей. Конечно, какая с ним морока: не устает, поить-кормить не надо, сиди, крути себе колесо, он и бежит.

В дороге «Ваше благородие» помнил тайный наказ Юцевича и напряженно всматривался вперед. Бойцов с пулеметом сморила жара. Один, прикрыв фуражкой лицо, спал, откинув голову на собранный гармошкой верх машины, другой, полузакрыв глаза, покачивался и вполголоса тянул унылую молдаванскую «дойну» — надсаживал душу тоской по родным тираспольским местам.

...Лист увядший, лист ореха,
Нет мне счастья, нет утехи,
Горьких слез хоть отбавляй,
Хоть колодец наполняй.
Он глубок, с тремя ключами,
Полноводными ручьями.
А в одном ручье — отрава,
А в другом — огонь и лава,
А еще в ручье последнем —
Яд для сердца, яд смертельный...

Мелодия песни напомнила комбригу старшую сестру, заменившую ему мать. Сестру рано выдали замуж, он надолго потерял ее, но после побега с каторги разыскал и украдкой, ночью, навестил. Это было горькое свидание. «Панночка» — так звали сестру в селе — стеснялась своего благополучия и со слезами смотрела на измученного брата. «Гриша, о чем ты думаешь? — повторяла она.— Тебя же убьют!» Муж сестры, богатый сельский староста, держался с Котовским настороженно, часто подходил к завешенным окнам. Боязнь расплаты за опасного родственника сквозила в каждом его движении. Григорий Иванович тогда не стал засиживаться в гостях и ушел, лишний раз почувствовав свою одинокость. И все же воспоминания о сестре, об отце брали за душу, особенно в последнее время. «Возраст, что ли, виноват? — думал Григорий Иванович, покачиваясь под тоскливое пенье бойца.— Просто не верится, но уже двадцать шесть лет, как умер папа. Я тогда был чуть больше Кольки... Мне сейчас сорок, почти сорок, папа был моих лет, когда заболел. Но у него были я, сестры... Нет, кончим последнюю войну, и начнется настоящая жизнь...»

Автомобиль встряхивало, Григорий Иванович приходил в себя. Сияло солнце, он снова опускал на глаза козырек фуражки.

В деревнях машину комбрига останавливали красноармейские посты, объясняли, что ехать можно без опаски. Поглазеть на автомобиль сбегались деревенские. Невиданная телега везде была в диковину. Пользуясь случаем, «Ваше благородие» вылезал с тряпкой в руках и важно наводил на бока машины праздничный глянец. Любопытство, аханье ласкали шоферское сердце.

В какой-то деревне шофер резко положил руль вправо, и колышущаяся машина выползла на луг. Впереди, среди зелени травы и свежих щепок, комбриг увидел наспех сколоченный помост из досок и горбылей.

От последней избы через луг к остановившейся машине бежал, придерживая фуражку за козырек, кругленький человечек — заведующий клубом Канделенский.

— Григорий Иванович! — завопил он и в радостном возбуждении раскинул руки, точно собираясь заключить комбрига в объятия.— Какая радость! А у нас сегодня как раз спектакль. Мы вас не отпустим.

Он знал о тайной слабости командира бригады к театральным постановкам и, бывало, в Умани со всем, что касалось работы клуба, обращался прямо к нему. Расчет был верный: отказа, как правило, ни в чем не получал.

Пришлось выйти из машины и размяться.

Не виделись давно, со дня отъезда из Умани. Канделенский уговаривал остаться до вечера,— вечером уже объявлено большое представление. Он со смехом рассказывал, что в деревне, когда бойцы принялись сколачивать помост, началось волнение. Для чего сколачивают: пороть или вешать? («Привыкли уже!».) Вечером, аплодируя, отбили ладони. Бойцы тоже разошлись. Один, игравший разбитную солдатку-самогонщицу, за вечер стал знаменит на всю округу. А что из-под юбки сапоги и галифе — только смешнее. Сейчас ему проходу не дают.

— А то останьтесь, Григорь Иваныч, ей-богу. И ребята будут довольны.

У последних изб, на выезде, полуголые бойцы рыли окопы. Летела с лопат влажная черная земля. Рослый парнище, без гимнастерки, с белой незагорелой грудью, вдруг запрокинул к небу зажмуренное лицо и с отставленной в руке лопатой замер. Ну вот, здесь народ уже может жить уверенно.

Тамбов встретил сушью, зноем, летевшей с ветром пылью. Это летом, подумал Григорий Иванович, а осенью, в грязь и вовсе не на что и взглянуть... Проехали пустую базарную площадь, на которой одиноко стояла телега. Лошадь хлестала себя хвостом по бокам и лягалась, громко

стуча копытом по оглобле. Под телегой, укрывшись с головой, спал мужик. Базарные лабазы, все до одного, заперты на железные болты. Поговаривали, что бандитские отряды маячат в пятидесяти километрах от города. Каждую ночь напуганные обыватели ждали налета и резни.

Григорий Иванович подумал о жене. Следовало бы ее навестить, не заезжая в штаб, но он ничего не говорил шоферу, а Николай Николаевич, хоть и караулил краем уха, уверенно правил к штабу войск. Котовский не допускал мысли, что антоновцы могут ворваться в большой губернский город, ему, как военному, такая возможность представлялась просто нелепой. Да и не о Тамбове думалось сейчас Антонову. И все же мысли об Ольге Петровне не оставляли комбрига.

Отношения с женой у него были сложными.

Революцию он встретил взрослым, уже пожившим человеком (36 лет, у иного в эти годы борода веником, куча детишек) и заставил себя жить так, словно все, что составляет личное счастье человека, будет у него потом, потом. Свой возраст он нес как наказание и оставшиеся дни посвятил тому, чтобы успеть сделать вдвое-втрое больше других.

Возглавив людей, доверивших ему свои жизни, получив власть распоряжаться ими, он считал, что командир обязан так себя вести, чтобы иметь право отдать любой приказ подчиненным. Вся его жизнь, весь он целиком принадлежит бригаде, и ничто личное не должно отличать его от любого бойца.

Ольга Петровна ворвалась в его суровый климат уединения, и он сразу почувствовал себя неловко. Здесь очень многое зависело от ума и такта Ольги Петровны. Кажется, она вовремя догадалась обо всем. При ней сменилось целое поколение командиров в бригаде: Няга, Макаренко, Христофоров, Евстигнеич. Бойцы привыкли к подруге комбрига и ласково называли ее мамашей, но своих обычаев

Котовский не менял. Никто не должен видеть, что он чем-то отличается от остальных!

Ольга Петровна понимала, что иным Котовский не может быть, а если он вдруг изменится, то что-то невозвратно потеряет, будет уже не тем командиром, в которого бойцы верят и пойдут за ним в огонь и воду.

Остаться совсем одним, вдвоем, им довелось после контузии Котовского под Горинкой, а также нынешней зимой, в Умани. Это были дни спокойной жизни, время глубокого узнавания друг друга. За немногие дни, выпавшие на передышку от походной жизни, Григорий Иванович успел прочувствовать, как много значит для усталого человека тихий свет лампы над столом, застланным чистой скатертью, женщина в шали, наброшенной на плечи, уроненный клубок, поднять который и подать — ни с чем не сравнимое счастье мира и покоя. Глядя на милую причесанную голову жены, склоненную над рукоделием, Григорий Иванович испытывал невыразимую нежность, хотелось что-нибудь сделать для нее — услужить,— хотя бы помешать сахар в ее чашке ложечкой: в это время Ольга Петровна, поправляя шаль, поднимала на него глаза, он спохватывался, чуть краснел; едва заметная улыбка трогала губы Ольги Петровны, она снова наклоняла голову. Сдержанность Котовского в чувствах стала чертой его характера и создавала ему репутацию человека суховатого, способного лишь на деловые разговоры, в то время как он постоянно испытывал потребность сказать своим бойцам самые-самые слова, а принуждал себя к суровости, отлично понимая, что, выделяя кого-нибудь одного, он обделяет всех остальных.

Кто поверил бы, что па глаза сурового комбрига способны навернуться слезы, но Ольга Петровна сама была свидетельницей этого, когда не стало старого артиллериста Евстигнеича или когда смерть вырвала Иллариона Нягу, Макаренко, Христофорова. Каждая потеря друзей-соратни-

ков уносила какую-то частицу его самого, он словно становился старше, сознавая, что все не дожитое и не сделанное боевыми друзьями теперь ложится на него.

В Умани его пояс с маузером и шашка недолго висели на стене. Григорий Иванович протестовал против желания жены поехать с ним в Тамбовскую губернию, но Ольга Петровна, когда это было нужно, умела быть настойчивой и непреклонной. Отдавала ли она себе отчет, что эта война хоть и не настоящая, но все же война? И здесь так же, как и прежде, эскадроны развертывались в лаву, а навстречу им смертельным веером лупили вражеские пулеметы.

К счастью, никакой войны ей видеть не пришлось. Однако именно в ее теперешнем положении он был ей нужен более, чем когда-либо раньше (так ждали они оба своего ребенка!), и в то же время именно сейчас он не должен был допускать ничего личного, потому, во-первых, что человек, к которому он направлялся, молодой командующий Михаил Николаевич Тухачевский, недавно пережил горе, потеряв жену, следовательно, перед ним Котовский, побывав у Ольги Петровны в больнице, выглядел бы счастливцем, баловнем судьбы, а, во-вторых, сломайся он сейчас, скажи шоферу поворотить в больницу, он покривил бы натурой, а этот надлом в душе останется надолго и обязательно скажется в его командирском отношении к бойцам: разве он сможет быть непреклонным с ними, если дал самому себе поблажку?

Нет, на войне как на войне!

И он не проронил ни слова, пока автомобиль не остановился перед невысоким особняком, в котором помещался штаб войск губернии.

По тускло освещенным коридорам деловито сновали аккуратные военные с озабоченными лицами. Они вежливо сторонились, пропуская коренастую фигуру комбрига, и снова устремлялись вперед своей характерной штабной пробежкой. В грузном ступанье комбрига угадывался

истинный кавалерист и старый каторжник. Штаб-трубач Колька, пытаясь перенять походку Котовского, раскачивание усвоил, но остальное ему не удавалось: для этого нужна была многолетняя кандальная выучка.

Прежде чем пройти к командующему, Григорий Иванович завернул в кабинет начштаба Какурина. Котовского встретил седой человек в форменном кителе. Все в нем: одежда, прическа, манера держать себя — выдавало кадрового военного. Николай Евгеньевич Какурин был полковником старой армии. Григорий Иванович знал его по Западному фронту, когда кавалерийская бригада гнала петлюровцев на Волочиск и Проскуров.

Они были почти одногодки, командир бригады и начальник штаба войск, но у одного за плечами сложная жизнь с тюрьмами и побегами, с камерой смертника, у другого — размеренная служба генштабиста с неуклонным продвижением вверх, к самым большим чинам. Одно лишь делало их сейчас похожими — военная форма, и Григорий Иванович, едва вошел в спокойный, тихий кабинет, сразу же отметил это,— военная форма не терпит расхлябанности и заставляет человека быть четким как в разговоре, так и в поступках.

Большой стол начальника штаба войск завален бумагами. На маленьком столике сбоку стояло несколько телефонных аппаратов.

Перед приходом комбрига Какурин держал в руках свежий номер газеты «Красный кавалерист». Он прочитывал каждую заметку и с удовольствием покачивал головой.

Раньше таких газет в русской армии не было, не полагалось. И зря, между прочим... Николай Евгеньевич принадлежал к людям, которые всю свою жизнь посвятили войне и вооруженным силам родины и с беспокойством наблюдали, как разруха проникает и в армию. Их не обманул показной энтузиазм начала большой мировой войны.

Война началась пятнами приказов на заборах, кутерьмой на улицах и в театрах, хвастовством и громкими словами о патриотизме. Но за спиною армии находилась издерганная страна, сырой ветер прочесывал убогие деревеньки: натыканные как попало избы, бурый дым валил на закисающий снег, собаки поднимали морды, нюхали воздух и выли от неизвестной тоски.

Скоро весь энтузиазм износился, стал ненужным и смешным, и хоть многое еще шло как будто по-старому, но страна зудела и беспокойно ворочалась. Армия еще спала, ела, ходила в атаки, однако те, кто мог наблюдать и чувствовать, ощущали приближение больших перемен. Армия начинала обрастать бородами и вшиветь, солдат уже подпирался винтовкой, как палкой. Мало-помалу эти люди в грязных, простреленных шинелях оставляли опостылевшие окопы, появлялись в трамваях и на бульварах, скапливались на вокзалах.

Немногие из окружения Какурина, умевшие думать и анализировать, искали выход из положения, толковали о спасении, о возрождении. Им не верилось, что армия, корнями уходившая в славные века, превращается в толпу озлобленных, вшивых и бородатых людей. Найдутся, должны найтись здоровые силы! Но где они, кто они, когда объявятся?.. Кадровые военные, привыкшие всю жизнь иметь дело с четкими исполнительными шеренгами, скованными дисциплиной, они опустили руки перед ордой зловонного мужичья с винтовками. Точный механизм армии развалился окончательно, армии не стало, а чтобы управиться с толпой вооруженных людей, из которых лишь каждый в отдельности походил на солдата, требовались совсем иные люди, по крайней мере понимающие их, близкие к ним. Из старых кадровых военных для такой цели не годился ни один.

И на место прежнего клана военных деятелей выдвигались совершенно необычные люди. Этих людей выделила

из своей среды сама армия и навеки прославила их имена. Под их водительством плохо вооруженные, раздетые войска опрокинули вековые положения военной теории, вдребезги разбив идеи и методы одрябших в своих кабинетах генералов. Не оттого ли, что совсем новый ветер свистел в поднятых над головой шашках и новую, еще невиданную цель различали бешено разинутые глаза атакующих лав?

Армия постепенно формировалась, появились дисциплина, выправка, и те из старых военных, которым молодость Советской республики увиделась прибежищем после развала старого, вздохнули с облегчением. И вместе со всеми они взялись за укрепление армии, за привычное дело. Начав службу сызнова, они терпели грубость, брань, выносили все, что порой претило их душе интеллигентов, терпели ради будущего великой армии...

В «Красном кавалеристе» было напечатано письмо юных бойцов, «сыновей полков», приказом Буденного отчисленных из Первой Конной и направленных на учебу. Маленькие кавалеристы, уезжая, клялись Буденному явиться по первому зову.

— Не читали, Григорий Иванович? — Протянув газету, Какурин прочертил на ней ногтем.— Михаил Николаевич интересовался вашей бригадой. У вас много ребят.

— Оставили в Умани,— Григорий Иванович отнес газету от глаз подальше и стал с усилием всматриваться в мелкий текст.— Кой-кто, правда, увязался, но в безопасности.

Зазвонил один из телефонов. Начальник штаба снял не глядя трубку и, пока слушал, не переставал наблюдать за читающим комбригом.

Лицо Котовского запоминалось: сильные челюсти, прямой короткий нос, квадратик аккуратных усиков. Внимание Какурина привлекли руки комбрига, руки рабочего-молотобойца (видимо, он имел привычку подрезать ногти

кончиком отточенной шашки). Все они, новые, кого успел узнать Какурин, отличались завидным простонародным здоровьем, крепостью тела, как будто иные люди, более слабые, не смогли бы снести ноши, легшей на их плечи.

С точки зрения Какурина, как знающего генштабиста, гражданская война коренным образом отличалась от прежних войн: на смену сплошным линиям фронтов, опоясанным проволокой траншеям и окопам пришли необъятные просторы с ежечасно меняющимися месторасположениями войск и с возможностями их обхода, охвата, неожиданного удара по флангам и тылам. Старые генералы, воспитанники царских академий, оставались в плену отживших традиций и собственного опыта. В первую мировую войну конница не имела самостоятельного значения, она предпочитала отсиживаться в тылу и уклоняться от боя. Заслугой таких командиров, как Котовский, было понимание роли кавалерии именно в условиях гражданской войны. Под их руководством родилось оперативное маневрирование огромными соединениями, войска получили желанный выход из позиционных тупиков пехоты, зарывшейся в землю. Кавалерийские соединения стали самостоятельно решать большие оперативные и стратегические задачи. Красные эскадроны и полки действовали исключительно активно, применяли широкий и гибкий маневр, нападали стремительно и внезапно. Они всегда искали боя и неизменно обращали в бегство более многочисленного, сильнее вооруженного противника.

Чего только не пробовали враги против молодой республики! Интервенцию и внутренние восстания, бандитизм и блокаду, террор и провокации. Все напрасно. Не о таких ли победах мечтали передовые русские офицеры в годы обидных поражений и всеобщего упадка? Не эти ли победы заставили их сломить свою вековую кастовую спесь и слиться со вчерашними сапожниками, слесарями, агро-

номами, под чьим водительством русская армия вновь вернула себе победоносные традиции?

Когда Котовский, потирая глаза, отложил газету, начальник штаба стал расспрашивать о первых боях с повстанцами, о впечатлениях о необычном противнике.

— Григорий Иванович, я укрепляюсь в мнении — и собираюсь докладывать об этом,— что здесь, в нынешней кампании, наши фронтовые методы совершенно непригодны. Во-первых, противник воюет дома, он превосходно пользуется местностью, мгновенно рассредоточивается, а во-вторых, мне думается, при всей многочисленности банд они не представляют собой целостного военного организма. Может быть, я ошибаюсь?

Собираясь с мыслями, Котовский нагнул голову. Полтора года назад по здешним местам прошел Деникин. Тогда, в очень трудные для Советской власти дни, мужик не принял белого генерала с его офицерскими полками, лишил своей поддержки. Для крестьянства Деникин был чужой. Но считает ли мужик своим Антонова? Здесь следовало задуматься поосновательней, чтобы не наломать в горячке дров. На первый взгляд кажется, что Антонов пользуется широкой поддержкой населения. Настолько широкой, что нынешней весной «мужичья Вандея» создала серьезную угрозу союзу рабочего класса с крестьянством. Однако, сколько это может продолжаться? Для победы недостаточно одного отрицания, необходимо что-то утверждать. Антонов объявил войну Советам. А что утверждает? Он называет себя «защитником трудового крестьянства», но в то же время обязался вернуть прежним хозяевам всю конфискованную землю. Он хочет угодить тем и другим. Но два арбуза в одной руке не удержать. Обещание вернуть землю прежним хозяевам делает его смертельным врагом мужика, того самого, который, как считается, составляет его силу. Где же выход? А его нет. Рано или поздно Антонов останется наедине со своей неутоленной

злобой. Без конца убегать и прятаться скоро надоест всем, для поддержания духа требуются победы, а у бандитов остались лишь расправы над мирным населением и пленными. Этим духа не поднимешь... Досадно, что в уездах здорово поработала антоновская пропаганда, но постепенно крестьянство узнаёт истинное положение дел, избавляется от неправильного представления о Советской власти. «Партизаны», оголодавшие в лесах, злые от неудач, надоели мужику хуже горькой редьки.

Выслушав, Какурин с одобрением кивнул. Добавляя к сказанному, он развил собственную мысль о восстании. Он считал, что Россия уездная и Россия городская всегда жили неодинаково — обитателями разных этажей одного большого дома. Всяческим наполеонам и наполеончикам сильно помогало то, что громкие события в городах долетали до уездов неузнаваемо искаженными, точно эхо от нескольких скал. Ну и к тому же непомерное честолюбие таких людей, как Махно, Григорьев, Антонов, Тютюнник,— мало ли их! — сумевших умело использовать трудности военной опустошительной поры. Но если взглянуть на все эти «вандеи» сверху, как бы с расстояния времени, то разве не теряют они сразу же своего устрашающего впечатления, не воспринимаются ли как всего лишь отдельные уездные бесчинства? Как военный человек Какурин был убежден, что разгром повстанцев — дело времени. Шансов на успех у них никаких. Страсти в республике отстоялись, все понемногу устанавливалось на свои места, и пусть еще кипятятся некоторые уезды, провозглашая всяческие доморощенные лозунги, чтобы оправдать самый обыкновенный разбой,— борьба с ними походит на последнюю приборку после огромной передряги.

Поднявшись из-за стола, начальник штаба подошел к висевшей на стене карте.

— За Козловом неспокойно. Между Борисоглебском и Серебряковской захвачена станция Алексиково. Движение

по железной дороге нарушено. Есть сведения, что действуют восставшие казаки станицы Урюпинской.

Сузив глаза, Григорий Иванович издали следил по карте. Дон, Хопер, как и Заволжье,— места тревожные, сильны позиции кулачества.

— Михаил Николаевич заслушал доклад начальника 10-й стрелковой дивизии Кауфельдта, у них неплохой опыт борьбы с бандитами в Воронежской губернии. Кроме того, распоряжением Дзержинского нам передаются 1-й, 2-й, 3-й полки Московской дивизии особого назначения ВЧК. В их составе — автобронеотряд имени Свердлова.

Автобронеотряды были новинкой в Красной Армии. Григорий Иванович много слышал о них, но на практике еще не сталкивался. Мысль вооружить машину пулеметом мелькнула у него после того досадного случая, когда они с «Вашим благородием» на «роллс-ройсе» едва не попали в лапы бандитов. Эх, будь бы тогда в автомобиле пулемет... Начальник штаба войск сказал, что у Федько на каждой автомашине по два пулемета. Это, так сказать, совершенствование тачанки (а вместе с тем и бронепоезда, поскольку район его действия сильно ограничен линией железной дороги). Автоброневой отряд войск ВЧК был создан еще в 1918 году при участии Свердлова и Дзержинского. Новинка зарекомендовала себя многообещающе: мощь пулеметного огня, скорость и широта маневрирования. Сейчас Федько ухватился за идею механизированных боевых соединений. У него 12 автомобилей «фиат», кузова обложены мешками с песком. В нынешней ситуации, когда главным козырем бандитских отрядов является необыкновенная подвижность, Тухачевский отводит бронеотрядам особую роль.

— Поезд командующего на станции,— сказал Какурин.— Мы отправляемся в Инжавино. Михаил Николаевич намерен создать особую группу под командованием Уборевича. Штаб работает над планом, чтобы не дать Антонову

укрыться на юге. Выкуривать его оттуда придется ценой больших потерь.

Потери... Григорий Иванович заметил, что антоновцы, надо признать, сражаются отчаянно. Особенное упорство проявляет командный состав — эти, как правило, бьются насмерть и в плен не сдаются.

Обдумывая услышанное, начальник штаба закурил и выдул вверх струю дыма. Курил он небрежно, словно для забавы, забирая в рот небольшие порции дыма.

— Мне недавно вспомнилось вот что. На фронте, зимой, солдаты где-то раздобыли ящик водки. Но, собственно, не в ящике дело,— это я отвлекаюсь. Меня поразило, что от мороза водка замерзла камнем. Представляете? Но даже и это не странно. Кто-то догадался расколоть эти бутылочные куски льда, и — что вы думаете? — внутри оказался чистый спирт. Под действием холода водка — как бы это сказать? — отжала, что ли, от себя все самое крепкое, самое неподдающееся. И вот я думаю, что то же самое происходит сейчас у Антонова. Тот, кто не потерял надежды на пощаду, тот ищет случая сдаться. Остаются те, кому надеяться не на что. Самые отпетые. И они-то будут идти до конца. Тут никаких иллюзий.

Расстегнув сумку, Григорий Иванович достал два сложенных пополам листа бумаги, быстро взглянул на тот и другой и один из них положил на стол. Какурин, держа папиросу на отлете, стал читать. Брови его сразу же поднялись. В руках у него была антоновская листовка, обращение к красноармейцам, крик отчаяния, предчувствия близкой гибели.

«Мобилизованные красноармейцы!

Прочь свое несознание. Прочь свои подлые действия по отношению к крестьянству, а в особенности к восставшим. Время вам сознаться и опомниться в своих негодных поступках. Выступая в борьбе против крестьянских восстаний, вместе с коммунистами, людьми большей части уго-

ловными преступниками и шарлатанами, Вы наводите народный гнев на себя. Разве ваши отцы, братья и семейства находятся не при таких же условиях, как повстанческое крестьянство, всячески теснимые коммунистами и советами?

...Народная Партизанская армия заявляет Вам в последний раз и навсегда: покидайте ряды красной армии и идите домой с оружием в руках, создавайте партизанские отряды и сбрасывайте коммунистическое иго.

Время настало крикнуть: долой коммунистов. Долой подлые Советы. Да здравствует свободная Россия. Да здравствует народная армия, да здравствует учредительное собрание».

Начальник штаба достал папку, полную вырезок, бумаг, заметок, и спрятал в нее листовку. В те дни, пользуясь каждой свободной минутой, Николай Евгеньевич Какурин работал над большой книгой «Как сражалась Революция».

Пока начальник штаба читал листовку, Григорий Иванович незаметно достал массивные золотые часы, щелкнул крышкой. Какурин, не прерывая чтения, произнес:

— Не беспокойтесь. К Михаилу Николаевичу можно заходить в любое время.

Спрятав папку в ящик стола, он заметил в руках Котовского другой листок.

— Давайте, Григорий Иванович, что там у вас еще?

Дело касалось предстоящей демобилизации бойцов. По всем эскадронам прошли собрания, бойцы просили командование отложить демобилизацию до окончательного разгрома Антонова. О желании бойцов было доложено наверх.

— Штаб рассмотрел этот вопрос,— сказал Какурин и поднялся.— Я имею распоряжение командующего демобилизацию отложить. Больше того, Михаил Николаевич приказал объявить бойцам благодарность.

— Николай Евгеньевич, у нас мысль — остаться и после армии всем вместе. Разве мало брошенных имений на Украине? Демобилизуемся, выберем какое-нибудь и будем жить коммуной.

Разговор на эту тему начальник штаба мягко отвел:

— Григорий Иванович, для этого еще будет время *.

Узкая деревянная лестница вела на второй этаж. Здесь начальник штаба расстался с Котовским.

— Как Ольга Петровна? — спросил он неслужебным тоном, затягивая рукопожатие.— Думаю, что скоро буду иметь удовольствие поздравить вас?

Котовский широко, простецки ухмыльнулся:

— Да никуда, выходит, не денешься,— такое дело!..

Со стола командующего до самого пола свешивалось огромное полотнище карты (на угол уже успел кто-то наступить — виднелся след). Котовский разглядел, что в стопке книг, которыми была придавлена разостланная карта, сверху лежали «Стратегия» Михневича и «Прикладная тактика» Безрукова. Валялся свежий номер журнала «Армия и революция» — этот номер Григорий Иванович видел недавно в руках комиссара Борисова. (Комиссар систематически читал все новое, свежее и требовал этого от других. Котовский сам слышал, как он втолковывал Глебу Поливанову: «Ты храбрей всех, но учти, что буржуи народ головастый и с ними одной храбростью много не навоюешь».)

Командующий удивил Котовского молодостью и какой-то неуловимой молодцеватостью в выправке, какая отличает гвардейцев. Как всегда при встрече с людьми, молодость которых совпала с революцией, Григорий Иванович

---

* Замысел котовцев основать коммуну удалось осуществить в августе 1924 года.

испытал нечто похожее на зависть. Судьба была милостива к ним,— в октябре семнадцатого года они находились примерно в том возрасте, в каком он получил свой первый тюремный приговор.

Михаил Николаевич Тухачевский происходил из дворян Смоленской губернии. Офицер привилегированного Семеновского полка, он был, однако, в числе тех, кто с радостью воспринял октябрьский выстрел «Авроры». За плечами молодого офицера были фронт (шесть наград за храбрость), немецкий плен (четыре неудачных побега и заточение в крепость) и долгое возвращение на родину из-за границы. В Швейцарии, в Берне, по инициативе Владимира Ильича была создана комиссия содействия русским пленным. С помощью этой комиссии Михаил Николаевич, совершивший пятый, наконец-то удачный, побег из крепости, добрался домой: через Париж, Лондон, Норвегию, Швецию, Финляндию.

В Россию Тухачевский вернулся в разгар революционных событий. Чуткий к нуждам солдат, он пошел за партией, единственной из всех, кто защищал интересы фронтовиков (знание солдата было вообще «коньком» Тухачевского). Бывший гвардеец стал работать в военном отделе ВЦИК, плечом к плечу со Свердловым, Дзержинским, Подвойским, Антоновым-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко. Молодым военспецом заинтересовался Владимир Ильич. Результатом долгой беседы с вождем революции было назначение Тухачевского на Восточный фронт, командующим 1-й армией.

В короткий срок в тяжелых условиях сибирской зимы молодой командующий создал из разрозненных, плохо одетых и вооруженных полков боевую ударную армию. Бывали минуты, когда он сам появлялся в цепи атакующих с винтовкой в руках.

Разгром Колчака, победы над отборными офицерскими дивизиями Деникина и Краснова, наконец, Западный

фронт. Как военачальник Михаил Николаевич Тухачевский занимал одно из первых мест в вооруженных силах молодой республики Советов.

Два месяца назад партия поручила Тухачевскому разгром кронштадтского мятежа. После воинского парада на Красной площади в честь участников боев с кронштадтскими мятежниками, после участия в работе X съезда партии Михаил Николаевич принял новое назначение — возглавить борьбу с мятежом Антонова.

За раскрытым окном с занавесками раздалось кряканье автомобильного гудка, Григорий Иванович узнал голос «роллс-ройса». Видимо, к машине сбежались изнывающие от любопытства ребятишки.

На правой щеке командующего, на припухшей родинке, виднелся свежий бритвенный порез, заклеенный бумажным клочком,— след утренней торопливости.

Устроившись с локтями на столе, на разостланной карте, командующий снизу вверх, от стола, взглядывал на Котовского и задавал точные, конкретные вопросы. В бою под Шереметьевкой бандиты понесли огромные потери. Полагает ли Котовский, что повстанцы и в дальнейшем не станут считаться ни с какими жертвами?

Ожидая ответа, молодой, удивительно молодой, командующий дунул на карту и махнул рукой, сметая какой-то незначительный бумажный лоскуток.

На взгляд Котовского, Антонов сейчас в панике и, как всякий бандит, будет цепляться за малейшую возможность прожить лишний день. Чужие жизни для него никогда ничего не значили, а уж сейчас — тем более. Чего-чего, а крови эта публика не боится,— уркачи отчаянные...

Тюремное словечко, невзначай сорвавшееся с языка, заставило Котовского умолкнуть. Опять проскочило!.. Сразу стал тугим ворот гимнастерки, на лице появилось умоляющее выражение. Командующий бросил карандаш на карту и расслабленно, с улыбкой откинулся. Сейчас

это были не начальник с подчиненным, а просто два старых товарища.

— Григорий Иванович, вы, кажется, в одесской тюрьме сидели? Одесса...— командующий вздохнул.— У меня ординарец был, великолепный парень. Убило под Бугульмой. Одессит. Ударит себя в грудь и: «Та шоб я не дошел до того места, куда иду!»

Певучий южный говорок удался командующему так похоже, что Григорий Иванович засмеялся.

— Это наш.

В Москве, перед тем как отправиться в Тамбов, Тухачевский просмотрел все скопившиеся по восстанию материалы. Он нашел, что укоренившийся на антоновщину взгляд страдает однобокостью. Установлено, например, что вооруженная сила повстанцев составляет около пятидесяти тысяч человек. Что же, все они кулаки и уголовники? Такого количества преступников и кулачья, пожалуй, не набрать и с нескольких губерний.

— Если бы одна уголовка работала,— подтвердил Котовский,— и разговор был бы другой. Мужик озлился: хлеб гребли по три, по четыре раза. Да еще с оркестром.

— Кстати,— спросил командующий,— удалось выяснить, каким образом в руки бандитов попал приказ штаба бригады?

Напоминание было неприятным. Григорий Иванович ответил, что расследованием того случая занимался особый отдел бригады. Установлено, штабной документ не был «добыт», как этого опасались,— просто бандитская засада схватила нарочного с пакетом. То был первый красноармеец, попавший в лапы антоновцев. Изуродованное тело бойца потом с трудом опознали.

Командующий поднялся. Над его головой висел портрет Ленина. Тухачевский, раздумывая, смотрел под ноги.

— Мне докладывали, губерния обескровлена в смысле людском, партийном. В восемнадцатом году для Южного

фронта сформировали две дивизии. Ушли и погибли лучшие люди, кадры. Полторы тысячи большевиков...

Он прошел к окну, завел руки за спину. На улице сухой ветер нес пыль и мусор.

— Неприятные известия, Григорий Иванович,— мрачно проговорил он, не оборачиваясь.— Совсем свежие: во Владивостоке мятеж... Японцы, какие-то братья Меркуловы...

Слова его ронялись трудно, с перерывами, точно вынужденное признание.

Помолчали, каждый обдумывал последнюю тревожную новость. Дальше командующий заговорил уверенно. Во всех, казалось бы, стихийно возникавших беспорядках в разных концах республики он видел единую руку, один хорошо продуманный план. Не случайно почти день в день с дальневосточными событиями границу с Польшей перешли отлично вооруженные банды Тютюнника, Савинкова, Булак-Балаховича. Это при наличии такого очага в самом центре, как антоновский мятеж!

Поправив занавеску на окне, командующий прикрыл створку и медленно вернулся к столу.

На днях из Москвы по поручению Ленина звонил заместитель председателя Реввоенсовета Склянский. Владимир Ильич в нетерпении: как, все еще не поймали Антонова?

— Нам отпустили месяц.— Командующий обеими руками пристукнул по карте.— Немыслимо короткий срок! Сейчас это уже видно... Григорий Иванович, у вас опыт борьбы с Махно, на Украине. Мы обязаны... понимаете, обязаны... не затягивать. Ну, может быть, чуть-чуть.

— Михаил Николаевич, на Украине степь, там они как на ладони. Здесь лес, это труднее.

— У воронежцев сразу пошло дело, когда они привлекли само население.

— И мы,— кивнул Котовский.— Мужик не воевать

должен, а работать. Я обязал начальников посевных участков докладывать в штаб ежедневно. Люди, лошади, повозки...

— Мне кажется, толку будет больше, если помощь населению оказывать не по капле: один боец, два, а коллективно. Что-нибудь вроде ленинских субботников? — Командующий не приказывал, а как бы советовался.

Котовский наклонил голову, подумал.

— Учтем.

Он был слегка уязвлен. Вроде бы мелочь, пустяк, а не додумались же сами! Конечно, на работу в поле следует выходить артельно: и толку в самом деле больше, и, так сказать, наглядности.

Командующий сказал, что в Тамбове сейчас раскрывается картина большого, тщательно законспирированного подполья. Организация эсеров обнаружена в губвоенкомате, на железной дороге,— дело поставлено широко.

Котовский вспомнил: а овес пополам со стеклом, а сбитые бойки наганов?..

И все же жестокие меры, допущенные в самом начале борьбы с восстанием, претили Тухачевскому. «Жестокость вообще свидетельствует о бессилии!» Он распорядился отпустить из тюрьмы более восьмисот мужиков, арестованных по подозрению в помощи бандитам. Освобожденные избрали шесть человек ходоков и отрядили их в Москву, к Ленину.

— Я позвонил, чтобы им помогли попасть к Владимиру Ильичу.

С заложенными за спину руками молодой командующий прошелся, на его опущенном лице блуждала задумчивая улыбка.

— Я вспоминаю: однажды у Ленина спросили, как быть с пленными французскими солдатами. Владимир Ильич ответил кратко: «Одеть и накормить!» А ведь то были интервенты, чужие... Конечно, с оголтелыми банди-

тами разговор может быть только один. Но валить всех в одну кучу нельзя. Преступно!

Ленин... Котовскому не довелось ни видеться, ни разговаривать с вождем революции. Но он знал многих, чья жизнь и работа проходили рядом с Лениным, по его примеру и под его непосредственным руководством. Соратники вождя, они оставались с ним, когда отпадали сотни сломавшихся, но оставшиеся были словно из железа, и теперь как раз ими были сильны партия и армия. Эти люди всегда умели видеть многое раньше других, дальше других они глядели и сейчас. Тухачевский принимал участие в работе X съезда партии, слышал все выступления вождя и считал, что постановления партийного съезда, выступления Ленина раскроют глаза обманутому крестьянству, прорубят в сознании затурканного мужика прямые и ясные просеки. Скоро Антонов окажется без поддержки середняка, с ним останется один кулак с его злобой и отчаянием, и руководители восстания почувствуют себя чужаками на своей, казалось бы, родной, но отрекшейся от них земле.

Штаб войск Тамбовской губернии и Особая правительственная комиссия разработали план восстановления порядка в уездах, объявленных на чрезвычайном положении. Район восстания охватывается железным кольцом. В деревнях создаются ревкомы, вооруженная милиция. Укрепляя Советскую власть, вылавливая бандитов и отбирая оружие, они каждую минуту должны помнить о главном — разъяснять крестьянам новые решения партии, новые декреты. А через несколько дней будут опубликованы приказы о явке с повинной. До указанного срока каждый повстанец может выйти из леса, сдать оружие и вернуться к своему привычному труду.

И все же прежде, чем за работу возьмется плуг, необходимо действовать мечу. Войска губернии должны уничтожать антоновские полки, мешать карты повстанческого

штаба, не выпускать бандитские соединения из Тамбовщины, преследовать их по пятам, прижимать к рекам, вынуждать к открытому бою.

Сделав приглашающий жест, Тухачевский склонился над картой:

— Вы правы, Григорий Иванович, лес на руку мятежникам. Но если мы позволим Антонову окопаться в его «южной крепости», то не управимся и до зимы. Нужно не дать ему сесть в осаду. Не дать!.. Смотрите, путей, которыми бандиты отступают, немного. Родилась идея использовать бронеотряды на перехвате.

Карандаш командующего обозначил на карте губернии замкнутый треугольник.

— Бронеотряды выдвигаются заранее и седлают дороги: здесь, здесь и здесь. Прошу вас продумать следующий вариант: встреченная пулеметами в упор, вся армия повстанцев неминуемо повернет назад.— Тухачевский энергично двинул плашмя положенным карандашом.— Следовательно, вам придется выдержать массированный и, надо признать, отчаянный удар. Очень отчаянный!

Зная, что Котовский не выносит мелочной опеки (а дай ему самостоятельность — расшибется, но сделает!), командующий замолк. Комбриг, вглядываясь в треугольник, посапывал и проводил ладонью по бритой голове от лба к затылку и обратно.

Словно смягчая задачу, командующий добавил:

— Лес, я понимаю, неподходящее место для кавалерии.

— Да... они шарахнутся,— проговорил комбриг как бы для одного себя. Потом он очнулся от раздумий и твердо посмотрел в ожидающие глаза Тухачевского.— Ничего, пускай. Пускай шарахаются.

...Напоследок он достал список заготовленных Юцевичем требований, а остаток дня провел в штабе, уточняя детали передислокации и взаимодействия с соседями.

Глава двенадцатая

К радости штаб-трубача Кольки, передислокация сил бригады вынуждала Криворучко с двумя эскадронами своего полка на несколько дней остановиться в Шевыревке.

Для размещения прибывших пришлось потесниться. Шевыревка походила на большой военный лагерь. В деревне пахло лошадьми, сукном, ремнями — сложный запах крупных кавалерийских соединений. Деревенские дворы, забитые повозками и лошадьми, стояли раскрытыми настежь.

Семен Зацепа с Колькой поместились у Ельцовых. Тесновато было, но Колька успокоил хозяев:

— Мы на природе спать любим, в избу не полезем.

Каждое утро, очень рано, звонкая труба играла подъем, и вместе с полуголыми бойцами на луг напротив штаба бежали и деревенские смотреть диковинное представление — эскадронный Девятый, щеголяя пушечным голосищем, нараспев заводил: «И-и... раз!» — и по его команде неровные ряды разом приседали, дружно взмахивали голыми руками.

Милкин, приучившийся вскакивать с первыми звуками трубы, тоном знатока пояснял соседям:

— Кровь полируют. Надо понимать, чтоб жир не завязался.

За последние дни Милкину удалось завести знакомства среди бойцов, и перед односельчанами он держался по-козырному. Заметив, что Мартынов и Мамаев охотничьими глазами поглядывают на Настю Водовозову, дочь Ивана Михайловича, он сразу же предупредил парней, что тут дело безнадежное, девка блюдет себя, как положено, и вызвался свести дружков к Фиске-самогонщице, свел украдкой, чтобы никто не засек, и теперь чувствовал себя человеком, владеющим военным секретом.

Была у Милкина еще одна слабость — здороваться с командирами, часто бывавшими в штабе. За несколько шагов он с каким-то вывертом сгибался и брал свой истрепанный картузик наотлет. В ответ командиры четко подбрасывали руку к козырьку. Церемония воинского приветствия доставляла Милкину такое наслаждение, что одним и тем же людям он старался попадать на глаза по нескольку раз в день. Все повторялось так, как ему нравилось, один лишь Криворучко, имевший цепкую память на лица, начал проявлять сердитое недоумение и оглядываться. И Милкин испугался. От Мамаева с Мартыновым он слышал, какой кавалерист и командир этот страшноватый человек, с усами и большим упрямым носом. Что и говорить, мужик приметный!.. А вскоре произошло событие, заставившее Милкина испугаться еще больше, и он стал прятаться от Криворучко: ему казалось, твердый взгляд комполка пронизывает его насквозь и видит, что это именно он свел забубенных парней Мамаева и Мартынова к беспутной самогонщице Фиске.

Бывшему трубачу Самохину в Шевыревке не повезло: квартировать ему выпало у Миловановых, и от неуютности он уходил на бревна к путятинскому дому, расстегивал гармонь и принимался тыкать пальцем в пуговицы, разучивая «Хаз-Булат удалой». Однажды он услышал голос хозяйки, поднял голову, вгляделся, и сердце у него упало: горластая, скандальная Милованиха гналась по огороду за человеком в военной кавалерийской форме. Человек убегал и тащил в руке курицу со свернутой головой. Хозяйская собачка, лежавшая у ног Самохина, вскочила, тоже бросилась вдогонку, залилась обрадованным лаем. В убегавшем с курицей бойце Самохин узнал Мамаева и сразу же подумал: доигрался!

Позорная погоня, причитанья Милованихи, лай Шарика — все это не могло остаться незамеченным. Стыд-то, стыд какой от всех!

— Брось! — закричал Самохин и затопал сапогами.

Мамай его не слышал, да и не мог услышать.

Оставив на бревнах гармонь, Самохин кинулся наперехват и снова закричал:

— Брось! Брось, говорю тебе!..

Под лай собаки и бабий голос он быстро настиг беглеца, схватил за плечо.

— Да стой ты!

Бледный, обезумевший Мамай ударил его наотмашь.

— Уйди! Убью! — заорал он, выкатив глаза.

«Совсем рехнулся!» — пожалел его Самохин.

Рассудок, видимо, вернулся к Мамаю, он остановился, увидел курицу в своих руках, и его стала бить мелкая неудержимая дрожь. Подбежали еще бойцы, налетела распатлаченная Милованиха.

Всю дорогу к штабу Мамай не обращал внимания на Милованиху, которая, торжествуя, колотила его курицей по голове.

Бойцы, ввалившиеся в штаб, остались у порога, вытолкнули Мамаева вперед. Из-за стола поднялись Юцевич и Борисов. Позорный случай! Давно такого не бывало!

— Все, товарищи, идите,— распорядился Борисов.

Неловко переминаясь, бойцы вышли на крыльцо. Ну не дурак ли? Надо же — на курицу польстился!

На них снизу вверх смотрел бледный, запыхавшийся от бега Мартынов.

— Ну... что там, братцы?

Никто ему не ответил, никто на него не посмотрел. Знали все: где один, там и другой, значит, и теперь гуляли вместе.

Альфред Тукс ткнул в него свой твердый честный взгляд:

— Ты куда смотрел, дурак? Ты на девку смотрел? Да?

Мартынов заозирался:

— Какую девку? Чего ты мелешь?

— Ее зовут Фиска. Ты думаешь, я слепой?

— Катись ты, слушай!..— махнул Мартынов и остался ждать у штаба.

Он был ошеломлен случившимся. Еще недавно они гуляли у Фиски-самогонщицы, в ее избушке с завешенными для предосторожности окошками, и он снова убеждался, как неотразимо действует на баб вся властная повадка Мамая. Вот уж кто никогда не стелился перед ними, не обольщал! Бабы сами обычно счастливы были считать его своим хозяином... Дернуло же Фиску за язык! «Вот тебе, пополам да надвое! — пропела она, поедая Мамая глазами.— Что же вы, граждане-товарищи, какую куру не заарестовали на закуску?» Тут Мамай и поднялся (неловко ему стало, что ли, что пришли с пустыми руками?): «Сейчас мы кое на кого контрибуцию наложим...» И ушел. Наложил контрибуцию! Что теперь будет с ним, что будет?

В штаб бурей ворвался Криворучко. Позор в первую очередь ложился на полк.

— Ты что, голодней всех, а? Или мы все жрем в три глотки, а ты один такой, а? Или тебе больше всех надо? Да мы за это бандитов шлепаем, а ты... Ты понимаешь, нет? Что ты молчишь, бандитская морда?

Он схватил Мамая за грудь, посыпались пуговицы, стал срывать с него портупею, ремень, бросил все на пол, неистово топтал ногами.

— Так знай вот — нету пощады! Не будет. Все тебя ненавидят, когда ты так с нами... Все! Весь полк!.. За грязь такую, за... Да что с ним говорить? Нету ему больше моих слов! Все!

Мамай стоял растерзанный, в распущенной гимнастерке, одним видом напоминая чужого, отверженного всеми. Низко-низко опустил он свою беспутную голову. В его кудрях, в сберегаемом для девок чубе позорной уликой застряло пестрое куриное перо. Криворучко знал его, по-

пожалуй, как никого другого из своего полка. Лихой был парень, выдающийся, но все же что-то постоянно настораживало в нем. Мамаев понимал, что в боевое время человек ценится по тому, как ведет себя в бою, и он сознавал свою цену и позволял себе многое, не сомневаясь, что на войне, когда люди живут из боя в бой, командиры вынуждены кое на что смотреть сквозь пальцы. Нынешней зимой в Умани для них с Мартыновым настало пресное существование, и оба с радостью узнали о приказе выступать в Тамбовскую губернию.

Молчание висело тяжело, невыносимо тяжело.

— Батько,— прошептал Мамай, не поднимая головы,— дай мне наган. Наган с одним патроном... Или я не заслужил?..

Что-то дрогнуло в лице Криворучко, тяжело ступая, он приблизился к виновному вплотную:

— Ты думаешь, мы тебя за чуб за твой, за красоту выделяли? — пальцем подкинул спутанные волосы над лбом Мамая и брезгливо проследил, как на пол, кружась, полетело стронутое куриное перышко.— Потому и считали тебя... А теперь — сам знаешь, не маленький. В трибунал пойдешь. Что заработал, то и получишь. Никакого для тебя нагана! Понял? Ни одного патрона не стоишь. Сами шлепнем перед строем, чтобы все видели.

Наступила минута, когда вроде бы все было сказано. Внезапно Юцевич, за ним Борисов, а там и остальные расслышали, что на улице происходит что-то необычное,— восторженно визжали ребятишки... Все подались к окну, Юцевич полез выглянуть.

— Машина! — провозгласил он.— Григорь Иваныч вернулся!

Каждый, кто находился в штабе, почувствовал невыразимое облегчение. За происшествием как-то совсем забыли о комбриге. А теперь и груз с плеч,— сам приехал!

В отличие от Криворучко, комбриг не бушевал, не тряс виновника за грудь. Едва ему принесли бумагу из трибунала, он быстро пробежал ее, на мгновение зажмурился, но тут же взял себя в руки и нашарил карандаш. Наблюдавший за ним Борисов понял, насколько тяжело сейчас Котовскому, оставленному наедине с его властью и ответственностью.

Понимает ли хоть кто-нибудь, как тяжела его ноша одного за всех? Чего от него ждут? Чуда избавления? Но не кудесник он, а всего лишь командир, а значит, не может, не имеет права позволить эскадронам и полкам превратиться в сброд расхлыстанных, не знающих никакого удержу людей. На войне гуманность имеет особый смысл: ради всех не жалеют одного, поэтому доброта командира немыслима без беспощадности.

Попасть под трибунал в военной обстановке — дело ясное.

Мамая, сидевшего в амбаре под караулом, жалели всей бригадой. Неужели из-за курицы пропадет человек? Ну, холку намять следует, чтоб неповадно было. Но не расстрел же! Жалко, Ольги Петровны нет...

Штаб-трубача Кольку по дороге к штабу перехватил Девятый. С непривычки замялся, снял фуражку, погладил себя по голове. Дипломатничать эскадронный не умел, да и не любил.

— Ну что, герой? Как там Григорь-то Иваныч?

— А что с ним? — удивился Колька.— Ничего. Нормально. Как всегда.

— Слушай, Кольк... Ты бы это самое, а? Словечко бы замолвил, а? За Мамая... Жалко, слушай, парня!

— Не подлизывайся! — отрезал Колька, не любивший эскадронного за грубость.— Вот я скажу Григорь Иванычу, как ты деда материшь.

— Какого еще деда? Ты что выдумываешь?

— Какого, какого!.. Герасима Петровича, вот какого! Матюкаешься, как лошадь какая.

— Да что ты, Кольк! Это ж я жалею его. Ведь пропадает дед. Будто сам не знаешь!

— Вот сам будешь старым, тогда поймешь! С горлом со своим...

— Все состаримся, Кольк, все там будем. Одни раньше, другие позже. А Мамая, слышь, жалко. Парень-то какой! Пятерых на него не поменяешь.

О Мамае Колька тоже думал и тоже жалел его, беспутного.

— Ладно, поговорю. Но вы, Владим Палыч, деда лучше бросьте!

— Об чем разговор!.. Кольк, я на бревнах сидеть буду, ты выйди, скажи. Ладно? Я ждать буду.

Комбрига Колька застал одного, в задумчивости. Григорий Иванович сидел грузно, состарившись, ворот расстегнут, под глазами опухло.

— Чего тебе? — строго спросил комбриг, но вид маленького подтянутого кавалериста смягчил его взгляд, он подманил мальчишку и обнял, зажал в коленях.

— Что, брат? Худо дело? — и сам себе ответил: — Совсем никуда.

Он не любил судов, трибуналов, и в особый отдел бригады, как правило, попадало ничтожно мало дел. «Гриша,— выговаривал ему со смехом Христофоров,— ты наш особотдел без хлеба оставляешь!» Но были преступления, которых комбриг не прощал никому. Он знал, с момента его возвращения из штаба войск в эскадронах царит глухое ожидание окончательной судьбы Мамаева. Однако именно потому, что перед лицом всей деревни, всей бригады приходилось судить своего, он утвердил приговор трибунала с тяжелым сердцем, но без колебаний. Со своего спрос строже.

— Григорь Иваныч...— осторожно приступил Колька.— Я сейчас с Девятым разговор имел.

— Ну, ну...

— За деда предупредил. Если, говорю, будешь материть...

— Слово-то! — поморщился комбриг.— Забывай ты их.

— А он? — Колька повернулся у него в коленях.

— Я вот с ним сам поговорю!

— Ему давно надо дать как следует. Подумаешь — командир!

— Он хороший командир,— заметил Котовский.

— А дед плачет! Я сам видел.

Григорий Иванович снова привлек к себе мальчишку, обнял, прикрыл глаза.

— Тут заплачешь. Ты Глеба-то не помнишь? Ну, так вот. Не хочешь, а заплачешь.

Покачиваясь вместе с Колькой, он прижимал его к себе, положив подбородок на голову мальчишки. Колька увидел на столе лист с приговором, осторожно вытянул шею — и сердце его екнуло: внизу листа, под скупыми строчками, стояла броская подпись комбрига. Уже подписал, утвердил!

Эскадронный Девятый, как и обещал, дожидался на бревнах. Проходили мимо бойцы, здоровались, а узнав, в чем дело, присаживались тоже. Набралось порядочно. Разговор шел об одном и том же — о Мамае. Обид на его вечную насмешливость уже никто не держал, наоборот, вспоминали только хорошее.

— Стоп! — скомандовал вдруг Девятый и поднял руку.— Замри теперь.

На крыльце штаба показался маленький трубач. Бойцы затаились.

С убитым видом Колька помотал головой: ничего не вышло.

— Я и раньше знал,— вздохнул Самохин.

— Знал ты, кацап! — напустился на него Мартынов.— Выслужиться захотел? Догонять он бросился! Ну догнал, поймал? А теперь что? Парня ни в одном бою не убили, а из-за тебя...

— А ты что хотел? Чтобы из-за вас, таких красивых, от нас весь народ откачнулся? Правильно я говорю, Владим Палыч? — Самохин повернулся к Девятому.

Эскадронный не отозвался. А черт его дери, этого Мамая! Куда смотрел, о чем думал?

В конце концов, осталась последняя надежда — комиссар. Подал ее рассудительный Самохин. Если удастся уговорить комиссара — считай, полдела сделано. Григорь Иваныч даже на Юцевича махнет рукой, а с комиссаром... Нет, если что еще и можно сделать для спасения Мамая, так только через комиссара! Придумывать что-либо другое — только время зря терять...

Борисов не считал себя ветераном бригады, однако то, что за недолгое время он достиг положения человека, к которому без боязни и смущения мог подойти поговорить любой боец, доставляло удовлетворение, о каком он мечтал в самом начале, когда узнал о назначении на место убитого Христофорова.

Утвердить себя в бригаде было сложно еще и потому, что состояла она, как и пополнялась, в основном из уроженцев Бессарабии. Добровольцы рвались к Котовскому, как к своему знаменитому земляку, и бригада помимо воинской дисциплины и боевой спайки была сильна еще и общностью землячества. Родина котовцев, Бессарабия, была захвачена румынами, и бойцы верили, что, расправившись со всеми врагами на фронтах республики, Котовский поведет их освобождать родную землю.

Отношение бойцов к Котовскому было без исключения одно — преклонение. Его имя, его славу они несли с сол-

датской гордостью: дескать, вот как высоко взлетают наши! Но в то же время каждый понимал, что человек, чье имя реет над головами словно знамя, далеко не ровня им и соваться к нему по разным житейским пустякам неловко, неуместно. Конечно, Григорь Иваныч выслушает и поможет, но ведь не только помощи хотелось, а и разговора, чтобы собеседник слушал и вникал, поматывал бы головой! Поэтому бойцы с большей охотой шли к Борисову. К комбригу — если уж прижмет и нету выхода. А так, поговорить, порассуждать без спешки — только к комиссару. Хотя вначале окающий вологодец Борисов выглядел среди них, южан, едва ли не иностранцем, чужаком. И вот этой своей доступностью, своей необходимостью для каждого, кто его знал, Борисов гордился как большой победой.

В бригаду он пришел в разгар боев с белополяками.

В середине дня Борисов пристроился на попутную обозную фуру. Навстречу ползли повозки с ранеными. Покалеченные люди, утихомиренно лежавшие на соломенных подстилках, как будто вышли из ада, где свирепствует железо, взметая землю и разрывая человеческое тело. По мере приближения к передовой воздух как бы сжимался и густел,— атмосфера, чреватая смертью.

Он думал, что судьба его вновь повернулась необычно: предстояло стать кавалеристом. Но он принял назначение с убежденностью, что как раз именно это и нужно сейчас. Понадобилось бы, он стал бы заготавливать дрова или ловить дезертиров, теперь же потребовалось сесть в седло и освоить все, что необходимо знать коннику боевой прославленной бригады.

В штабе дивизии, куда наконец добрался Борисов, гуляли свежие подробности небывалого боя, выдержанного котовцами вчерашним вечером. Дело, как рассказывали, случилось на реке. Пользуясь передышкой, кавалеристы купали коней, стирали бельишко. Отлогий песчаный берег был завален одеждой, седлами, оружием.

Неожиданно раздались беспорядочные выстрелы, люди бросились из воды. От села к реке полным карьером мчался дозорный. Оказалось, целый полк белополяков проскочил через фронт и налетел на село.

Одеваться и седлать коней не оставалось времени. Котовский схватил шашку и вскочил на Орлика. Голые, на мокрых лошадях бойцы ринулись за комбригом. Пленные потом признавались, что такой атаки они не видывали никогда,— вихрь раздетых, воющих людей на блестевших от купания неоседланных лошадях.

Налет на село стоил белополякам дорого: кавалеристы Котовского изрубили более четырехсот человек, остатки полка сдались в плен.

Штаб бригады Борисов застал в селе Ольшанке, под Таращей. За селом мирно поблескивала речушка,— видимо, там вчера и произошел этот диковинный бой.

Комбрига он нашел в аппаратной. Держась за плечо конопатого связиста, Котовский диктовал:

— К нам иазначен председателем особой продовольственной комиссии некто Смелянский, мальчишка, который не только не сможет довольствовать бригаду, но и поделить пищу трем свиньям!

«Крепко»,— сразу же подумал Борисов.

Почувствовав за спиной постороннего, Котовский умолк и повернул голову. Стук аппарата оборвался. Борисов взял под козырек и коротко доложил. Комбриг кивнул и, нажав на плечо связиста, закончил диктовку:

— Прошу вашего содействия в смещении его и назначении на этот пост серьезного работника.

Хмурый, словно невыспавшийся, комбриг представил комиссара работникам штаба и в нескольких словах обрисовал ему боевую обстановку. Бригада, имея справа 1-ю Конную Буденного, а слева дивизию Червонного казачества под командованием Примакова, развивает удар на Казатин, чтобы, согласно директиве комфронта, рассечь

киевскую и одесскую группировки противника. Бои тяжелые, люди обносились и голодают, конский состав устал. Противник остро маневрирует, ежедневно угрожая бригаде окружением. Растут потери. Вчера, например, в бою, так внезапно перебившем купание, смертельно ранен командир полка Макаренко. Сказав «смертельно», Котовский добавил, что Макаренко еще жив, находится в лазарете, сейчас они направятся туда вместе.

Походный лазарет бригады помещался в просторной хате, откуда вынесли все лишнее. Котовского и Борисова встретила миловидная женщина в косынке сестры милосердия. На быстрый вопросительный взгляд комбрига она молча покачала головой. Григорий Иванович медленно втянул в себя воздух. Борисову показалось, что женщина сейчас заплачет.

Умирающий лежал в чистой горнице на деревянной кровати. Снимая фуражки, входили незнакомые Борисову командиры. Здесь он увидел Иллариона Нягу, солидного Криворучко, статного, с резкими жестами осетина Маштаву, молодых военкомов полков Захарова и Данилова, стеснительно жавшихся в присутствии старших, более заслуженных товарищей.

Комиссара вежливо пропускали вперед, ближе к кровати, однако он держался поодаль, уступая место другим.

Пальцы Макаренко, привыкшие к литой рукоятке шашки и просмоленным ременным поводьям, перебирали краешек простыни с проступавшими пятнами крови. Лицо его заострялось, западало.

С улицы донеслось тоскливое конское ржание. Возле лазарета всю ночь дежурил ординарец Макаренко с лошадьми в поводу.

Раскрыв глаза, раненый обвел взглядом набившихся в горницу товарищей, на мгновение засек незнакомое лицо Борисова, но не остановился на нем, как человек, которому оставалось мало, слишком мало времени.

— Все, братцы, каюк...— сбивчиво заговорил он, и командиры подались к изголовью. Он повел глазами, нашел Криворучко.— Николай, полк тебе... О людях думай, будь хозяином. И еще... Григорь Иваныч,— позвал он и стал приподнимать ладонь. Комбриг наклонился, взял его руку.— Григорь Иваныч, думал я после войны... так вот ведь! — часто задышал, закрыл глаза.— Братцы, берегите друг дружку... Командира берегите... я всегда... И вы всегда...

Начинался бред. К кровати среди расступившихся командиров быстро прошла женщина в косынке сестры милосердия. Комбриг бережно положил руку умирающего и выпрямился. На его лицо лучше было не глядеть. Ему дали дорогу, он выскочил из хаты, прыгнул в седло и вскачь ударился по улице.

Похоронили Макаренко в отбитой у врага Тараще, с воинскими почестями, в городском саду. Осиротевший полк принял Криворучко.

...Первые впечатления Борисова о комбриге были противоречивы.

Разумеется, он сразу понял, что перед ним человек, жестоко мятый жизнью, сумевший уцелеть в небывало свирепой борьбе. И настоящий командир. Лишь впоследствии Борисов разгадал, что война для Котовского — занятие временное и нелюбимое (может быть, он благоволил к Юцевичу еще и оттого, что тот тоже был сугубо мирным, невоенным человеком), но в первые дни комбриг показался ему волевым и опытным вожаком бригады, настоящая военная косточка. Правда, Котовский мог еще сорваться в гневе, мог, не стесняясь в выражениях, распушить вышестоящий штаб за глупые, как ему казалось, приказы, мог прихвастнуть, из кожи вылезть, чтобы выглядеть лучше других, но в то же время он усваивал все крепче, что, командуя людьми, надо уметь командовать и собой.

Комиссар Христофоров терпеливо исполнял свои обязанности, помогая комбригу избавляться от остатков былой партизанщины, и под влиянием комиссара Котовский словно поднимался со ступеньки на ступеньку,— привыкал и думать и смотреть дальше, шире, глубже. Незаметно для самого себя он превращался из предводителя в командира.

Юцевич знал комбрига ближе, чем Борисов, на его глазах слетала с Котовского вся шелуха прошлого, и сквозь нее все явственней проступали могучие формы его незаурядной натуры. Колоритный человек! Начальник штаба уверенно относил Котовского к тем представителям русского народа, в которых наиболее полно выражен его несгибаемый характер и боевой дух. Октябрь семнадцатого года открыл таким людям долгожданную цель, и с тех пор вся их жизнь превратилась в подвиг.

Как комиссар бригады, Борисов никогда не считал, что своим высоким назначением он поставлен над подчиненными ему людьми. Он был в той счастливой поре, когда человек охотно всматривается, вдумывается, берет на заметку все, что происходит вокруг него, не стесняется учиться как раз у тех людей, которых, казалось бы, обязан учить сам.

Он хорошо помнил, как в один из первых своих дней в бригаде, когда обстановка на фронте менялась по нескольку раз в сутки и эскадронам приходилось маневрировать, то прорубаясь сквозь заслоны польской конницы, то отходя под натиском превосходящих сил,— в один из этих дней в штаб, спешно снимавшийся с места, прибежал заведующий клубом Канделенский и притащил с собой комиссара первого полка Данилова. Начхоз бригады, занимавшийся погрузкой имущества штаба, увидел их и сразу помрачнел, приготовился ругаться. Оказалось, Канделенский просил две повозки, начхоз отмахнулся и послал его подальше.

— Иди ты со своим клубом! Нашел тоже время. Ослеп? Не видишь, что делается!

— Мамочка родная! — всплеснул руками кругленький Канделенский и повернулся к Данилову.— Вот, слышали? А что я говорил?

Борисов уже знал, что комиссар первого полка со своей увлеченностью клубными постановками слыл в бригаде чудаком. (Что там Данилов, если даже у самого комбрига проскальзывала эта страсть!)

Обстановка никак не располагала к долгим спорам. И все же Данилов повернул к себе захлопотавшегося начхоза и среди суматохи, спешки прочитал ему целую лекцию. Сказал он примерно следующее. Да, положение на фронте покамест складывается так, что вроде бы не до пустяков, не до клуба. Люди гибнут — какой тут клуб! Но почему начхоз заранее хоронит всю бригаду? Ведь уцелевшие бойцы будут жить и дальше. Так вот, чтобы эти уцелевшие не превратились в живых покойников («Ходячие, а хуже мертвых будут!»), чтобы за время боев в них не засохла душа, чтобы они, как сильно выразился Данилов, «не скурвились», и надо дать повозки.

— Дай, дай, не жмись. Не для себя человек просит — для дела. Сейчас не понимаешь, потом поймешь. Не лезть же с каждым колесом к Григорию Иванычу!

«Ах, молодчина! — восхитился Борисов.— Вот тебе и чудак!»

В тот день он не только с новой стороны взглянул на комиссара первого полка,— отповедь Данилова скуповатому начхозу явилась для Борисова одной из тех истин, которые помогли ему постичь поразительный дух и жизнестойкость прославленной бригады, вжиться в ее боевой неповторимый быт, быстро уяснить свое главное назначение среди этих прокопченных пороховым дымом людей.

Своим комиссарским «хозяйством» Борисов считал бойцов бригады, и это хозяйство, сведенное в компактные,

безликие на первый взгляд эскадроны и полки, по мере того как он все ближе узнавал людей, не переставало доставлять ему ту радость открытия, какую испытал он при разговоре Данилова с начхозом.

Как и командир бригады, он проникся глубоким уважением к Криворучко, почитая его за самостоятельность, твердость и инициативу (последнее в нем особенно ценил Котовский). Правда, при всей своей отваге бывший вахмистр еще мог порою щегольнуть излишней лихостью, но в общем это шло у него от сознания, что врагу необходимо навязывать свою волю, свою манеру боя, следовательно, командир без инициативы — убийца своих бойцов.

Однажды Борисов стал свидетелем, как командир полка вступился за новичка, которого эскадронный Вальдман распекал за проявленную в первом бою трусость. Вальдман грозил проштрафившемуся трибуналом.

— А ну стой! — вмешался Криворучко.— Что ты его лаешь? Сообразить не можешь, что это перед тобой еще... так, сырое дерево? В трибунал! А ты лучше возьмись и выстругай из него человека. Понимаешь? Человека! — энергично сжал кулак.— Любишь ты на готовенькое, Гриша. А где их брать, готовых-то?

Новичка он повел с собой и в штабе, устало плюхнувшись на стул, спросил с самым серьезным выражением сочувствия:

— Ты почему в атаку-то не в ту сторону побежал? Перепутал, что ли?

Боец залился краской. Уж лучше бы его распекал эскадронный, лучше бы в трибунал! Он залепетал, что при первом же случае... в первом же бою... смоет кровью... не пожалеет жизни...

— О! — одобрил Криворучко.— В бой — это правильно. Только жизнью не бросайся. Ты нам живой нужен, а не мертвый.

На войне человек не может не испытывать чувства

страха. Это бывший вахмистр знал очень хорошо. Но лишь научившись преодолевать в себе животное чувство самосохранения, новичок поднимется вровень со своими обстрелянными соратниками, «выстругается» в настоящего солдата. А такое добывается только в бою. Вот почему Криворучко, как и комбриг, не терпел судов и трибуналов, считая, что бой — лучшее средство искупления вины. Бой, уверял он, делает из слабого сильного, из трусливого храбреца (конечно, в солдатском понимании храбрости).

Новичку он напоследок дал совет старого умелого солдата:

— Ты, когда бой, шибко за себя не беспокойся. Когда о себе одном думаешь — со страху лопнешь, по себе знаю. А ты за других, за товарищей болей. Увидишь, сразу легче станет. Ты его огнем прикроешь, он — тебя, вот и пойдет у вас дело...

Но, пожалев новичка, пощадив его самолюбие, Криворучко мог перед строем язвительно отчитать такого заслуженного человека, как своего заместителя Маштаву.

— И в кого ты у нас такой храбрый, ума не приложу! — издевательски выговаривал он отчаянному Маштаве, когда тот вместо руководства двумя втянутыми в бой эскадронами вдруг выхватил шашку, завизжал и кинулся в рубку.

Положив руку в перчатке на серебряную головку своей парадной шашки, Маштава свел орлиные брови, гневно глядел поверх головы компомка. Он был оскорблен выговором.

— У-у, аж пос побелел! Так тебе охота обозвать меня. Ну обзови, не томись. Дескать, такой и сякой...

— Личный пример не признаешь! — гортанно выкрикнул Маштава.

— Личный пример! Значит, мы здесь все шкурники, все трусы? Герой с дырой! Тебе дай волю, ты и Ленина в лаву пошлешь.

Маштава вспыхнул: — Сравнил!

— А что — сравнил? — загремел Криворучко.— Тебя для чего над людьми поставили? Чтобы ты со смертью за грудки хватался? Чего ты шашкой замахал? На победу зовешь? Ты их на смерть зовешь! А ты обязан без потерь воевать. Забыл?

— Ничего я не забыл,— отвернулся Маштава.— Охота поскорей, понимаешь, своими руками пощупать охота. Сам знаешь!

— Знаю, все знаю! Но у тебя их вон, два эскадрона, и каждому тоже охота своими руками добраться. Или они не такие храбрые, как ты? А-а, вот то-то! Значит, пойми меня правильно и не тряси губами. Бросать надо форсить, а воевать по-государственному. Голову дай, а не шашку! Смотри, снимать придется — стыда не оберешься. Тебя ж все знают!..

Разбираясь в своем многоликом «хозяйстве», Борисов быстро раскусил, что у грубияна Девятого удивительно отходчивый характер, под горячую руку он готов прибить провинившегося, но, если тот каялся, эскадронный тотчас остывал и потом долго испытывал перед бойцом огромную вину... Эскадронный Скутельник любил награды и не скрывал этого. Но он добивался, чтобы в первую очередь отмечали не его самого, а эскадрон. «Бойцом, бойцом хвались! — приговаривал он.— В одиночку беляка не расколотишь...» «Пулеметный бог» Слива, спасшись один раз от смерти буквально чудом, должен испытывать особый страх за жизнь, и можно было только догадываться, что́ стоило ему подавлять в себе это парализующее чувство... Вообще Борисов все больше убеждался, что и на войне человек может становиться лучше, чем был. («Или хуже,— возразил Юцевич.— Все зависит от того, как ему удавалось до поры до времени маскироваться». Они тогда заспорили и сошлись на том, что на войне человек весь наружу, ничего не скроешь.)

Люди, люди, люди... Сотни лиц, привычек, характеров... Но при всем том в руках такого командира, как Котовский, бригада представляла надежный, грозный инструмент войны.

Чем больше комиссар бригады узнавал Котовского, тем понятней для него становилась фанатичная преданность бойцов, готовых пойти за своим комбригом в огонь и в воду. Случалось, командир бригады мог быть сумасбродным, но никогда лукавым, бесчестным; на него можно было сердиться, обижаться, но не любить его — нельзя. Суховатый, замкнутый в строю, он на привале мог взять в руки кларнет и поднять бойцов в пляс подмывающей мелодией «жока» (а то и сам пуститься вместе с ними!). Мягкий, доверчивый к людям, он до самозабвения любил детей, мучительно переживал гибель бойцов (хотя тщательно скрывал это под личиной каменной невозмутимости), жалел несчастного Герасима Петровича и незаметно защищал его от Девятого. Но беззащитный перед слабостью ребенка или старика, он мог собственноручно расстрелять мародера, шкурника,— здесь рука Котовского не дрогнет никогда, будь перед ним хоть самый близкий человек. Как ему ни жаль провинившегося, он ни за что не сделает исключения в своей суровой командирской практике, настолько незыблемым стало у него выработанное за годы войны чувство долга и ответственности за бригаду.

К удивлению бойцов, просьба вступиться за позорно оскандалившегося Мамая оказалась настолько неприятной комиссару, что он впервые не дослушал их до конца и ударил по столу. Таким они его еще не видели.

— Кто это придумал? Ты? — Борисов ткнул в Самохина.

Глядя на пошедшее пятнами лицо комиссара, Самохин растерялся:

— Петр Александрыч, все... общественно решили.

— Добренького ищете, да? Я, значит, хороший, а командир бригады злой? Так?.. Не пойдет! — снова рукой по столу, ну точь-в-точь как сам Котовский! — Читали, как о нас бандиты пишут? Они стращают нами. А вы? Что, Мамаев не знал об этом? Знал! Все знали! Еще и предупреждали... Идите,— он словно устал сердиться.— Идите, и чтоб я больше не слыхал. На то и трибунал, на то и порядок в армии, чтоб... Идите! Нету сейчас добреньких, сами понимать должны...

Выпроводив обескураженных просителей, он еще долго расхаживал по комнате и время от времени с досадой бил кулаком себя в ладонь. В любом другом случае он никогда не позволил бы себе так позорно сорваться (и укорил бы за это всякого другого), но сейчас он совершенно неожиданно ощутил себя в унизительном положении человека, от которого деликатно ждут, что он вернет давнишний, почти совсем забытый долг, должок. Успокоившись, он осудил себя за вспышку, тем более что бойцы конечно же и в мыслях не имели делать какие-либо намеки, и все же сама попытка заручиться его поддержкой невольно воспринималась им как напоминание о днях, когда он, еще совсем необстрелянный комиссар, только-только начинал обживаться в бригаде.

Лето тогда для бригады выдалось горячее. Бойцы, злые, терпеливые при отходах и страшные в натиске, проламывали сопротивление врага и целились на границу, проходившую по реке Збруч. Комбриг был с передовыми эскадронами, ходил с бойцами в атаку, спал на земле, завернувшись в бурку. По урывочным донесениям, поступавшим в штаб, Юцевич прокладывал на карте путь бригады и покачивал многоопытной головой: фронтовая обстановка не нравилась ему все больше.

В ходе горячего наступления между частями 45-й дивизии и правым флангом 14-й армии стал постепенно на-

мечаться разрыв. Противник был бы круглым дураком, если бы не воспользовался счастливой возможностью зайти в тыл. Впрочем, угрозу окружения Котовский чувствовал все время. «На меня все время наседают слева,— сообщал он Юцевичу.— Отбиваюсь и продолжаю двигаться». Самому Юцевичу со штабом опасность грозила в Любаре.

Дураком себя противник не показал. Когда бригада овладела Изяславлем, обнаружилось, что с тыла она отрезана. Штаб, обозы, госпиталь — все сгрудилось в маленьком городишке. С окраин целыми днями, от зари до зари, доносились звуки боя — там эскадроны пытались выправить угрожающее положение. Комбриг, надеясь проломить дорогу из кольца массированным огнем, торопил Юцевича с формированием артиллерии. Для добывания упряжных лошадей он приказывал не жалеть соли и сахара (в обмен у населения).

В непрерывных боях бригада несла потери. 24 июня тяжело ранило Иллариона Нягу. Занятый по горло, комбриг не нашел времени проститься со старым другом и соратником (больше он Нягу не видел; похоронили Иллариона в той же Тараще, рядом с Макаренко). 6 июля в бою под Антонинами получил рану Криворучко, но превозмог себя и остался в строю. Кольцо окружения продолжало сжиматься. Кажется, наступил момент, когда любое усилие врага может оказаться для бригады роковым.

В этот день над расположением бригады появился аэроплан. Бойцы открыли стрельбу из винтовок. Летчик сбросил несколько гранат, затем снизился чуть не до крыш и выкинул какой-то пакет. Там оказалась записка Котовскому. Комбригу предлагалось перейти на сторону поляков, в противном случае его убьют специально подосланные люди.

— Пускай они свою бабушку пугают! — рявкнул комбриг, когда Юцевич посоветовал ему на всякий случай взять охрану.— Я среди своих. Вон моя охрана! — и махнул на раскрытое окно.

В помещении штаба собирались сумрачные командиры. Котовский крупными шагами ходил из угла в угол, на его осунувшемся лице вспухали желваки. Юцевич за столом делал вид, что готовит бумаги. На стуле в углу, слегка раскачиваясь и закрыв глаза, сидел Криворучко с перебинтованной головой. Одни воробьи за окном, не делая никаких скидок на войну, возились по своим мелким делишкам.

О том, в какой переплет попала бригада, много говорить не приходилось. Борисов едва не вспыхнул и не наговорил комбригу дерзостей, когда тот, отдавая распоряжения насчет завтрашнего боя на прорыв, вдруг представил необстрелянному комиссару вполне благовидную возможность уклониться от участия в атаке. Бой предвиделся жестокий: кто кого? Потом Борисов пожалел: зря не вспылил! В самом деле, что за оскорбительное предложение? У него уже налаживались отношения с бойцами, но он чувствовал в своем положении комиссара один изъян — он еще ни разу не ходил с ними в атаку, не был рядом с ними в лаве. Он знал, сама атака обычно занимает мало времени, но это время так насыщено, что секунды там не мелькают, а начинаются и кончаются, умещая в себе много, очень много. Недаром после сшибания с лавой противника бойцы отходят, точно после беспамятства. Но если раньше участвовать в атаках ему просто не представлялось случая, то теперь, когда вся бригада готовилась к прорыву, его место было в первых рядах. Иначе бойцы посчитают, что он балаболка, а не комиссар. (Высокие слова о Родине и долге Борисов не часто употреблял. Вся жизнь бойцов проходила под знаменем, оно осеняло все их мысли и усилия, следовательно, у кого, у кого, а у них-то чувство Родины и долга в самой крови!)

Короткая июльская ночь походила на затишье перед грозой. Каждый в одиночку кормил коня, в темноте что-то шептал ему, наглаживал по шее. Кони поворачивали

длинные умные головы и, хрумкая, смотрели на проходившего комиссара. Борисов замечал вповалку лежавших на земле бойцов, кое-где тлели угли прогоревшего костра.

— Лошадь погладишь, потом неделю руки пахнут! — расслышал он чей-то голос.— А у тебя? Керосин один. Тьфу!

Это спорили на свою извечную тему ординарец комбрига Черныш и «Ваше благородие», шофер трофейного «роллс-ройса». Вокруг них сидело несколько человек, слушали, коротали время.

Комиссар, не мешая, остановился поодаль.

Великий знаток лошадиной психологии, Черныш доказывал, что лошади ничем не отличаются от людей. Он знал в бригаде лошадей вежливых и застенчивых, хитрых и жуликоватых, грубых и настоящих матерщинников. Хамоватый жеребец ходит под седлом у Девятого,— ну, да у того другого и быть не может! Спокойная лошадь у Самохина, задумчив и нетороплив жеребец Бельчик, на котором ездит штаб-трубач Колька. Под стать хозяину лошадь Семена Зацепы. В бою, в рубке, Семен, как известно всем, от ярости плачет — прямо градом слезы из глаз! Лошадь Зацепы в бою преображается тоже — дьявол, а не конь. Вообще в бою что люди, что лошади — не узнать. Жеребец Криворучко, белоснежный красавец Кобчик, в обычное время любит подремать, положив голову на спину своей подруги, лошади ординарца, а в бою, наподобие Зацепы, визжит от злости. Черныш уверял, что когда наступает самая заверть рубки («дорвались!»), то люди сразу замолкают и слышится одно лишь ржание: отборнейшая лошадиная брань...

О близком бое напоминало все: тишина, неслышные приготовления, разговоры. Наедине с собой Борисов не таился и о сабельной схватке думал с ужасом. Дьявольский зрак скачущих коней, распластанные звезды на головах бойцов, вихрь бурок, сверкание клинков и звериный

ор сотен глоток! Но при этом его беспокоило только одно: выдержит ли он? Надо было выдержать, потому что трудно воспитывать мужество в людях, не показывая мужества самому. Если он выдержит и уцелеет, комбриг в следующий раз никогда не предложит ему второстепенного задания, больше того, он, Борисов, сам тогда может запросто сказать ему: «Гриша, я возьму на себя правый фланг».

Возвращаясь из обхода в штаб, он наткнулся на Мамаева. Балагур, охальник, Мамай той ночью удивил Борисова: держался за щеку и ходил, ходил, словно ходьбой надеялся унять какую-то нестерпимую боль.

— Что? Зубы? — посочувствовал Борисов.

Мамаев разглядел комиссара и смутился.

— Да нет. Так просто.

Он зачем-то пошел рядом. Шел, ни слова не говорил. Борисов догадался, что напряженное ожидание боя коснулось даже тех, кто на войну смотрел как на приключение, и ему стало легче.

Неожиданно Мамай взял его за локоть и придвинулся.

— Знаешь, что это такое — скакать в лаве?

В темноте он пытался заглянуть комиссару в глаза.

— Нет,— доверчиво признался Борисов.— Но думаю, страшно.

— Точно, угадал. Хуже, чем с обрыва глянуть. Себя не помнишь! Петр Александрыч,— жарко прошептал он в самое ухо,— ты завтра держись ко мне поближе. Ладно? На всякий случай.

И тут же повернулся, побежал, искренне стыдясь этого движения своей, казалось бы, вконец очерствевшей души.

Назавтра Котовский сам, при развернутом штандарте повел в атаку оба полка. Удар был страшен. Бригада изрубила восемьсот человек, в том числе двадцать офицеров. Повернув на Дунаев, эскадроны захватили переправы на реке Икве и вышли из окружения.

Этот бой запомнился Борисову еще и потому, что в нем он впервые ударил человека шашкой.

Порыв бойцов разметал встречную лаву, и вдруг Борисову увиделся казак, проскочивший невредимым через беспощадную гребенку эскадронов. Казак крутил клинком и походил на сумасшедшего: с распяленным ртом, с остекленевшими глазами. Что-то оборвалось в груди Борисова, когда он понял, что обезумевший казак видит его как цель и жертву. Ни остановить его было, ни уговорить — только убить, иначе он тебя убьет. И все, что было дальше, Борисов проделал механически, словно во сне. Неведомым путем он разгадал, что казак рубанет его с косым замахом, и успел подставить под удар клинок, а едва сталь лязгнула о сталь, он приподнялся в стременах, с упором на ногу, и с необычной быстротой махнул в ответ, чуть-чуть назад (помнится, еще больно дернуло в спине от поворота). Ему казалось, что удар вышел неважным, и он мгновенно развернул коня, но нет, казак висел ногою в стремени, с задравшейся рубахой, с голым пузом...

Откуда-то выскочил Мамаев. Конь под ним метался, становился на дыбы.

Увидев зарубленного казака, Мамай гикнул, пал копю на гриву и ускакал.

Потом Борисов разглядел убитого как следует и испугался страшной раны на казачьей голове и несколько дней испытывал как бы озноб, но с того случая стал лучше понимать и чувствовать бойцов, живущих под постоянной угрозой таких же ран в любом бою. Недаром фронтовики, живущие со смертью глаза в глаза, испытывают презрение к тем, кто находится в безопасности.

Котовский, видимо, знал о поведении комиссара в бою. Заметив, что Борисов ходит тусклый, точно больной, он как бы невзначай сказал:

— Это всегда так, Петр Александрыч, хоть кого спроси. Я когда первого человека решил, он мне — не пове-

ришь! — по ночам снился. Привязался и стоит перед глазами!

А Мамаев, когда они увиделись после прорыва, подмигнул комиссару, как сообщнику, и захохотал:

— Петр Александрыч, ты много не думай, не надо, а то вошь накинется!

Но своему дружку Мартынову он отозвался о Борисове так:

— Ничего, подходящий комиссар. Годится!

Постепенно Борисов обвык и приспособился, скакал, кричал, что голосили и другие, проворно изворачивался и рубил в ответ и не оглядывался посмотреть, как выглядит зарубленный. Он стал, как все, одной участи с любым бойцом.

«Мамай, Мамай...— успокаиваясь, комиссар не переставал думать об осужденном бойце.— Конечно, на войне человек живет, пока жив. Иной боец может и поживиться чем-нибудь от щедрот хозяйских, но только полюбовно. А кража, шум, скандал — на военном языке это называется мародерство. Если сотнями и сотнями людей не управляет сознание долга и дисциплины, зто сброд, а не войско...»

Глава тринадцатая

Семен Зацепа убрал коня и стал собираться в штаб: обтер пучком травы забрызганные сапоги, застегнулся, плотно обтянул под ремнем гимнастерку. Перед осколком хозяйского зеркальца аккуратно, ровно надел фуражку. Комбриг не терпел расхлябанности, особенно не выносил малейшего намека на куделистый казачий чуб.

С комбригом Семен решился говорить о Кольке. Сегодня выступление — опять, значит, они с мальчишкой порознь. У Зацепы постоянно болело сердце за приемыша. Парнишка растет, за ним надзор отцовский нужен. Трудность разговора представлялась Зацепе в следующем: не дать Котовскому почувствовать, будто скорое появление своего ребенка загородит от него заботу о Кольке. Семен не сомневался, что так оно и произойдет, потому и хотел заранее забрать мальчишку к себе, но к задуманному следовало подойти деликатно, политично, как сказал бы комиссар, чтобы — избави бог! — не затронуть ни одной струны в душе комбрига.

Провожая Семена в штаб, Колька ни словом не обмолвился о своем желании быть вместе с ним в эскадроне, но посмотрел с такой мольбой, что Семен напустил на себя неприступный вид: он заранее решил, что, если разговор с комбригом ничего не даст, придется опять прикрикнуть на мальчишку, напомнить ему о воинской дисциплине.

Оставшись дома с лошадьми, Колька не знал, чем себя занять. Бельчик, стареющий, с мясистой грудью и тяжеловатым крупом, любил класть своему хозяину на плечо костистую голову, вздыхал и переступал ногами. Колька жалел это большое живое существо и, если мог, баловал его каким-нибудь лакомством, чаще всего хлебной или арбузной коркой. В Шевыревке конь отощал и постоянно смотрел голодными глазами.

С той стороны, где находился штаб, донеслась зычная ругань Черныша:

— Костя, черт! Ты чего не глядишь, коня распустил. Шарится, как колобихина корова. Весь в хозяина!

Крутя плетью, Черныш отгонял от сена проказливую кобылу Мартынова.

Мартынов вылез откуда-то из холодка: в волосах солома, глаза мутные, ноги со спа размякли. Весь вывернул-

ся в сладкой потяжке, рот не закрывался целую минуту. Пока зевал, разглядел и кобылку свою, и злого Черныша с плетью. На губах Мартынова заиграла ухмылка, он направился к Чернышу с игривыми объятиями и приговором:

— Пампушечка ты моя малосольная, распрекрасное ты чучело!..

— А плетью хочешь? — совсем осатанел Черныш.

«Оголодали кони»,— подумал Колька.

В углу за крылечком возилась хозяйская детвора. Младшенькая, свесив большую голову в платочке, играла в свою любимую игру: вертела из щепочек и тряпок куколок и хоронила их.

Все внимание старшей девочки, Соньки, занимал степенный, строгий мальчишка в настоящей военной форме. Глазея на него все дни, что он жил у них постоем, Сонька не переставала умиляться: такой маленький солдат! Она знала, что он уедет не сегодня-завтра, а значит, снова опустеет их двор, вся деревня, и никогда уже не будет такого праздничного многолюдства. Главное же — уедет и даже не оглянется этот важный маленький кавалерист в белой кубаночке набекрень, со своей серебряной трубой.

Обнявшись с Бельчиком, Колька поглаживал его по толстой шее. С чем придет Семен из штаба? Но ведь Григорь Иваныч обещал, при всех сказал! Не такой человек, чтобы обманывать. Если сказал, значит, точно. Теперь они с Семеном будут вместе... Бельчик настойчиво тыкался в руки своего хозяина, принюхивался к карманам, но угостить коня было нечем. Раз или два Колька строго взглянул на босоногую рыжую девчонку с засунутым в рот пальцем, глазеющую на них с Бельчиком.

— Тебе что...— не выдержал он,— делать нечего?

Девочка пожала плечами и, опустив голову, почесала одной ногой другую.

— А у нас картошка осталась! — вдруг выпалила она.— В чугуночке.

Колька переглянулся с конем. Потом, помявшись, солидно кашлянул в кулак, как это делал усач Девятый.

— Подхарчиться бы, конечно, не мешало. Время.— И он глянул на небо: солнце стояло уже высоко.

— Я сейчас принесу! — крикнула Сонька, бросаясь в избу.

Остывшие картошки она вывалила в подол платьица и держала его рукой, чтобы не рассыпать. В другой руке, на ладошке, принесла щепотку соли.

Ого, даже соль!

— С солью у вас, как видно, ничего,— похвалил Колька, придерживая Бельчика, чтобы тот не жадничал.— А вот мы всю Украину прошли, а соль нигде даже на сахар не меняют. Что сахар? Баловство одно.

Дома Сонька опростала солонку, больше соли в доме не было. Но она нисколько не жалела и радовалась, что маленький солдат перестал важничать и разговорился.

Одну картофелину он сунул Бельчику, другую разломил и макнул в подставленную ладошку.

— Обозов второй месяц не видим,— жаловался он, прожевывая.— Обносились и... вообще. Ну, да тебе этого не понять. Дело военное.

Девочка соглашалась, кивая головой и подставляя подол с картошкой.

— А я вчера... и каждый день бегаю смотреть, как вы на выгоне руками махаете.

Выбирая картошку, Колька снисходительно усмехнулся. Девчонка, конечно, глуповата. Да что с нее возьмешь? Что она видела, что понимает?

— Руками!.. Это называется — гимнастика.

Сонька сгибала ладошку, чтобы соль собиралась в кучку и удобнее было макать. Мало оказалось соли, совсем ничего!

— А бабка Мякотиха подсмотрела, как ваш Григорь Иваныч сам кувыркается. То, говорит, ноги задерет, то на

спине примется кататься. Как собака перед снегом. Ну чистый, говорит, антихрист!

— Дура она! Антихрист...— Колька старательно подобрал с подставленной ладошки последние крупинки соли.— Григорь Иваныч знаешь какой человек? Его повесить хотели, так он всех палачей поубивал. Его сам царь боялся.

— Ца-арь?!

— А ты думала! Ему два ордена должны. У него часы вот на такой цепочке от самого Ленина. И все из чистого золота!

Подавленная Сонька молчала.

— Он знаешь как с буржуями управлялся? Он их прямо за людей не считал!

Подъев картошку, Колька отряхнул руки и поправил кубанку.

— Я бы еще...— сказала Сонька,— да нету больше. У нас тут как банды налетели, все порастащили. И людей поубивали — прямо куда ни глянешь!

— Допрыгаются они у нас! Вороний корм!

— А у нас тятьку всего плетями изодрали. Мамка нас увела, но я все равно видела. Сейчас он на лавке лежит, а когда никого нету, зубами скорчегает.

— Зачем он дался? Я бы ни в жизнь! С ними знаешь как надо? Пускай бы попробовали сунуться!

На Колькиной груди она заметила заштопанную дырку и осмелела, потрогала пальцем:

— Это пуля тебя ранила?

— Война же! — снисходительно пояснил Колька.— Без крови не обойтись.

Потягиваясь, он энергично согнул руки кулаками к плечам и свел лопатки. Так, если устанет, делает Котовский. Где же, однако, задерживается Семен? Что-то долго нет...

Продляя разговор, девочка доложила:

— А еще бабка про этого, про вашего... который курицу украл, сказала.

— Это не ее ума дело! — сурово вымолвил Колька.

— Она говорит, что стрелять его никто не будет. Построжатся с ним, посидит он, сколько надо, а как уезжать вам, его и выпустят.

Колька вышел из себя:

— Дура она! Что она понимает своей башкой. Кто его выпустит. Я сам ходил к Григорь Иванычу. И слушать не хочет! А она — «выпустят». Никто его не выпустит. Как поедем — все!

— Бабка говорит,— оправдывалась девочка.

— Бабка... А ты... У самой голова должна быть. Думай.

Сонька застенчиво чертила пальцем ноги по земле.

— А вы еще долго у нас пробудете?

— Какое там! Выступаем. И так засиделись. Скоро курицы клевать начнут.

На улице показался Зацепа, шагал крупно, зло. Завидев его, Колька негромко, скороговоркой сказал:

— Ну, все, все. Некогда мне с тобой.

Он на самом деле сразу же забыл о существовании рыжей девчонки. Мрачное лицо Семена встревожило его: случилось что-то неприятное...

Бригада покидала Шевыревку, оставались последние дела. О Мамае, сидевшем взаперти под караулом, никто не поминал, но каждый знал, что приговор трибунала, утвержденный комбригом, ждал исполнения.

Сегодня с утра в штабе побывал комендант трибунала. Вскоре он, засовывая в карман гимнастерки сложенный вчетверо лист бумаги, деловито сбежал с крылечка и отправился к себе.

Ожидание того, что должно произойти, действовало угнетающе. Юцевич, вопреки обыкновению, не бегал и не

подгонял штабных, грузивших хозяйство штаба на тачанки. Комиссар Борисов мрачно крутил на палец завиток волос. Оба они старались не лезть комбригу на глаза. Подготовка к отправлению завершалась в молчании, словно в доме находился тяжелобольной.

В полдень в угловую горницу, легонько постучав, зашел Борисов. Комбриг, руки за спину, задумчиво стоял у окна.

— Григорь Иваныч, выйди.

— Что такое? — спросил, не оборачиваясь, Котовский.

— Да там... к тебе.

— Кто?

— Один там... Просит.

Задрав подбородок, комбриг стал застегивать пуговицы на воротнике.

Во дворе, возле штабного крыльца, его дожидался Милованов. У комбрига разочарованно скривились губы. Спускаться вниз он не стал.

Пряча свой бараний наглый взгляд, Милованов сбивчиво забормотал:

— Я к тому... черт с ней, с курицей. Не обедняем...

— При чем здесь твоя курица.— Григорий Иванович сделал движение уйти обратно в штаб.

— Хозяин-то кто? Моя курица! Я и говорю — не надо. Прощаю я его. Пускай живет.

— Ишь ты какой жалостливый!..— Комбриг вдруг вгляделся в топтавшегося возле крыльца просителя.— А это не ты болтал тогда, будто мы своих судить не можем? Ты, ты!.. Я помню. Ну так вот: иди отсюда. Пожалел он!.. Иди, я сказал, слышишь! П-пошел!..

— Гри-иша...— протянул Борисов.

Комбриг махнул ему, чтобы не мешал.

— А ну стой! — крикнул он Милованову.— У тебя, я слышал, сын в бандитах. Что, видно, крови обожрался? Сдаваться не думает?

Милованов испугался:

— Я за сына не ответчик!

— Тебя никто и не трогает. Живи. Но если он нам попадется, тогда не жалуйся, что мы злые. А теперь иди давай!

Направляясь к себе, комбриг сказал Борисову:

— Зачем ты меня позвал.

— Просит же!

— Мало ли! Сам не понимаешь, что ли? Охота тут с ними рассусоливать!

— Слушаюсь! — ответил комиссар.

Для Юцевича томительное время скрадывалось одним — работой. Последнее донесение сообщало, что большой отряд бандитов сделал попытку проскочить через железную дорогу на ст. Платоновка. Начальник штаба отложил сообщение на правую сторону.

Все же, как ни старался закопаться он в дела, слух его сразу уловил суровый служебный шаг нескольких человек мимо раскрытого окошка, затем загремел замок амбара. В штабе, во дворе, а ему казалось, что и во всей деревне наступила напряженная, невыносимо болезненная тишина. Наморщив лоб, Юцевич уткнул лицо в какую-то бумагу, но ничего не видел, не соображал. Напротив него Борисов перестал крутить на палец завиток и всею горстью взял себя за волосы.

Потом сухо, коротко треснул ближний залп, и начальник штаба услыхал, что в угловой горнице как будто опрокинулся стул.

И снова тишина во всей деревне.

Не было сейчас в бригаде человека, не думавшего о лихом, но не знавшем никакого удержу бойце. Сам, сам Мамай вырвал себя из рядов бригады, винить некого. Не пропоет ему теперь горнист, не выкрикнет его имя на поверке взводный, не станет топота копыт его коня в общей лаве эскадрона. И понапрасну будет выходить за околицу со-

гнутая ветхая старуха, вглядываясь из-под руки в пустую вечернюю дорогу среди подсолнухов и ржи. Навсегда осиротела ее беленькая хатка. Сгубил себя человек ни за копейку!..

С глубоким вздохом Юцевич вылез из-за стола, еще раз быстро проглядел приготовленные бумаги и, оправив гимнастерку, стукнул в дверь к комбригу.

Как он и ожидал, Григорий Иванович, сбрасывая оцепенение, с громадным облегчением ухватился за текущие дела.

Стоя навытяжку, начальник штаба доложил, что центром посевного участка предлагается избрать Шевыревку. Здесь останется конный взвод. Помимо Шевыревки в участок войдут соседние села — Шилово, Заборье и Дворянщина.

— Кого со взводом? — спросил комбриг.

Начальник штаба пожал плечами:

— Раппопорта можно. Можно Тукса. Можно Симонова... Все равно.

— Почему все равно?

— Григорь Иваныч... кто же, в самом деле, захочет. Хоть кому обидно!

— Угу...— прогудел комбриг. Глаза его ожили, насмешливо сощурились.

Возможность назначить старшего в шевыревском гарнизоне натолкнула его на мысль соединить Кольку с Семеном Зацепой (если уж они оба так этого добиваются). Он даже носом потянул. А что? Мысль ловкая!

— Ладно, вот что тогда,— сказал он Юцевичу.— Колька все к Семену рвется. Да и тот... Вот и пускай. Значит, Зацепа!

«Ай, взовьется Семен! — подумал Юцевич.— Не знает он еще и не догадывается, что́ его ждет... Но — сам просил, сам добивался!»

Потом у комбрига был разговор с Криворучко.

— Николай, надо людям речь сказать. Как построятся, ты скажи.

— Григорь Иваныч...— взмолился командир полка,— какой из меня говорун?

— Запел!.. Надо,— значит, надо! Не понимаешь?

— Сам бы лучше...

— «Сам, сам»!.. А ты не сам? Иди давай. Каждого уговаривать надо, каждый чего-то выставляет!..

Напоследок он пришел в боковушку, где Емельян, прижмуривая глаза от дыма, наблюдал в окно за сборами военных.

Бригада уходила, он оставался хозяином деревни. Дел предвиделось невпроворот! Они, дела, подкапливались именно к сегодняшнему дню, когда вместе с эскадронами из Шевыревки окончательно уйдет война и людям останутся привычные заботы об устройстве нарушенной жизни. Долго и много рушили эту жизнь, многое придется ставить заново...

На выгоне через дорогу строились ряды. Громыхнул бас Девятого:

— Смир-р-р... Р-равнение!..

Началась перекличка.

— Шорстнев!

— Есть!

— Цилинский!

— Есть!

— Трайбер!..

В дверях возникла походная фигура комбрига: широкий, с обтянутой грудью, в высоких сапогах. Емельян торопливо пустил в окурок слюну и, не дожидаясь, пока зашипит, выбросил в окно.

— Ну, все, солдат. Уходим. Хозяйничай.

Бритая голова Котовского проплыла сквозь синеватые слои дыма.

Снаружи долетели слова переклички.

— Эберт!.. Хошаев!.. Ткачук Роман!.. Ткачук Данила!..

— Есть!.. Есть!..

Молчание нарушил Емельян:

— А они... не придут опять?

Упираясь обеими руками в подоконник, комбриг смотрел на выгон и не поворачивал крепкой шеи.

— Пускай попробуют! Мы их под землей достанем!

Солдат улыбнулся:

— Ты их, Григорь Иваныч, только загони под землю, а уж искать да доставать... кому надо?

Котовский слушал перекличку.

— Григорь Иваныч,— попросил Емельян,— ты бы нам пулеметишко какой-нибудь подкинул. А? Хоть завалященький!

— Может, тебе еще пушку оставить?

— Пулемет — не пушка. Зато, если что, мы бы их в капусту посекли. Дорогу бы забыли!

— И так забудут! Целый взвод тебе оставляем.

— Да ну? — обрадовался Емельян.— Вот это правильно! Вот за это спасибо!

— Говорю: хозяйничай!..

Под окном появился взбешенный Семен Зацепа (вылетел из штаба после разговора с Юцевичем). Увидев его, Котовский завел руки за спину, с выжиданием покачиваясь с пятки на носок. Ну, ну... очень даже понятное дело, отчего это так раскипятился человек!

— Григорь Иваныч!..— Семен от ярости косил глазами.— Что же это... или я у попа теленка съел? Хуже других, выходит?

— Хуже? — комбриг продолжал покачиваться.— А кто говорит: хуже?

— Тогда, что получается? Все как люди, а я?

Разглядывая его сверху, комбриг выдержал паузу.

— Ты не кипятись, а говори, чего хочешь. Не хочешь оставаться, что ли?

— Еще спрашиваете!.. Вон Поливапова можно оставить. Пускай бы сидел со своим дедом.

— «Сидел»!.. Ты думаешь, нет, когда говоришь? Или тут можно кого попало оставлять? Ты вместо всех нас остаешься. Соображай: начальник гарнизона!

— Все равно несогласный! — Семен непримиримо смотрел в сторону.

— Ну, вот тогда что. Это приказ, понял? Давай бери парнишку и — за дело. Мы тебя не на печке валяться оставляем... А я потом приеду — проверю.

Махнув рукой: «Эх, пропадай все!..», Семен повернулся и зашагал, почти побежал со двора.

Бойцы, выстроенные на выгоне, видели его и жалели. Конечно, хоть кого коснись, всякому обидно будет! Это же все равно, что старуху на печку... Но тут внимание их отвлек Криворучко. Горяча белого коня, командир полка выехал перед строем, и с этой минуты каждая пара глаз следила, не отрываясь, за его значительным усатым лицом. Криворучко проехался раз, другой, вслушиваясь, вглядываясь, ожидая того подмывающего мгновения, когда от вида четких, сомкнутых рядов, увенчанных на фланге развернутым штандартом, от жадного глазения пестрой деревенской толпы в его груди, у самого сердца, возникнет вдруг острый холодок.

— Бойцы!..— неожиданно выкрикнул он, крепко забрав повод, и белый жеребец под ним осел назад, оскалил зубы.— Идем сегодня опять все вместе в решительное выступление. Весь народ, все тысячи людей глядят на наше боевое знамя, которое мы из-под дорогого нашего Тирасполя таскаем впереди себя... Которые имеют особо длинные руки, которые любят подбирать что плохо лежит, запомни: дух вышибу! За стакан семечек расстреливать буду без пощады. Котовцы мы или кто? Прибери себя к рукам так, чтобы даже малое дите не было на нас в обиде...

Мотали головами лошади, звякало железо. Ряды кавалеристов хранили молчание. Налетевший ветерок пошевеливал повисшее полотнище штандарта, и знаменосец, чтобы лучше слышать, отвел от лица густую золотистую бахрому.

Багровея лицом, командир полка поднял сжатый кулак:

— Я сам человек, как и вы. Еще раз предупреждаю: после не обижайтесь. Которые любят на баб наскакивать, которому сукину сыну без вина в глотку жратва не лезет, запомни: гляди в оба за собой, гляди за товарищем, береги славное наше знамя!..

— Спр-рава-а... по-взводно!..— загремел над выгоном раскатистый бас: перед собравшейся деревней Девятый напоследок тешил свой исполинский голос.

Поплыл штандарт, потянулись разномастные ряды — эскадроны тронулись.

Семен Зацепа с Колькой праздно стояли у прикрытых ворот. (Закрывались ворота в деревне.) Мимо них нескончаемо тянулась походная колонна. Семен, поглядывая изпод низко надвинутого козырька, гонял во рту сорванную травинку.

Командир эскадрона Девятый, проезжая мимо, подмигнул ему: дескать, чего стоишь, айда с нами! Семен помрачнел еще больше и ушел, чтобы никого не видеть, не надсаживать понапрасну сердца.

Обгоняя колонну, рысью проплыл влитый в седло комбриг. Увидел Кольку, и чуть заметная усмешка тронула его губы. С тяжеловесной щеголеватостью он в два своих приема подбросил к козырьку руку. С досады Колька отвернулся. Услышал: Котовский громко захохотал.

К разобиженному трубачу подъехал Юцевич, наклонился с седла:

— Чего ты? Или еще не навоевался?

Заметив, что за ними во все счастливые глаза наблю-

дает рыжая босоногая девчонка, Колька едва сдержался, чтобы не мазнуть себя рукавом по набрякшему носу.

— Да-а...— прошептал он, еще ниже наклоняя голову,— вам хорошо...

— Да мы же скоро опять назад! — бодро уговаривал его сердобольный Юдевич.— Ну... слышишь, что ли?

К мальчишке тянулся конь начальника штаба, будто тоже утешал и просил не расстраиваться.

— А, чего с вами!..— Колька отпихнул от себя морду коня. Ему казалось, что нет сейчас на свете человека несчастнее его. Даже лошади жалеют!..

Глава четырнадцатая

Мысль о поражении была самым главным секретом антоновской армии. Всякому, кто об этом скажет вслух, полагалась смерть. Сам же Антонов думал о поражении день и ночь.

Как все обреченные люди, он исступленно хотел жить и судорожно цеплялся за малейшую возможность продлить свое существование. Поэтому всякий, кто допускал мысль о поражении, невольно ослаблял сопротивление оставшихся при нем сподвижников, а значит, сокращал его собственную жизнь и, следовательно, беспощадно отдавался в руки полкового палача.

Именно в эти предгибельные недели Антонов с особенной яростью внушал уверенность в своих силах, в конечной победе. Это он придумал байку о полках войскового старшины Фролова, якобы идущих к ним на помощь с Дона. Он повторял о помощи упрямо, озлобленно, уверяя, что их непременно выручат, не дадут погибнуть. Порой ему и самому начинало вериться, что помощь действительно придет, а с нею и желанное спасение. На самом деле, разве не бурлит белоказачий Дон? Что́ сто́ит нескольким

полкам рвануть на север, зная, что Тамбовщина еще не замирилась?

Но наступали минуты отрезвления, и он мрачнел, начинал боязливо озираться, вглядываться в лица окружающих. Верят ли они ему? На словах верят, а наедине с собой? Уголовник по своей психологии, он на всех, кто оставался рядом с ним, смотрел как на помощников при фарте и не сомневался, что первые же неудачи превратят их в предателей, которые не задумаются ценою его головы выкупить себе прощение. Была у него сила — они его носили на руках. Теперь же... Они друг дружке глотки перервут, чтобы только уцелеть! Они сейчас и на него, на своего главаря, поглядывают как на заложника, как на свой последний козырь в борьбе за жизнь. Пусть хоть не прощенье заслужить, но умолить, отвести злую расстрельную пулю!

А было, было времечко! Сейчас задумаешься, и даже глаза раскрывать страшно: неужто все сгинуло, прошло. В деревнях, он знал, люди встают задолго до солнца и жадно набрасываются на работу, выезжают в поле под защитой красноармейцев; в каждой избе читают и толкуют новый закон о налоге, на пальцах считают, сколько с кого придется, и радуются, что сдавать выходит наполовину меньше, чем в разверстку, а с остальным хлебом делай что хочешь. Мужики теперь не величали Антонова по имени и отчеству, а мрачно сжимали кулаки и глядели на него волком. Больше того, в селах организуются добровольные дружины в помощь красноармейцам. Все, все против него!

Он стал истеричен и старался найти повод, чтобы обвинить кого-либо в неудачах, и такие находились. Мстительная расправа с ними ненадолго успокаивала его тем, что не он виноват в поражении,— вина в этом тех, кто не поддерживал его как следует, не верил ему до конца, предавал его. Чем дальше, тем больше набиралось причин, и это тоже создавало ему иллюзию собственной невиновности.

Военные дела мятежников с каждым днем шли хуже.



Одно время Антонов подумывал привлечь атамана Колесникова, широко гулявшего в Воронежской губернии, но того в считанные дни растрепали красные части. Посланы были гонцы к Махно, но к батьке не добрались.

С каждым днем редело окружение Антонова, убывали его полки. Председатель губернского комитета СТК Плужников потихоньку покинул штаб, забрал с собой сына и спрятался в лесной землянке — это убежище он заготовил еще ранней весной.

В деревнях Антонов уже не проводил митингов, а просто очищал амбары, забирал лошадей и расстреливал мужиков за каждое слово, за каждый недовольный взгляд.

С теми силами, что у него оставались, он рвался в Чернавские леса, в Рамзинские болота.

Надежда на спасение не оставляла его до тех пор, пока не грянуло решающее сражение под Бакурами.

Но прежде чем завязался этот упорный и кровопролитный бой, мятежники узнали ряд удач, и одну из них — у деревни Алабушки, где Аверьянов сильно потрепал отряд курсантов.

Однако Антонов оставался единственным человеком, кто не обольщался одержанной победой. Напрасно штабные, воодушевленные захваченными документами и расправой над пленными курсантами, блестя глазами, доказывали ему, что вот она, птица счастья, поймать которую мечтает каждый военачальник. Все, все сейчас поворачивается к лучшему! Где-то был Эктов, уехавший за помощью в Москву, на совещание подпольных сил, жив еще Махно, гулял по Украине атаман Тютюнник, совершился переворот на Дальнем Востоке, неспокойно в Средней Азии. Да и полки войскового старшины Фролова! Есть, есть еще в стране силы, не сложившие оружия! Кто-то даже предложил ударить на станцию Сампур, пересечь железную дорогу и выйти навстречу полкам войскового старшины Фролова.

Все попусту: как его ни уговаривали, он не дал согласия развернуть полки для решительного боя. Надежды его по-прежнему связывались с сохранением оставшихся людей, с глухоманью на реке Вороне, где можно было затянуть сопротивление.

Чем это объяснить, он не знал, но на него вдруг свалилось озарение, которому подвержены даже примитивные натуры. С самого начала всю его силу составлял крепкий зажиточный мужик. О, он умело раскипятил этих людей! Он видел их на базарах, где они собирали измятые в потных ладонях рубли и трешки и прятали, пихали их за пазуху,— не человек, а сплошная пазуха! Он знавал их по домам, где они расправляли и считали выручку, опрыскивали ее одеколоном и прятали на дно в сундук. И вот за свое, за сусек, наполненный зерном, за добро, скопленное годами, они с ненавистью били топором по черепу. Что им увещевания, что в городе мрут с голоду? Они своих родителей не кормят, полагая, что старики зажились, и поторапливают их на тот свет. А тут — голод где-то в городе!.. И опьянев от первой расправы с продармейцами, они принимаются крушить со сладкой местью и свирепством. Однако страница так огромна, а топор так мал,— и вот за проломленную голову отрядника надвигается расплата, нависает страх, и человек бежит в лес, к таким же, как и он, и оттуда уже нет иного выхода, как только к расчету своей кровью. Боязнь расплаты, страх за свою жизнь... Но вышли приказы о явке с повинной, и это подрубило последние корни Антонова в испуганных деревнях.

Выслушивая уговоры, наблюдая вокруг себя радость и воодушевление, он помалкивал и гнул свое. Дураки, они не понимали, что, кроме имеющихся полков, у него уже не будет других! Неужели он решится разбазарить их одним швырком?

Всем своим оставшимся авторитетом он настоял сниматься с места и уходить. Уходить, торопиться! Сзади на-

двигалась кавалерийская бригада Котовского, а впереди ждала трудная переправа через реку Ворону. Чтобы переправиться без помех, следовало оторваться от Котовского как можно дальше, иначе вместо переправы будет бой.

В тот миг еще никто не знал, что Федько, обозленный неудачей под Алабушками, в полтора дня сделает огромный переход и выйдет на дорогу, которую Антонов считал свободной и намечал ее для подхода к реке. Он вообще не допускал мысли, что сделать такой переход в человеческих силах, и опасался лишь преследования сзади. А о том, что Котовский идет по пятам и какими силами располагает, известно и без трофейных документов. Ничего нового и утешительного они ему не сообщили.

Когда передовые полки напоролись па заслон бронеотрядов, которые вроде бы недавно были потрепаны и сейчас, предположительно, должны были латать прорехи, Антонов обмер: наступил час, которого он боялся и оттягивал всеми силами. Теперь уже не оттянуть!

Не подавая вида, он в последний раз собрал оставшихся с ним верных людей. Богуславский доложил обстановку. Части Красной Армии ведут преследование по сходящимся направлениям, рассчитывая нанести общий удар именно в том месте, где отступающих ждал пулеметный заслон бронеотрядов. Во всем этом угадывалась чья-то твердая, опытная рука. К сегодняшнему дню, сказал Богуславский, «свободная территория» (так он называл район мятежа) плотно блокирована пехотными частями. Преследование ведут в основном подвижные соединения, в частности кроме кавалерийской бригады Котовского еще 14-я отдельная кавалерийская бригада и Борисоглебские кавалерийские курсы.

— Положение безнадежное, нам приготовлен мешок,— чеканил офицерским голосом Богуславский, зорко взглядывая на сумрачные лица сидевших вокруг сподвижников.

В его голове родился дерзкий план: поскольку против-

ник еще не «завязал мешка», осуществить прорыв. Для маскировки предполагаемого прорыва необходимо обозначить серию ударов по всем направлениям (этим, кстати, будут связаны все силы нападения), но основные усилия направить в сторону висящих на хвосте кавалерийских частей. Здесь, считал он, у противника самое уязвимое место — лесные дороги вынуждают двигаться разрозненно, можно навалиться и растрепать эскадрон за эскадроном.

— Александр Степанович, это единственный выход,— закончил Богуславский.

Хмурое лицо Антонова не выражало никакого интереса. Он исподлобья взглянул на своего любимца. План прорыва предполагал спасти штаб, ради этого жертвовались полки для отвлекающих ударов. Но сам Антонов в эти минуты думал совсем не о штабе.

Не возразив ни слова, он согласился с идеей Богуславского и отдал ему всю инициативу.

Участники последнего совещания давно разошлись, а «главком» все еще сидел, сцепив руки и уставив перед собою безжизненный взгляд. Прорыв... Богуславский, видимо, надеется вырваться из кольца и встретить полки войскового старшины Фролова. Пусть надеется... В душе Антонов твердо решил пожертвовать своим любимцем — другого выхода не виделось. Он собрался бежать не вместе со штабом, а в одиночку и в тот же день из всех близких людей осторожно предупредил одного брата.

Богуславский начал бой как будто счастливо. Мелочная опека «главкома» ему больше не мешала, он почувствовал себя хозяином полков, предсмертно сжавшихся в тугую пружину. Отсутствие Матюхина его нисколько не тревожило: сил было и без него достаточно, а напуганные люди остервенело лезли на огонь. Подгонять никого не приходилось.

На командный пункт, откуда Богуславский руководил закипающим боем, беспрерывно поступали донесения.

В деревушке, откуда хлестали пулеметы заслона, удалось захватить одну машину. Богуславский выругался: не бой с заслоном был сейчас самым главным. Заслон — вчерашний день. То, что еще сегодня утром называлось авангардом. превратилось в арьергард. В настоящую минуту Богуславского интересовали полки, на которые должны были напороться эскадроны Котовского.

Имя командира красной кавалерийской бригады вызывало у Богуславского жгучую ненависть. Эта ненависть закипела в нем с того майского дня, когда, заполучив в руки перехваченный приказ Котовского, он затаился для боя, как вдруг пришло сообщение о том, что со стороны Воронежа и Кирсанова тоже угрожают части Красной Армии,— пришлось спешно свертываться и отходить к реке Вороне. Богуславский считал, что уцелеть Котовскому тогда помог счастливый случай... Унижение бегущего все больше растравляло ему сердце, и он был обрадован, что наконец-то появилась надежда рассчитаться разом за все. В предвкушении удачи он мстительно представлял, что настойчивость Котовского, с какой тот висел на хвосте отступающих полков, обернется бедой для преследователей: ведь ситуация переменилась, и теперь уже сами бегущие ждут боя. Для начала хорошо бы зацепиться хоть за один эскадрон, а там втянется вся бригада и целиком увязнет в сражении. «Числом задавим!»

Намереваясь построить бой так, как ему хотелось, Богуславский не исключал возможности, что вместе с остатками своих разбитых эскадронов в руки победителей попадет и сам командир бригады. А что? Это был бы венец всего многонедельного упорного преследования!

Особому полку Назарова было приказано ударить в тот момент, когда понадобится поставить последнюю решительную точку. Посылая приказ, Богуславский специально указал, чтобы красных командиров, не считаясь ни с какими потерями, непременно брать живыми.

Бой с заслоном, преградившим путь к реке Вороне, еще продолжался, еще метались отдельные отряды, спасаясь от кинжального пулеметного огня, когда на командный пункт доставили известие, которого Богуславский ждал с нетерпением.

Как он и рассчитывал, узкие лесные дороги вынуждали преследователей двигаться разрозненно. Сначала был замечен головной эскадрон, затем еще два на разных дорогах, километрах в пяти один от другого.

Головной эскадрон с четырьмя станковыми пулеметами и одним орудием напоролся на сильное сторожевое охранение, открыл огонь и, бросившись в атаку, стал его теснить. Сторожевое охранение, умело отступая, навело атакующих прямо на основную массу войск. Поняв свою оплошность, красный эскадрон остановился и занял оборону.

Тем временем Золотовский полк ударил по эскадрону, двигавшемуся в правой колонне. Под угрозой окружения противник обороняется с ожесточением. Однако силы его на пределе,— кажется, дрогнул и стал пятиться головной эскадрон, тот, что в начале боя сел в оборону.

Ну вот, все складывалось по задуманному! Еще один удар, и дорога из «мешка» открыта. Богуславский потребовал коня и покинул свой штаб, чтобы лично принять участие в завершении разгрома. В тот момент ему казалось, что окружения преследователям уже не избежать, а значит, участь их решена бесповоротно.

Бандитские полки по-прежнему торопливо уходили к югу, но Григорий Иванович с беспокойством наблюдал, что эскадроны в своем преследовании напоминают нанизанные на нитку бусины — развернуться на узких лесных дорогах невозможно. И хоть перед Бакурами удалось занять две параллельные дороги, все равно при таком построении удар бригады выйдет не сжатым кулаком, как задумал коман-

дующий, а растопыренной пятерней, а еще точнее — каждым пальцем по очереди. Оставалось надеяться, что бандиты, напоровшись на пулеметный заслон, будут ломиться только вперед, стремясь поскорее укрыться в свое глухое логово, а тем временем удастся подтянуть силы и приготовиться.

Начало боя этих надежд не оправдало.

Котовский прибыл, когда сражение развернулось и гремело. Командир первого полка Попов сжато доложил обстановку.

Сегодняшним утром разведка обнаружила большой отряд мятежников численностью примерно в три тысячи сабель. Пришлось поднять полк по тревоге.

Выступили одновременно по двум дорогам, имея в голове усиленный эскадрон Вальдмана. Вскоре головной эскадрон первым вошел в соприкосновение с противником.

Сейчас, по мнению Попова, угрожающее положение сложилось для эскадронов Кириченко и Колесниченко. Удар Золотовского полка застал Кириченко на марше. Стремясь на выручку товарищей, в бой вступил и эскадрон Колесниченко. Развивая фланговый удар, бандиты зашли глубоко с тыла и замкнули кольцо окружения. В настоящее время оба эскадрона держат круговую оборону.

Докладывая, Попов унимал дыхание. Он сам только что вышел из боя. Штаб полка с прикрытием наткнулся в лесу на бандитский отряд численностью примерно в четыреста сабель. Раздумывать было некогда, и Попов первым бросился в атаку. В качестве трофеев захвачено пять станковых пулеметов.

— Я распорядился доставить их Сливе,— сообщил Попов.— Пулеметы в исправном состоянии, с запасом лент.

Соскочив с седла, Григорий Иванович достал карту и расстелил ее на земле. Черныш увел коней в укрытие. Налетевший ветерок завернул угол карты, Борисов опустился на колено и стал ее придерживать рукой.

Командир полка обратил внимание комбрига на то, что противник, видимо, еще не расстался с мыслью прорваться вперед, через заслон, намереваясь обойти город Сердобск и захватить переправы на реке Вороне. Однако частью сил он уже пытается искать выход к Чембару, а в последний момент замечено, что большое соединение как будто отходит к реке Хопер.

— Считаю,— заключил Попов,— бой на переломе. Противник паникует и не способен придерживаться единого плана. По всем признакам, штаб мятежников уже не в состоянии выправить положение.

— Дай-то бог,— с сомнением проговорил комбриг, сосредоточенно разглядывая карту.— Где наш головной эскадрон?

Придерживая шашку, Попов опустился на траву и коротким жестом обозначил на карте кружок.

— Несет потери, но держится, товарищ комбриг. Я послал ему на помощь эскадрон Девятого.

— Отставить! — приказал комбриг.

Всецело погруженный в изучение обстановки, он не поднимал головы.

Догадку Попова, что мятежники все же намереваются проломить заслон бронеотрядов, Григорий Иванович забраковал сразу же. Бой в том направлении продолжается, так сказать, по инерции движения. Что же касается направлений на Чембар, Сердобск и к Хопру, то это следствие обыкновенной паники,— напуганные засадой бандитские отряды пытаются найти спасение каждый в одиночку. Надо думать, что Антонов, или кто там вместо него, сумеет навести порядок.

В это время прискакал на́рочный из головного эскадрона. Силы обороняющихся на исходе. Единственное орудие поставлено на прямую наводку и кроет картечью, станковые пулеметы бьют в упор. Однако бандиты в озлоблении не считаются ни с какими потерями.

— Прикажите отходить,— тихо обронил Котовский, по-прежнему не отрываясь от карты.

Попов переглянулся с Борисовым и, поколебавшись, заметил:

— Два эскадрона остаются в окружении, товарищ комбриг!

Котовский задержал палец на карте, словно запоминая место, на котором перебили его размышления.

— Ну и что — в окружении? Они что, не живые? Сами свое дело знают.

Нельзя утрачивать перспективу боя. Окружение!.. Не каждое окружение страшно. Пусть два эскадрона ведут сейчас тяжелый бой и до них не долетает голос старших командиров, но все равно людьми там управляет мысль, идея, общая цель бригады.

Два эскадрона в окружении, конечно, явный минус, но если посмотреть на это с другой точки зрения, то неудача оборачивается каким-никаким, а плюсом: именно бьющиеся в окружении бойцы позволят бригаде задержать развитие боя и подтянуть силы. Все, следовательно, зависело сейчас от двух обстоятельств: не дрогнут ли окруженные эскадроны и выдержат ли натиск бандитского вала (если только он продолжает по инерции давить) бронеотряды. Сомневаться ни в том, ни в другом оснований не было. Григорий Иванович хорошо знал как свои эскадроны, так и стойкую силу командующего бронеотрядами Федько. От неудач на войне никто не застрахован, но настоящего солдата неудачи обогащают неоценимым опытом и делают его в боях еще искуснее и стойче. Поражение под Алабушками, несомненно, сказалось на Федько именно таким образом. Недаром он сумел одним броском покрыть немыслимое расстояние и вновь перехватил бандитские полки.

Иван Федорович Федько приходился земляком Котовскому и, будучи моложе его на шестнадцать лет,— по существу, на целую человеческую молодость! — слышал о

Котовском с детства, когда имя будущего комбрига, разорявшего помещиков и помогавшего бедноте, гремело по всей Бессарабии. Встреча их произошла после прорыва Южной группы войск к Житомиру.

Здесь, на Тамбовщине, Федько изобретательно применил вооруженные пулеметами автомашины. Если раньше бандитские отряды изматывали в погонях красноармейских лошадей, то теперь преследователи на автомашинах не знали усталости. Храпели кони, пугаясь шума моторов, валились с седел всадники, скошенные пулеметными очередями, а машинная «конница» красных без устали сновала по разбросанной сети дорог и каждый раз успевала стать на пути убегающих, все более редеющих отрядов...

— Прикажите головному эскадрону отходить,— снова распорядился комбриг.— С боем.

Он постучал пальцем по карте:

— Здесь что у нас — болото? Очень хорошо. А здесь пусть сейчас же расположится Слива. Сейчас же! Нам с вами придется стать здесь и встретить их.

Без карандаша, одним ногтем, он отметил три точки, замыкая в этот треугольник большое поле, на котором, преследуя истекающий кровью головной эскадрон, должны будут появиться разгоряченные удачей бандитские отряды.

Впереди над кромкой леса дрожали горячие испарения болота. Григорий Иванович, задумавшись, сделал усилие, чтобы прогнать мираж: ему показалось, что за слоями зноя заблестело озеро, окруженное зелеными кущами.

— Где наша батарея? — отрывисто спросил он.

— Скоро будет, товарищ комбриг. Я послал специального нарочного. Батарея на подходе.

— Связь с соседями?

— Поддерживается, товарищ комбриг. Вправо и влево.

Представители 14-й отдельной кавбригады и Борисоглебских курсов прибыли недавно и находились при штабе полка.

Вопросы комбрига помогли Попову уяснить замысел маневра, связанного с отходом головного эскадрона. Теперь все его внимание привлекал незримый треугольник на карте. Он представил: в хаосе сражения как бы само собой возникало направляющее движение, постепенно оно втянет в себя (если уже не втянуло!) все бессмысленно мечущиеся силы мятежников и в конце концов выведет их туда, куда и задумано, в расставленный «мешок»: с одной стороны — болото, с другой — пулеметы Сливы, с третьей — ждущие во главе с комбригом эскадроны.

Комбриг поднялся с земли, небрежно почистил колени. Борисов складывал карту. Ждать... Ждать... Сегодняшний бой завязался по инициативе врага, который с самого начала пытался диктовать свою волю. Командирский опыт и чутье Котовского подсказывали, что вся нехитрая логика врага в последнем отчаянном бою должна преследовать одну-единственную цель — спасение. Ни на что другое обреченные надеяться уже не могли.

Комбриг еще не знал, что основной удар бандитских полков будет направлен именно в его сторону, но, заботясь перехватить инициативу, он, во-первых, отменил распоряжение Попова, пославшего на выручку двух окруженных эскадронов третий, во-вторых, приказал головному эскадрону с боем отходить, тем самым как бы вызывая удар врага на себя, на оставшиеся с ним эскадроны. Напрасно противник рассчитывает, что он станет подбрасывать в бой эскадрон за эскадроном, точно поленья в печку. Силы понадобятся здесь, сейчас, чтобы грудь в грудь принять разогнавшегося в погоне врага и устоять.

В первые минуты, когда обозначились признаки надвигающегося боя, комбриг с удовлетворением подумал, что события развиваются так, как он и рассчитывал.

Сначала из леса, преследуя отступающий в полном боевом порядке эскадрон, вырвалась лавина конных. Сидят без седел, на подушках, ноги болтаются в веревочных стременах. Долетел протяжный вой. «Ага, обрадовались простору и хотят смять!..» Котовский сидел на Орлике как влитой, сама выдержка и спокойствие.

Вдруг откуда-то сбоку прямо на скачущих бандитов вынеслась тачанка. Григорий Иванович видел, как хлещет коней повозочный, а другой боец согнулся за щитком пулемета. С ходу развернувшись, тачанка стала, пулемет ударил по скачущим в упор. Закувыркался один, другой, грянулась о землю оскаленной мордой лошадь... Пулемет прокосил в лавине целую просеку!

— Кто такой? — спросил комбриг.

— Вайсман,— подсказал сбоку Борисов.

Котовский снова вскинул к глазам бинокль.

Опрокинутые пулеметным огнем, бандиты тем не менее отступали организованно, умело прикрывая отход. По всему видно, что боем руководит знающий человек.

После первой атаки последовала вторая, третья. Давление нарастало. Попов покряхтел: день выпал, как в самую тяжелую пору.

— Что за черт? — пробормотал Котовский.— Обрадовались они, что ли?

Не расслышавший его Борисов переспросил, и комбриг сказал:

— Не пойму: они преследуют наш головной или же он просто оказался у них на пути?

Это была первая догадка о замысле мятежников встречным ударом вырваться из-под пресса многодневной погони.

Скоро догадка превратилась в уверенность. Выходит, противник не просто принял «приглашение» преследовать отступающий эскадрон, он вообще держал намерение осуществить именно в этом направлении мощный концентрированный удар, по существу навал. Что ж, это в какой-то

степени меняло дело, но еще более увеличивало ответственность бригады.

Котовский еще раз прикинул обстановку и приказал послать в обход эскадрон Девятого.

— Скажите ему: только быстро, быстро!

На направлении вражеского прорыва с ним теперь остался всего один полк. Но здесь находилось знамя бригады, здесь был он сам и комиссар,— на счетах войны не так уж мало.

Минуты сейчас стоили слишком дорого.

«Страшно подумать, что будет, если они прорвутся и пойдут снова разбойничать по успокоенной губернии. Терять им нечего, на скольких людях выместят они свою предгибельную злобу?»

В отдалении за оврагом прокатился богатырский раскат голосища Девятого: «Эскадро-он...» Комбриг в нетерпении задвигался в седле, положил руку на горло.

Из леса за оврагом показались густые ряды конницы.

— Это Назаров! — закричал Борисов.— Особый полк.

Комбриг разглядел всадника в бурке, с нелепой чалмой на голове. Назаров крутился на коне и что-то приказывал, потрясая маузером.

В груди комбрига несколько раз мощно сократилось сердце. Озноб пощекотал лопатки, поднялся выше и заставил стиснуть челюсти.

Краем сознания он отметил, что шараханье противника, о котором говорили в штабе с Тухачевским, совсем не выглядит паническим. Смешной человечек в бурке и чалме усилил свои фланги тачанками, и сейчас оттуда заливались пулеметы, выбивая впереди, в направлении прорыва, все живое. Под прикрытием пулеметного огня этот нелепый «мусульманин» строит плотный клин своего полка (да какое там полка — больше!).

Негромко, сквозь зубы, Котовский бросил через плечо:

— Штандарт!

— Коня! — тотчас закричал сзади Борисов.

Покуда знаменосец сдергивал чехол и разворачивал истомившееся в заключении полотнище, комбриг почувствовал, как сзади, среди бойцов, возникло и стало нарастать много раз испытанное нетерпение перед атакой.

Это мгновение, сколько бы оно ни повторялось, не могло оставить равнодушным никого. У него самого всякий раз точно жаром обметывало губы, вваливались глаза и выступали скулы. Вот даже Орлик подобрался и затаился в ожидании. Умница!..

Установилась тишина, когда никто не шевельнется, ничто не звякнет и не скрипнет. Сейчас, в эту минуту, люди забыли ссоры из-за пригоршни овса, из-за отказанной завертки табака и обидного прозвища, сейчас все дышат в одну грудь, смотрят в одни глаза, и сердца всего полка бьются словно одно большое сердце. В груди уже скопился крик, пальцы каменели на рукоятках шашек. Ну, сейчас... скорее же!..

Любому командиру, чтобы скрыть свои чувства, приходится быть немножечко актером. И только перед боем незачем таить волнения, потому что это хорошее волнение, необходимое для дела. Ощутив маслянистый тугой потяг клинка из ножен, Котовский обернул лицо и, багровея, испытывая бешеную колотуху сердца, закатился протяжным звонким криком:

— По-олк!..

Слитно лязгнуло железо выхваченных шашек, ахнула земля от топота копыт. Полк пошел в атаку.

Кавалерийская лава — строй людей для боя, для сшибания с несущимся навстречу врагом. Бойцы в лаве напоминают патроны, схваченные обоймой. Здесь каждый ощущает себя не единицей, а частью целого. Порыв лавы настолько неудержим и слитен, что даже застреленный еще сидит в седле и держит шашку, и рот его открыт для крика. Когда же он станет сползать с седла, никто его не пожа-

леет, не поддержит, ибо закон лавы прост и жесток. Потом, если будет добыта победа, товарищи подберут его, разожмут пальцы и вынут клинок и над раскрытой могилой окажут ему воинские почести. Пока же некогда даже бросить взгляд вниз, на распластанное под копытами тело: все внимание туда, вперед, откуда приближаются чужие хищные клинки.

Опустив шашку, чтобы больше затекла рука, Котовский пригибался к конской гриве и не спускал глаз с человека в чалме, которого он наметил для себя. Орлик привычно забирал вправо, чтобы всаднику было удобно рубить налево, с резким поворотом корпуса и упором в стремя.

Сближаясь, Назаров целился, кривя лицо, и безостановочно палил из маузера. «Дурак... На скаку-то!»

Скачущие рядом бойцы стали забирать сильнее, выделяться вперед, но сам он продолжал уверенно целиться в Назарова, с расчетливой медлительностью занося над головой шашку. Остальные для него сейчас не существовали.

Все произошло как бы мгновенно, невосприимчиво для глаза и сознания: короткий и высокий вскрик сшибания, остервенелое взвихрение случайных схваток и, наконец, великое безмолвие рубки...

Уцелевшие бандиты нахлестывали лошадей и, думая только о спасении, со всех ног удирали кто куда: одни скакали к деревушке, где с утра дежурила засада с пулеметами, другие надеялись скрыться в той стороне, где дремало непролазное болото. Все другие пути были отрезаны.

Поле, остывшее от атаки, запахло необычно — травой. Там, где положено расти хлебу, вот уже который год шла в рост сорная трава. Шатались от усталости кони со скорбными человечьими глазами, сошли на землю люди.

После сражения под Бакурами в плен попал адъютант Антонова. Он рассказал, что главарь восстания с самого начала боя не стал дожидаться исхода и незаметно скрылся. С ним ушли брат Дмитрий, денщик Алешка, комендант Трубка с женой и сестрой. Следы этой кучки затерялись в глуши Рамзинских болот. (Антонов вместе с братом будет убит год спустя в деревне Нижний Шибряй, в избе своей любовницы Натальи Катасоновой.) И хоть в лесах скрывались еще два полка под командой хитрого и осторожного Матюхина, Тамбовский губкомпарт опубликовал сообщение:

«Банды Антонова разгромлены. Бандиты сдаются, выдавая главарей. Само крестьянство отшатнулось от эсеровско-бандитского правительства. Оно вступило в решительную борьбу с разбойничьими шайками...»

Глава пятнадцатая

— Конь какой добрый! — похвалил комбриг, оглядывая великолепные стати мартыновского жеребца.— Чей такой?

Мартынов приосанился:

— Трофей, Григорь Иваныч. В бою добыл.

— Под Бакурами?

— А где ж еще? Там наши многие разжились.

— Тогда плохо, Константин. Это не тот трофей. Ты его обязан хозяину отдать.

Чернявое лицо Мартынова расплылось в самодовольной ухмылке:

— Поздно, Григорь Иваныч. Если б раньше чуток...

— Ничего не поздно! — оборвал комбриг.

— Поздно,— продолжал скалиться Мартынов.— Срубил я хозяина. И не пикнул. Ему теперь конь, как зайцу... кхе... Он на том свете пешком бегает.

— Это не хозяин,— Котовский, сдерживая бешенство, цедил слова и не позволял Мартынову отвести взгляд,— это бандит. А хозяин ждет. Может быть, уже ищет.

— Ну, если объявится...— с ложной готовностью уступил Мартынов.

— Объявится! — пообещал комбриг.— Отдай коня начхозу, понял? И смотри, я тебя знаю — сам проверю.

Мартынов сразу скис, с сожалением провел рукой по лошадиной шее.

— Слазь, слазь,— поторопил его Котовский.— Что, сам не понимаешь?

— Да понимаю, Григорь Иваныч. Как не понять? А все ж таки жалко!

По распоряжению комбрига всех коней, отбитых у бандитов, согнали в село Рождественское. Хозяева, у кого антоновцы позабирали рабочих лошадей, могли туда явиться, узнать своих и получить их обратно.

В Шевыревке о приказе Котовского узнали в конце дня и засомневались: а нет ли здесь какого обмана? С какой стати отдавать то, что захвачено в бою?

Брат Емельяна, Степан, не стал дожидаться утра и отправился в Рождественское на ночь: невтерпеж. Отговорить его Алена не смогла. Всю ночь потом она не сомкнула глаз и прислушивалась: не едет ли? Степан вернулся счастливый. Свою лошаденку он отыскал и привел домой.

— Эх вы, хозяева! — кряхтел он, устраивая донельзя отощавшую конягу в сарай.— Ее на дрова испилить...

— Руки есть, рук не жалко, выходим,— проговорил Емельян, наблюдая тихую хозяйскую радость брата. Съездив в Рождественское, Степан будто ожил. Лошадь — она всему хозяйству основа. Кроме того, Степан считал, что, если возвращают лошадей, значит и с новым налогом не будет никакого обмана. Как Ленин сказал, так и выйдет.

Он рассказывал, что народу за лошадьми понаехало — гибель. Ну, известно, кому удача, кому нет. На обратном

пути Степан разговорился с мужиком из деревни Холмы, тот жаловался, что уцелевшие после Бакур бандиты позабыли всякую совесть: «Разгасились па человеческую жизнь — никакого уему нет».

— Наши будто шалыганят, миловановского парня видели.

— Шурку? — удивился Емельян.— Все еще живой, выходит?

— Говорят, о доме соскучился. Не завернул бы.

— Пускай бы завернул! — У Емельяна сами собой сжались кулаки.— Уж мы бы его встретили!

Он вышел из сарая и увидел Кольку. Праздно скрестив на груди руки, Колька наблюдал, как в соседнем дворе ребятишки играли в «расстрел». Тот, в кого «стреляли», опрокидывался навзничь и шибко раскидывал руки. Кольке хотелось сделать замечание, что убитый человек валится совсем не так, однако вмешиваться в ребячьи игры не позволяло достоинство. «Мелкота...— презрительно думал он.— Ничего еще не видели».

Емельян спросил его о Зацепе, Колька сказал, что Семен с самого утра уехал в поле,— там вместе с крестьянами на покосе работали и гарнизонные бойцы.

— Вернется, пусть зайдет,— наказал Емельян и ушел в ревком.

Новость о Шурке Миловапове отбросила его к страшным дням, когда деревня оказалась залитой кровью. Стольких людей сразу лишились! Теперь их не вернешь. А опи сейчас вот как нужны!.. Емельян хотел посоветоваться с Зацепой: неужели и такому вот, как Шурка, если он явится добровольно, тоже выйдет полное прощение? Нет уж, с кого, с кого, а с Шурки-душегуба спросить не грех. Он, паразит, о себе здесь хар-рошую память оставил! Не забудется вовеки. Ребятишки малые подрастут и все время будут помнить...

Занимаясь делами, Емельян нет-нет да и вспомнит Шурку. В конце концов он решил, что Шурка едва ли согласится на добровольную сдачу,— слишком велики грехи у парня. Но тоска одичавшего в лесу бандита о доме рано или поздно заставит его сунуться в деревню. Значит, до тех пор, пока этот волк живой и на воле и думает о доме, покоя Шевыревке не знать.

Бойцов, назначенных в поле, Семен застал за работой. Рядом Иван Михайлович Водовозов устало махал косой, а Настя, замотав лицо платком, гребла и ворошила валки сохнущей травы.

Сухой июньский полдень истекал неторопливо, туманился от зноя луг, над кромкой синеющего леса стояли и не двигались высокие громады белых облаков. Аппетитно вжикали отточенные косы, под ноги валились полукружия спелой настоявшейся травы.

К исходу дня в поле появился Герасим Петрович Поливанов, увидел своих распоясанными и за работой и несколько минут сидел в седле, согнувшись больше обычного. Что ему напомнила картина дружно опустошаемого луга? Свою далекую спаленную избу, зеленую делянку, выкашиваемую в шесть мужичьих, незнающих усталости рук?

Недалеко маялся Милкин, работал как из-под палки. Герасим Петрович слез с седла, пихнул Милкина в плечо.

— Дай-ка... Да дай, тебе говорят! Косарь тоже...

Трава стояла высокая, густая, невпрокос. Оживая за работой, старик чувствовал, как надоели телу военные ремни, тяжесть шашки, кобуры с наганом или карабина наискось спины. Примерно через час, припотев и обсыхая, Герасим Петрович чиркал бруском по затупившемуся жалу и кричал Зацепе (тот вместе с Аленой, хозяйкой, где стоял постоем, перетряхивал траву граблями):

— Благодать-то, а? Прямо Христос босиком по душе!

Вечером решили в деревню не возвращаться, переночевать здесь, в свежих копнах. Алена кинулась готовить ужинать, затеребила привезенные из дома узелки.

Емельян и Колька, приехавшие из деревни, застали всех за едой. Сидят, вытянув ноги по земле, надкалывают яички, прихлебывают из бутылок с молоком.

— А мы уж думали, что случилось! — объяснил Емельян, тоже присаживаясь под копну.— Подождали, подождали — нету. Поехали-ка, говорю, глянем...

Раздвинулись, дали им с Колькой место. Алена старалась пододвигать куски получше Зацепе с Колькой,— свои-то не обидятся! Семен с Колькой видели ее старания и голода не выказывали. «Да ну... чего там!» Последнее очищенное яичко так задвигали, что его хоть выбрось.

Покос провели быстро, бойцы помогли свезти сено в деревню, сметать на повети. Разохотились люди на работу!.. Несколько дней выдалось пустых — некуда себя девать. Жалея Емельяна, день-деньской не вылезавшего из своего ревкома, Алена послала мужа звать его обедать. Так всю жизнь просидит!

В ревкоме Степану бывать еще не приходилось; бывал он здесь раньше, при Путятине, когда прижимало наниматься в батраки, но тогда его дальше порога не пускали. Теперь дом стоял нараспашку — заходи любой... Емельян сидел за столом и, растопырив локти, писал. Над его головой, в простенке, прилепленный хлебным мякишем, висел вырезанный из газеты портрет Ленина — выпросил на прощанье у Борисова. Ленин на портрете был в простецкой рабочей кепочке, смотрел искоса и вниз, словно измерял на глаз, способен ли председатель деревенского ревкома на что-либо путное. Емельян мучился, сочиняя обращение к народу. Ему хотелось, чтобы слова с бумаги прозвучали вслух во много раз лучше написанного.

«Все угнетенные, все поруганные и забитые,— писал он, свесив волосы,— идите под защиту ревкома. Пришла

новая власть, власть справедливая, но в то же время власть суровая...»

Тут и зашел брат, Емельян вскинул голову, нетерпеливо зажевал потухшую цигарку: ждал, что скажет.

— Некогда, некогда мне! — отмахнулся он от приглашения обедать.

Степан уселся как в гостях, собираясь поговорить.

— Наш-то, постоялец-то, молчун-то...— начал он, ковыряя отставшую обивку на столе,— за девкой водовозовской ухлестывает.

— Ну? — Емельян снова поднял голову и смотрел как человек, которому некогда.

— Да решёно вроде у них!

— Ну?

— Это Алена заприметила. Мне-то и невдомек...

— Ну?..

— Вот заладил: ну да ну! Свадьба, наверно, будет. Вот тебе и ну!

— Не в девках же ей сидеть!..— сказал Емельян, потом подумал и спросил: — Давно это у них?

— Да с покосов стали замечать. Говорю: Алена надоумила. Она же, знаешь...

Он стал рассказывать, как удивил его Зацепа, когда они совсем управились с покосом и собрались уезжать, а тот возьми да и останься помогать Водовозовым. «Чего это он?» — спросил Степан. «Господи! — притворно рассердилась Алена.— Ты каждой дыре гвоздь. Иди давай, они без тебя разберутся!» Ему тогда и в голову бы не вступило, а выходит, что Семен-то...

— Ладно,— перебил его Емельян, отказываясь слушать.— Ты иди, мне некогда.

Степан поднялся.

— Когда ждать-то?

— Да приду, никуда не денусь. Видишь — некогда.

И он остался заканчивать обращение.

«...Помните, граждане, кто против мозолистых рук, кто против трудового народа,— нету ему пощады! А кто с трудящимися — тому защита, с тем всегда будет ревком».

Из ревкома Емельян вышел вечером. Оказывается, успел пройти теплый летний дождик, а он и не заметил. Шлепая по лужам, бегали ребятишки. Древняя бабка Мякотиха гнала гусака, постегивая его прутиком. Возле водовозовских ворот сидел верхом Семен Зацепа и, нагибаясь с седла, слушал, что говорила ему, подняв лицо, Настя.

— Болит? — донесся Настин голос.

Семен подвигал лопатками и сморщился.

— Тянет.

«Видно, обгорел без гимпастерки»,— догадался Емельян.

— Ну, поехал,— сказал Зацепа невесте и натянул повод, заставив лошадь пятиться.

«Кажись, правильно сказал Степан: у них все решено!..»

Мысль о женитьбе пришла к Семену исподволь, как бы помимо его воли. Сначала он заглядывался, как бегает по отцовскому двору девка в домашней затрапезной юбке и с размаху хлещет помоями в плетень. Ну, смотрел и смотрел... Но на покосе он обнаружил, что ему все время хочется оглянуться и найти ее, и он оглядывался и находил, и ему было приятно сознавать, что она, пусть и не разговаривая, все время рядом.

С того дня, когда комбриг так оскорбил его, оставив, словно обозника, в деревне, в сознании Зацепы совершался незаметный медленный переворот,— он, почти всю жизнь знающий лишь одно: хорошо и удачно воевать, стал ощущать, что иная, какая-то большая, еще не пробованная жизнь все чаще трогает его своим большим крылом, а ему

уже пе отмахнуться от нее, как прежде, когда он жил только для строя и верил, что иной жизни ему нет и быть не может. Видно, потому он и заглядывался, как бегает у себя в ограде Настя, потому и перестал сердиться на комбрига. Ну, а уж на покосе, когда он удивил Степана, оставшись помогать, все завязалось как бы само собой. Кстати, без Семена Водовозовы проканителились бы с покосом еще с неделю, не меньше.

Иван Михайлович, конечно, видел неуклюжие Семеновы подходы к Насте (а Зацепа если что решал, то ломился напрямик), но хитровато полагал, что покамест он ничего, кроме пользы, от угрюмого, неразговорчивого красноармейца не имеет. Хватился Водовозов, когда было уже поздно.

Само собой, пришлось во всем виноватить жену: куда она смотрела, где были ее глаза?

Ночью Иван Михайлович спросил:

— А... пичего не замечала?

Та поняла и испугалась:

— Нет, нет, бога побойся! Да и не из таких он. С парнишкой опять же... Нет, греха не скажу.

Водовозов засопел. «Греха она не скажет!.. Видать, уже успели нашептаться обо всем. У-у, бабья дурость! Нет сообразить: время-то сейчас какое? Сегодня жених, а завтра, глядишь, убитый...»

Человек озлобленный, поперешный, Иван Михайлович поставил жениху твердое условие: венчаться в церкви. Так заведено исстари и отменять не нам. Хочешь? Тогда вот вам мое родительское благословение. Не хочешь? Ну, значит, и разговаривать не о чем!

Спервоначалу Семен взвился на дыбы. Церковь?! Поп?! Да он с ума сошел! Да чем такое... лучше с моста головой!

Но тут его мягко, ласково забрала в свои руки Настя. Подумаешь, поп! В Дворянщине такой попик, что еле себя носит. Одна тень осталась. Что он им плохого скажет? Да

и не обязательно слушать, что он там бубнит... И церковь тоже. Ну съездят, ну постоят. Да и отца с матерью жалко. Мать плачет, а отец... Уважить надо старого человека, от нас не убудет!

Словно горячий, норовистый конь под вежливым, но непреклонным поводом, Семен пятился, пятился и под конец сказал:

— Ладно. С комиссаром поговорю.

Емельян застал его с Настей у ворот как раз в момент прощания: Семен отправлялся в село Уварово, где стоял штаб бригады, просить комиссаровского благословения на церковный обряд. Вместо себя он оставил Бориса Поливанова, собираясь возвратиться быстро, не задерживаясь: поговорит и тут же назад.

Всю дорогу Семен размышлял о том, что делать, если комиссар откажет. На душе было муторно.

Разговор с комиссаром дался Зацепе тяжело. В своей жизни Семен привык обходиться только самыми необходимыми словами и сейчас, касаясь такого деликатного дела, как женитьба, мучительно соображал, как бы высказаться поубедительней,— так солдат, отыскивая единственный, куда-то запропавший патрон, лихорадочно перетряхивает все свое добришко.

(О женитьбе Семена, особенно о необычном условии, поставленном упрямым тестем, знали уже многие и с интересом ждали, чем закончится поездка к комиссару.)

— Тэк, тз-эк-с...— протянул ошеломленный Борисов и спросил первое, что пришло в голову: — Кто же она-то?

— Гражданка одна.

Шашку Зацепа поставил между колен, руки держал на медной головке. С каменной неподвижностью смотрел он поверх комиссарской головы. Лучше землю копать, чем такой разговор!

— И ты... что же, согласен?

У Семена побелели пальцы на рукоятке шашки.

— Я согласный.

Борисов наконец нашел необходимый тон.

— Ты хорошо все обдумал, Семен?

— Сказал же!..

— А то, что ты коммунист, ты помнишь?

На смуглом лице Зацепы что-то дрогнуло. Кажется, оно осунулось еще больше.

— Не бери меня за душу, комиссар... не бери! Я думаю, партия простит меня.

«Что ему скажешь?»

— А... с Григорь Иванычем ты говорил?

Это было самое трудное для Семена.

— Я потому и приехал, комиссар. Поговори ты. Мне стыдно.

— Вот видишь! — вырвалось у Борисова.

И Семена неожиданно прорвало. Никогда раньше комиссар не слышал от него столько слитных слов сразу.

— Я так соображаю, комиссар. Война к концу. К кому я приеду? Ты знаешь: одна лошадь у меня. А Кольке мать нужна. Он пацан еще... Я все обдумал, комиссар. Поговори с Григорь Иванычем. Я не могу.

Прямота Зацепы, похожая на выстрел в упор, обезоруживала. Собственно, если разобраться по-настоящему, разве не за это самое, не за счастье в мирной жизни воевали, редея и снова пополняясь, полки и эскадроны? И вот нашел человек, словил свою судьбу...

— Ладно, Семен, поговорю. Но на партячейке все равно придется всыпать. Не обижайся. Эк ведь что придумал: церковь!..

Зацепа поднялся и с облегчением вышел. Послышался бешеный топот коня.

Котовский, едва комиссар стал рассказывать ему о своем разговоре с Зацепой, сначала не поверил. Комбрига изумило не церковное венчание (чего побаивался Борисов), сразило его само известие о женитьбе — кого бы ду-

мали? — Зацепы, самого Семена Зацепы, железного человека, в чьей испепеленной душе, казалось, не сохранилось и росточка чувств. Нет, нет, сказал комбриг, черт с ней, с церковью. Но ему хочется поглядеть и на Семена, и на его невесту. Пусть приедут, и непременно вместе. Интересно, в самом деле, кто же это его оживил, расшевелил?

После разговора с комиссаром Григорий Иванович долго расхаживал, хмыкал, качал головой. Разбередил его Зацепа со своей женитьбой.

Григорий Иванович помнил Зацепу со времени отхода Южной группы войск, на его глазах война оставила в душе Семена жестокое, истоптанное пепелище. В те дни Семен Зацепа, один из тысяч отступающих людей, показал такой пример силы духа, что на многие годы остался для бойцов бригады как бы долгом и совестью войны.

Глава шестнадцатая

Южная группа войск имела свою историю. Ровно два года назад, в июле девятнадцатого, Котовский принял командование 2-й стрелковой бригадой 45-й дивизии. Костяк ее полков состоял из бывших красных партизан Приднестровья и Бессарабии: рабочие и крестьяне Тирасполя, Балт, Кишинева, Бендер, Сорок и Хотина. Командовал 45-й дивизией Якир.

Бригада держала оборону по Днестру, отбивая налеты румын в районах Бендер и Дубоссар. Это было лихое время, бродившее как молодое вино.

Однажды утром с тыла, где находилась Одесса, раздался гром орудий. Бойцы насторожились: в Одессе были свои. Вскоре выяснилось, что деникинцы взяли Одессу десантом с моря. В считанные часы красноармейские части, державшие фронт, лишились тыла и оказались в окружении.

Чтобы выжить, уцелеть, оставался один путь: пробиваться на север, на соединение с 44-й дивизией. Предстояло пройти с боями более четырехсот километров.

Из уцелевших соединений 45-й и 58-й дивизий составилась Южная группа войск. Котовский назначался начальником левой колонны. Правую колонну вел двадцатидвухлетний Иван Федорович Федько.

Ожесточенные бои сопровождали каждый километр пройденного пути. Спереди приходилось биться с петлюровцами, справа нажимал Деникин, слева — атаман Заболотный, сзади по пятам преследовало пьяное воинство Махно, Черного, Ангела.

До каждого бойца был доведен приказ Реввоенсовета Южной группы войск, подписанный Якиром и Гамарником.

«...Нам, красноармейцам, на юге Украины приходится временно под натиском врага отступать, идти на соединение с нашими братьями под Киевом, красными братьями России, быстро продвигающимися к Харькову.

Наша общая победа близка, нужно напряжение, спокойствие, выдержка.

Враг напрягает все силы, дабы не дать нам соединиться...

Серьезность положения войск Южной группы требует от всех — от высшего командования до рядового красноармейца — напряжения всех сил, настойчивости, спокойствия, а главное, проявления полной организованности и дисциплины во всех своих действиях...

Реввоенсовет требует от всех проявления высшей степени дисциплинированности, так как дисциплинированная армия, исполняющая незамедлительно все приказы своих руководителей и начальников, легко выйдет из любого положения.

Всякое неисполнение в походе боевого приказа будет признаваться как предательство и дезертирство и должно

караться на месте самими красноармейцами и командирами...

Вперед, герои! К победе, орлы!»

Войска были отягощены громадными обозами: десять тысяч подвод. Везли снаряды, патроны, снаряжение, везли раненых и тифозных. Путь проходил через сосновые леса Подолии, по песку и безводью. Стояла августовская жара. Попадавшиеся колодцы, как правило, были отравлены.

Громадный тележный обоз был и обузой, и арсеналом пробивающейся армии. Темными ночами, когда движение ненадолго затихало, подводчики, мобилизованные подольские хуторяне, потихоньку сваливали с телег снарядные ящики и разбегались по домам. Они знали, что разыскивать их и наказывать не станут,— некогда. Рано утром наваливали брошенный груз на оставшиеся телеги.

Каждая подвода тащила предельно много: пятьдесят пудов снарядов. Колеса по ступицу зарывались в вязкий песок. Изнуренные лошади мочились кровью.

К тому времени Семен Зацепа воевал уже больше года. За него, скрывающегося в плавнях с небольшим партизанским отрядом, беляки зарубили мать с отцом, сожгли хату. В родном селе у Семена осталась последняя присуха: Фрося, дочка зажиточного соседа. Однажды братья Фроси подкараулили Семена, связали вожжами и, связанного, измолоченного до полусмерти, бросили подыхать в ночном поле. В ту ночь смерть совсем наклонилась было над Семеном — выручила Фрося. Она разыскала его, распутала крепкие ременные вожжи, оттащила и спрятала в неглубокой степной балке. Два дня отлеживался Семен, подкапливал силенок. На третий, дождавшись темноты, они поковыляли искать своих...

В партизанах и позднее, когда отряд Зацепы вместе с другими такими же отрядами влился к Котовскому, лучшей защитой Фроси было молчаливое присутствие Семена, его угрюмый, не суливший ничего хорошего взгляд. Вся-

кий, на кого взглядывал Зацепа, сразу унимал язык и свою мужскую прыть, старался убраться подобру-поздорову.

Сейчас Фрося металась в тифозном бреду, поминутно просила пить. Для больной жены Семен добыл хорошую подводу, настелил соломы, но с каждым днем в телегу, под соломенную постель, приходилось накладывать снарядные ящики — ряд за рядом. Бросать снаряды было бы самоубийством. Это был самый важный груз — снарядами проламывали путь на север.

Вечером Фрося сказала мужу:

— Люди, поди-ка, говорят, что бабу взял в нагрузку? Может, в санобоз мне?..

— Никто ничего не говорит...

— Сема, одно прошу... если уж совсем я... смотри, в плен меня не оставляй.

— Не болтай чего зря! — сердился Зацепа.— Кто тебя оставит?

— Лучше патрон страть, ладно?

Семен отворачивал мрачное лицо. Плен!.. За эти дни он нагляделся, что делает враг с пленными. Для бойца, попавшего в руки врага, смерть казалась благом, избавлением, но умереть доводилось не раньше, чем человек испытает все мучения,— на обезображенные трупы потом страшились смотреть даже заматерелые фронтовики. Поэтому оставлять раненых, больных на потеху озверевшему врагу считалось равносильно самому подлому предательству.

Пить, пить, пить!.. А воды, как на грех, в жестокий обрез. Здоровые еще поймут, потерпят, но что сказать тифозным, раненым? Им в горячечном бреду видятся родники и ручьи, прохладные утренние заводи. А август как взбесился: ни тучки, ни дождинки... Попадались скудные речонки, и это было спасением. Чистые колодцы находились в селах, но оттуда, как правило, гремела встречная пальба, и такие села лучше было обойти стороной, чтобы не задерживаться. Выгадаешь с водой, прогадаешь с временем!

Как-то в раскаленный полдень набрели на брошенный колодец и вдруг увидели, что сюда же, к воде, тянется отряд с черным бархатным знаменем. Как те, так и другие отупели от жары настолько, что об оружии словно забыли. Вода!.. С черного знамени грозила вышитая надпись: «Мы горе народов утопим в крови!»

Семен снял жену с высокой груды ящиков, отнес в тень. Иссохшие губы просили хоть ложечку, хоть каплю.

Возле колодца перемешались махновцы и бойцы, каждый рвал ведро к себе. Плескалась вода на босые ноги, на запыленные сапоги, однако припасть к холодному обливному краю решимости ни у кого не хватало: а вдруг отравлена? С маузером в руке Семен протолкался вперед, ударил в плечо парня в барашковой шапке с голым, сморщенным, как у скопца, лицом. Тот вызверился, но, увидев, что человек не в себе, уступил. На Семена, наливавшего из ведра в манерку, смотрели во все глаза. Он оглянулся, поискав, кому бы дать попробовать (собаке, что ли?), потом хлебнул сам и зачмокал губами, прислушиваясь к ощущениям... Затаились! Ну, скорчится, не скорчится? Семен стал доливать манерку доверху.

— Подержись, Фрось!..— попросил он шепотом, проливая в истомившиеся губы скупые порции воды. Махал маузером, отгоняя от лица мух.

Нет, не довезти, однако! Который день без памяти, глаз не открывает...

Сзади, у колодца, гомонили люди, раздался сочный звук удара... Похлестали друг дружку, напились и, не вспомнив об оружии, которым были увешаны, разошлись каждый своей дорогой.

С телег снимали умерших, рыли в песке ямы. Хоронили без слез, тупо. Кто-то точил на камне шашку и вслух высчитывал, сколько осталось до Житомира. Стало известно, что на днях Деникин занял Екатеринослав и повернул на

Киев. Ох, торопиться надо было к Житомиру, покуда там свои.

К вечеру жара пошла на убыль, лагерь поднялся. Зацепе сказали, что пало еще три лошади. Что делать? Телеги бросать, снаряды перекладывать, не оставлять.

На помощь лошадям припрягались люди.

Громоздкое тело армии ползло по извилистым дорогам и без дорог. Стучал телеграф, скакали нарочные. Штабы получали свежие сведения, и командиры с обостренной тревогой составляли общую картину отступления. Под плотным натиском со всех сторон армия упрямо отбивалась и не прекращала движения, оставляя после себя изрытую землю, пятна костров, загаженные рощицы, растолченные поля — и могилы, могилы, могилы...

Пробиваясь на север, армия на ходу обретала необыкновенные боевые качества. Она расстреливала паникеров и трусов, горланов и подстрекателей — обрубала гнилые члены, чтобы сохранить весь организм.

Портовые рабочие с могучими плечами, батраки из немецких колоний, пастухи с крепкими обветренными скулами, тираспольские крестьяне — все они за эти недели отступления стали на одно лицо. Из человеческого месива в драных шинелях, ватниках, каких-то кацавейках выковались боеспособные соединения, военный монолит, о который потом расшиблись самые яростные атаки врага. Позднее враг, обозленный стойкой жизненной силой бойцов, а равно и устрашающим их видом, назовет армию «дикой», однако известно, что всякая брань в устах противника воспринимается похвалой.

Последний рубеж, который предстояло одолеть, чтобы соединиться со своими, находился между железнодорожными станциями Попельня и Бровки.

Каждый боец, каждый командир сознавал, что вот оно, спасение: еще одно усилие — и конец испытаниям. Неужели зря положили столько сил, столько жизней? На пройденный путь, на все, что пришлось испытать, страшно было оглянуться.

Враг, конечно, тоже понимал, что в этом месте ему представляется последний случай растрепать «дикие» живучие полки. Если они прорвутся и соединятся, значит, станут еще сильнее.

Котовский, исхудавший, воспаленный, не слезал с седла. Везде нужны были глаз и рука, и он скакал то к Евстигнеичу, расчищавшему дорогу железными метелками шрапнелей, то на самый фланг, где у пехотинцев намечалось угрожающее положение, то появлялся в обозе, приказывая подтянуться и не создавать перебоев в снабжении снарядами.

С седла он наклонился к Зацепе, притянул его за гимнастерку к самому лицу. Голос сиплый, сорванный.

— Снаряды не бросаешь? Подвод хватает?

Подвод не хватало, но снарядные ящики пока бросать не приходилось.

— Людей припрягай, людей! — требовал комбриг.

— Люди уже не в силах, Григорь Иваныч.

— В силах! — возразил Котовский.— Ты просто не знаешь. И смотри, увидишь на телеге мешок, сундук какой-нибудь, сбрасывай без разговору. Харчи? На себе пусть тащат... Нам сейчас каждый снаряд дороже буханки.

И он ускакал.

Зацепе казалось, раненые и тифозные, закоченевшие к рассвету, уходили из жизни с сознанием, что своей смертью они облегчают живым задачу победить.

Хуже оказалось с лошадьми: лошадиная выносливость уступала человеческой. Комбриг был прав: Семен еще не знал меру силам человека, не имел случая в этом убедиться.



Юцевич поймал комбрига на ходу, замахав из окна телеграфным бланком срочного распоряжения, полученного из штадива. Котовский осадил коня, подъехал, и, пока читал, вчитывался, грудь его задержалась на полувздохе: сегодня с утра он был натянут как струна.

Конь шарахнулся, когда Котовский прянул с седла на землю.

Начальник штаба поспешил за комбригом в аппаратную. На его взгляд штадив, посылая такое распоряжение (а если прямо, то самый обыкновенный разнос), совершенно неправ, но, зная о натянутых отношениях комбрига с начальником дивизии, Юцевич все же считал, что следует войти в положение и тех, кто наверху: они тоже живые люди и все эти недели боев работают без роздыха — не мудрено и сорваться.

В аппаратной комбриг схватил связиста за плечо.

— Готов? Стучи: «У аппарата Котовский... Кто у аппарата?» (Оттуда простучали.) Кто у них там? Помначштадив? Стучи ему: «Что вы порете?» Да, да, так и стучи, как говорю! «Что вы порете? Вашего приказа я никогда не получал. Вы толком говорите, что хотите...»

Неожиданно навстречу аппарат застучал деловито и категорически — опытным ухом Юцевич уловил, что на том конце прямого провода находится кто-то из высших командиров. Так и оказалось: к аппарату подошел Якир.

Слушая расшифровку бесконечных точек и тире, Котовский, словно от жестокого оскорбления, стиснул зубы. Юцевич напрягся: сейчас сорвется!.. Нет, постоял, покачиваясь, взял себя в руки.

— Стучи: «Прошу принять к сведению, что у меня кавалерия на лошадях, а не на машинах. Лошади крайне переутомлены беспрерывными переходами. Половину лошадей уже ведут в поводу».

Якир: «Вчера вечером и ныне я два раза докладывал командующему и Реввоенсовету... Соседка справа выпол-

няет задачу и требует поддержки; заявить себя совершенно вышедшими из строя не можем, а следовательно, нужно сделать что-то такое, чтобы при наличии имеющихся сил суметь хотя бы обороняться и не подводить соседей».

Котовский (отчаянно): «Противник кроет ураганным ружейным и пулеметным огнем при появлении отдельных всадников».

Якир: «За малейшее неисполнение приказания в первую очередь будет расстрелян командир и комиссар... Никакие заступничества во внимание приняты не будут... Товарищ Котовский пусть заразит бойцов своим духом. Пока все».

Аппарат умолк. Раскидав ногами клубок узкой телеграфной ленты, Котовский выскочил из комнаты и побежал к коню. Завидев комбрига, Черныш стал срывать с лошадиных морд торбы с овсом.

К середине следующего дня наметился перелом в сражении. Железное упорство пробивающихся частей остервенило противника. Казалось бы, обреченные люди никак не соглашались погибать, и жажда мести, крови, застарелая злоба придавали бою небывалое ожесточение.

Котовский продиктовал приказ:

«Предупредить части, что всякий отставший от своей части будет сочтен умышленно отставшим с целью грабежа и будет расстрелян на месте».

Отбиваться приходилось отовсюду, но главное свершалось впереди, где работало хозяйство Евстигнеича. Старый фейерверкер уже не махал своим платочком, а сам припал к орудию и мастерски наводил по целям.

— Гриша! — завопил он, впервые называя комбрига по имени.— Ты что же делаешь? Снаряды подавай!

Старик показал на густые цепи сытой белогвардейской конницы, готовившейся к кровожадному штурму.

— Замолчим — сомнут! Костей не соберем!

Высматривая из-под ладони, Котовский кусал губы. Батарея работала, точно чудовищная молотилка: отвесный град шрапнелей разметывал сбивающиеся цепи врага. Но беда, если орудия сядут на голодный паек, а то и замолкнут.

— Гриша!..— стонал старик.— Богом молю!

— Держись, батя! — крикнул Котовский.

Он увидел цепочку бегущих людей, каждый держал в руках по снаряду. Противник открыл по батарее беглый огонь. Бойцы со снарядами пригибались, их осыпало комьями взлетающей земли. Один или два упали.

— Коту слезы! — заругался Евстигнеич, глянув на поднесенные снаряды.

— Григорь Иваныч,— доложил запыхавшийся Зацепа,— лошади легли. Которые убиты, которые лежат. Я приказал — на себе!

Он широко разевал рот, перекрикивая гул разрывов.

— Правильно. Только быстрей надо, быстрей! — Котовский соскочил с седла, бросил Зацепе повод.— На, возьми мою. Запряги там — пусть из шкуры вылезают! Слышишь? Сейчас еще немного — и возьмем на передки. Смотри, ждать никого не будем. Отходи за нами следом.

Эскадрон мадьяр, протяжно воя, с поднятыми шашками поскакал к железнодорожной насыпи. Паровоз с двумя блиндированными платформами запыхтел и покатил к видневшимся на горизонте станционным постройкам.

— р-ра-а!..— донесся дружный рев пехоты, поднимавшейся в штыки.

Зацепа с уцелевшими бойцами побежал назад. Сесть в седло он не догадался и коня держал за повод.

Среди разбросанных снарядных ящиков с винтовками в руках сидели раненые. Некоторые приготовили гранаты.

Всем, кто мог двигаться, Зацепа приказал взять по снаряду — и бегом на батарею.

— Скажите там: мы сейчас!

Лежавшим в цепи он послал сказать, чтобы начинали медленный отход. Там, впереди, сейчас идет бой у железнодорожной насыпи.

Проверяя пустые ящики, Семен переворачивал их ударом сапога. Подводу нагрузили с верхом. Коня комбрига запрягли, даже не сняв с него седла. Раненые облепили подводу, готовые и помогать коню, и держаться, чтобы не упасть.

Позади трещали выстрелы. Цепь отходила, сдерживая натиск.

Несколько человек опустились на землю, уронили обессилевшие руки.

— Братцы, вы что? — испугался Зацепа.

Один, с перевязанной головой, поднял опухшее лицо, отдул с глаз клок грязного бинта.

— Иди, Семен, за нас не думай. Мы не дадимся.

В упряжке заржала лошадь, взвилась на дыбы. Ее стегали в десяток рук, наваливались на увязшие в песке колеса, но подвода не трогалась с места.

Семен крикнул снять несколько ящиков, разобрать по рукам. С воза ему в руки упал тяжелый ящик, Зацепа посинел от натуги и присел. Подводу скособочило, колеса с одной стороны ушли в песок по ступицу.

«Фрося!..» — вдруг вспомнил он и опустил ящик.

Она лежала в брошенной телеге, по-прежнему без сознания. В оглоблях завалилась убитая лошадь с оскаленной мордой. Семен взял жену на руки, сделал несколько шагов и остановился. Песчаная зыбь не отпускала воз со снарядами. Ноги бойцов, толкавших телегу, натужно зарывались в проклятый песок.

Прижимая к груди бесчувственное тело жены, Семен побрел в сторону от застрявшего воза. Бойцы глядели на него с недоумением. Семен брел по песку, как по воде, коробка с маузером цеплялась за кусты. Он скрылся, но бойцы, видевшие, как он шел, чего-то ждали.

В кустах ударил выстрел, всех невольно дернуло. Зацепа вышел на дорогу один, с маузером в опущенной руке.

— Баба у меня, братцы, померла,— бормотал он, расширенными зрачками вглядываясь в каждого.— Не осудите, братцы...

В полном молчании люди накинулись на воз. Вцепились, рванули, и воз заскрипел, пополз, оставляя в опостылевшем песке глубокие борозды. Между бойцами путался Зацепа, его отпихивали, сопели, вполголоса ругались...

Пробились все-таки, уцелели!

А тут еще радостное сообщение, что соседка справа, 58-я, взяла Умань.

Полная победа!

После торжественной встречи с 58-й Котовский сел сочинять обращение к своей бригаде. На этот раз он обошелся без диктовки. Написанное на бумаге имеет особую силу, и он хотел, чтобы люди, выдержавшие нечеловеческое напряжение, услышали о своем геройстве высокие и звучные слова.

«В тяжелую минуту,— писал он,— вы стойко шли вперед, невзирая на опасность, которая угрожала нам со всех сторон. Вы не забыли, что мы являемся авангардом Великой Мировой Пролетарской Революции, и стойко выдержали все удары. Товарищи! Вы с твердостью перенесли голод и жажду как настоящие коммунисты и строители Нового Пролетарского Государства...»

«Постановление Совета Обороны

1 октября 1919 г.

1. Наградить славные 45 и 58 дивизии за геройский переход на соединение с частями XII армии почетными знаменами революции.

2. Выдать всей группе за этот переход, как комсоставу, так и всем красноармейцам, денежную награду в размере месячного оклада содержания.

Председатель Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин)»

Покуда полки отмывались и отдыхали, Котовский писал аттестации на отличившихся бойцов, указывая против фамилии каждого его достоинства и воинскую доблесть. Дойдя до Семена Зацепы, задумался, потом коротко вписал: «Имеет железное сердце».

Семен потемнел, словно спаленный внутренним огнем. Глаза его теперь казались черными, хотя всегда были карими, и покойная Фрося ласково звала его «светлоглазкой». Он низко надвигал фуражку, не позволяя заглянуть себе под козырек и увидеть, какая боль сидит в его душе. Отрешившись от всего, что не имело отношения к войне, что мешало бы ему воевать, он жил одною ненавистью и бывал страшен в боях, плача от неизбывной ярости.

Первую улыбку на его лице Ольга Петровна увидела, когда он раздевал замызганного Кольку. Она поняла, что Семен больным открытым местом в своей израненной душе припал к живому и находит в этом пусть небольшое, но желанное облегчение.

Глава семнадцатая

Для поездки к Котовскому запрягли тележку с плетеным коробом, набросали сена. Запрягал Герасим Петрович.

Когда в короб, приминая сено, уселась принаряженная Настя, старик склонил голову набок, умильно распустил морщинки.

— Ах, Сем, я и свадьбу вам отгрохаю! Сам за все возьмусь. Вот увидишь!

— Ладно тебе! — грубовато отмахнулся Семен, разбирая вожжи и оглядываясь, все ли в порядке. Встреча с комбригом мучила его неизвестностью: а ну примется пушить?

Затрусил конь, набирая размашистый ход, забренчало подвязанное ведро. Совсем домашний, семейный выезд. Настя натягивала платок, закрывая лицо от солнца.

В селе Медном, где находился полевой штаб бригады, Зацепа остановил подводу и передал вожжи Насте. Оглядел себя, застегнулся и поправил фуражку.

В штаб он вошел затянутым, словно военная форма делала его неуязвимым. Он никогда не робел перед начальством, но авторитет комбрига, да и предстоящий разговор требовали, чтобы выглядел он, как положено.

Волновался Семен напрасно. Вчера из Тамбова пришло наконец долгожданное сообщение: Ольга Петровна родила двух девочек. Григорий Иванович был счастливо обескуражен (все-таки двойня — вот не ждали, не гадали!). В том, что вместо ожидаемого сына родились дочери, девочки (сразу целая семья!), он находил неизведанное удовлетворение и, с трудом сдерживая улыбку, вертел головой, блестел глазами.

— А что? Мальчишки, говорят, к войне, девчонки — к миру. Нормально!

Строго взяв под козырек, Зацепа стал докладывать о прибытии, но комбриг, с непривычно расстегнутым воротом, весь какой-то нараспашку, вылез из-за стола, обнял его, и они молча, лбом ко лбу, замерли. Не снимая рук с плеч Зацепы, комбриг отодвинул его и заглянул в глаза.

— Здесь она? Зови.

Семен показался на крыльце. «Пошли»,— мотнул он Насте головой.

Проникаясь волнением, Настя на ходу обирала соломинки, поправляла пышные, с напуском в плечах рукавчики. Платок она спустила, волосы пригладила на обе стороны.

— Ну-у... Семен! — пропел комбриг и в восхищенном изумлении расставил руки.— Кра-савицу сыскал! Молодец.

Семен кашлянул, переступил.

Так, с расставленными руками, точно собираясь заключить невесту в объятия, Григорий Иванович подошел ближе. Настя ойкнула и закрылась концами платка. Комбриг повернулся к Зацепе.

— А помнишь, оставаться не хотел? Ух, зверь! Еще поругаться с тобой пришлось.

— Ладно старое-то вспоминать,— укорил его Борисов.

— Бригада гордится тобой, Семен! — с чувством сказал Котовский и сжал кулак.

Без привычки к похвалам переварить слова комбрига было трудно. Зацепа опустил глаза, стоял покаянно, точно в чем-то виноватый. Котовский наговорил Зацепе столько сердечного, что Настя совсем застеснялась, незаметно взяла жениха за руку, крепко сжала и уже не отпускала. Так, рука в руке, они и вышли из штаба.

Комбриг лег на подоконник животом и смотрел на молодых, кивал им из окна и улыбался до тех пор, пока не забренчало ведро.

— Ах, черти-девки, а? Что с нашим братом делают! — он отвлеченно улыбался и словно прислушивался к своим словам.— А мужик-то... лев!.. орел!

Вздохнул и еще раз выглянул в окно.

Поздней ночью к темному миловановскому дому, крадучись, пробрался человек, озираясь, приник к стене, затем тихонько стукнул в окно. Зашлепали шаги, тихий женский голос спросил:

— Кто там?

Вместо ответа человек прижал к стеклу растопыренную ладонь.

— Господи!.. Сынок!..— простонала Милованиха и кинулась в сени отворять.

В темноте она припала к нему, замерла.

— Тихо, тихо,— басил Шурка.— В избу пошли.

Завесили окна, зажгли лампу. Отец сидел босиком, в одном исподнем, ногой чесал ногу. Шурка жадно рвал зубами мясо, жмурился, присаливал — оголодал в лесу.

— Сынок, да вас не кормят, что ли? — не выдержала мать.

Перестав жевать, с оттопыренной щекой, Шурка тяжело посмотрел на нее, ничего не сказал. От страха мать положила ладонь на губы, но на Шурку смотрела жалостливо, со слезой. В лесу он пропах дымом, оброс грязью, волос посекся. Даже постарел как будто...

— Слух есть, уходит Котовский-то,—сказал сам Милованов.

— Знаем.— Шурка оглядел обсосанную кость, приложился в одном месте.— Мы еще гульнем. Мы еще саму Москву тряхнем за чуб!

— Сынок,— вздохнула мать,— уж не до Москвы бы. Какая вам в ней корысть? Люди жить начинают. Погляди-ка днем...

— Изменщики! — Шурка ударил по столу и тотчас оглянулся на дверь, на окна.— Доберемся мы до них, дождутся!

— Сынок, а может явиться тебе? Говорят, закон есть — милуют, кто явится. Пожалей ты свою головушку. И мы бы с отцом умереть могли без горя.

— Мамаш,— закипятился Шурка, застучал костяшками,— шибко мне не по душе ваши слова! Как бы вам худо не было за такие речи. У себя мы за такое наказываем беспощадно, можно сказать, караем. Под чью это вы дудку поете, мамаш?

— Ты постой,— вмешался отец.— Ладно пугать-то. Ты лучше скажи, сколько нам еще из-за угла поглядывать? Сколько ждать?

Шурка, опьяпев от сытости, хорохорился.

— Эх, не знаете вы, какая у нас сила! Ну да еще услышите. А может, и увидите.

— Люди свадьбы играют, у людей праздник, а вы? — пригорюнилась Милованиха, качая головой.— За что нам наказание такое?

— Какие свадьбы? Кто? — заинтересовался Шурка.

Услышав, что соседка Настя Водовозова выходит замуж, он надолго уставился в угол, затем с усилием поднялся.

— Ладно. Пойду я. Обо мне, понятно, никому ни слова.

Взял хлеба, прошлогоднего сала и прямо с порога растворился в темноте.

Герасим Петрович обещание молодым сдержал и в хлопотах о свадьбе сбился с ног. Старик поспевал везде, точно собственного сына женил.

Он отозвал в сторону Мартынова, дружку жениха, и стал его учить.

— Слушай и запоминай. Обязательно запомни!.. «Аж ты ведьма, аж ты веретевница, аж ты заключевница! Тогда ж ты мою свадьбу возьмешь, когда в Русалим-град сходишь и господню гробницу откроешь, самого господа в глаза ввидишь, и тебе в Русалиме-граде не бывать и господней гробницы не вскрывать и господа не видать, и потому дзелу у вас не бывать...»

— Дед,— взмолился Мартынов,— ни хрена не пойму! Дзелу... Из поляков выдрал, что ли? По-моему, тык-пык и поскорей за стол.

— Оголодал!.. Если хошь по-людски, не прекословь!

— Отец, да шибко-то зачем?

— А куда торопишься? Это ж на всю жизнь!

В избе стоял накрытый стол. Ходил вокруг торжественный Самохин и что-то поправлял, переставлял. Богатый получился стол, хоть перед кем не стыдно!

Захлопотавшемуся старику Самохин заявил:

— На гармони самолично согласен играть!

Герасим Петрович, пересчитывая стаканы, рюмки, вилки, отмахнулся от него.

— С музыкой твоей! Людей разгонишь.

— Обижаешь, отец!..

— Господи!..— спохватился старик.— Все помнил, а рушники забыл!.. Борька, Борис, Бориска, слышь? Беги за рушниками!

Обряжая невесту, голосисто распевали девки:

Луга мои, зеленые луга!
В тех ли лугах все ковыль да трава,
В той ковыле белый олень золотые рога.
Мимо ехал добрый молодец,
Стегнул оленя плеточкою...

На улице, на бревнах, праздничное оживление. К Самохину, доставашему гармонь, приставал с ученым разговором успевший где-то выпить Милкин.

— Товарищ боец, интересуюсь знать: а сколько верст до солнца?

— Не мельтеши,— отпихивал его Самохин.— Выпил — иди спать.

Взревела гармонь, в круг вышел Мартынов, истомленно повел бровью, плечами, махнул себя по волосам и, притопнув каблуком, сверкнул глазом на гармониста: «Эх, ходу дай!» Самохин от старательности прикусил губу, рвал мехи, не жалел — не осрамиться бы!

Выскочил избе́гавшийся Герасим Петрович.

— Чего раньше времени? Тачанку подавай! Ехать надо.

Разукрашенной тачанкой правил на вытянутых руках Борис Поливанов. Сидел как именинник, весь светился радостью.

— Ты зубы-то не скаль! — одернул его Герасим Петрович.

— Папаш, так праздник же!

Подали еще одну упряжку, телегу с коробом, стали рассаживаться. Качнув тачанку, поднялась и села Настя, расправила на коленях платье. Наряд ее мгновенно, в десятки глаз, изучили и остались довольны. Мать с отцом молодцы: меняли, приторговывали, собирали помаленьку дочь. Знали, все равно подойдет положенный срок... У Семена вороньим крылом блестели вымытые волосы, начищены сапоги. Мартынов подталкивал его и шипел, чтобы не сидел кулем, а смотрел бы по-орлиному, руку упер в бок. Семен отпихивался локтем: «Отвяжись!»

Близко сунулся Герасим Петрович, велел наклонить ухо.

— Ты не думай, я с попом договорился, он тянуть не будет...

Хотел еще что-то сказать, но заверещал сиповатый бабий голос, и все невольно повернули головы: показалась Фиска, шла, приплясывая под частушку:

Воскресенье подошло,
Не пойду молиться.
Етто времечко прошло,
А пойду учиться.

Увидев снаряженный выезд, Фиска умолкла, отыскала глазами невесту и умилилась чужому счастью, чужому празднику, стала сморкаться, вытирать глаза. И жалко ее, непутевую, стало всем вокруг: тоже ведь живой человек!

Верхом на Бельчике гарцевал ухоженный Колька, заломил кубаночку, горячил коня.

Украдкой, для одних молодых, Герасим Петрович пробормотал:

— «Святой Кузьма, подь на свадьбу, скуй нам свадьбу крепку, тверду, долговестну, вековетну».

И махнул заждавшемуся Борису:

— Трогай!

Разом взвились ленты, загремели колокольчики, девки подхватили песню:

Ты поди в собор-церковь,
Позвони во большой колокол,
Пробуди ж ты родного батюшку
И родную матушку...

Разукрашенная тачанка с молодыми взлетела на бугор возле ветряка и покатилась вниз. Рядом скакал Колька, влитый в седло картинно, под Котовского.

В другой упряжке вдогон пластались кони...

Спохватившись, Герасим Петрович кинулся в избу ругаться с матерью невесты. Не догадалась дура-баба с вечера поставить холодец в погреб, теперь жди, когда застынет!..

Иван Михайлович Водовозов ехал с родней в тележке с коробом. Разнаряженная родня приехала из другой деревни. Откровенная зависть родни заставила его испытать в душе нескрываемое довольство. Она, родня-то, всегда подсмеивалась над его неудачливостью, пропащей головушкой называли и Настю. А она возьми да и подцепи себе вон какого жениха! Это ничего, что у него одна гимнастерка на плечах. Нынче на богачество иначе надо глядеть. Сегодня он гол как сокол, а завтра, глядишь, до него и не дотянешься. Если уж сам Котовский к нему, как рассказывала Настя... Нет, не прогадала дочь, нисколь не прогадала!

До церкви долетели бешеным скоком. Мотались конские морды, летела пена, заливались бубенцы. Скручивая коням шеи, Борис лихо осадил у церковного крыльца. Переполох копыт и дробь колес оборвались, точно отрезало, лишь бубенцы еще звенели с минуту, не менее. Семен Зацепа, строгий и прямой, свел невесту на землю и подставил локоть. На них глазели, напирали, перешептывались — Семен и бровью не шевельнет.

Томиться он начал в самой церкви, когда в лицо ему ударил сложный теплый запах, подогретый огоньками скудных свеч. Негромкий мужской голос за притворен-

пыми расписными дверями что-то обыденно бубнил, точно бранился.

В парадных и, казалось бы, тяжелых, наваленных одна на другую одеждах появился старенький священник, и у Семена дернулся кадык,— он точно увидел своего врага. Такие вот, патлатые и сладкоголосые, всю жизнь были заодно с офицерьем и всякими буржуями, вместе с ними причинили столько зла и ему самому, и всему трудовому народу... Очень вовремя сзади кашлянул Иван Михайлович, один раз, потом еще, еще. Семен увидел, как цвело лицо Насти, вспомнил, какое уважение оказала ему бригада, разрешив венчание, и унял себя, приблизился к попу с каменными скулами, с бровями в линию: дескать, ладно, делай свое дело, мы потерпим.

Дряхлый попишко глуповато, со страхом поглядывал на вооруженных людей. Лицо жениха не обещало ничего хорошего. Шашка, маузер, ремни... И поп заторопился, словно виноватый, стал частить проглатывая окончания фраз.

Колька, причесанный, со свечой в руке, стоял прямо, навытяжку, подражая Семену, но в умытом личике, в жадных глазенках горели неуемные ребячьи огоньки.

Снаружи в церковь вскочил Борис Поливанов, оставшийся при лошадях, заорал:

— Семен! Братцы... Банда!

Все лица разом дернулись назад, к дверям. Бахнул близко выстрел, на паперти раздались бабьи взвизги, крик.

Первым нашелся древний попик. Подхватив длинные негнущиеся полы своих одежд, он проворно юркнул внутрь и слегка хлобыстнул дверцами царских врат.

Пальба уже трещала, не умолкая.

С высоты церковного крыльца Семен разглядел пригнувшихся к конским гривам людей, зеленые лоскуты на бараньих шапках, карабины. Отметил, что сидят они не на подушках с веревочными стременами, а в настоящих

седлах. Матюхинцы! Откуда их черт занес? Уж не поп ли предупредил? Ну, если только поп!..

Колька, потеряв свою нарядную кубаночку, бросился в седло, рванул повод, и Бельчик, сев на круп, брыкнул передними копытами. Борис Поливанов, лихорадочно выпрягая лошадь из тачанки, кричал:

— Семен, ты своих не бросай! Мы их задержим!

«Эх, пулемет бы!..»

Зацепа кинулся обратно в церковь.

Девка совсем потеряла голову. Семен выругался. Ах, наказанье! Ну куда ее сейчас?.. Спрятать бы...

Возле церкви кипела короткая схватка. Бухали выстрелы, взмахивали шашки. Мало, мало наших! Неужели не услышат в Шевыревке? Нет, вон кто-то вырвался, пригнулся к конской шее и полетел. Господи, хоть бы это был Колька... Доскачет, скажет!

Не выпуская руки Насти, Семен поворотил за церковь. Побежали вдоль стены. За ними отец Насти, Водовозов.

Иван Михайлович ударил ногой в какую-то калитку.

— Тут мужик знакомый!

В окне мелькнуло чье-то испуганное лицо.

Торкнулись в дверь — закрыто. «Ах гады, законопатились!» Остался сарай, больше некуда.

Приваливая дверь сарая бороной, Иван Михайлович вздохнул с облегчением.

— Так надежнее.

Полезли наверх, на сеновал, для безопасности отпихнули после себя лестницу.

Послышался топот копыт, ударили в ворота.

— Здесь! Здесь!

Семен затравленно заозирался. Надо же так влипнуть!

— Пустите-ка, папаш! — Он отодвинул тестя и посмотрел вниз, в гомонивший, растворенный настежь двор. Высунул дуло маузера, прицелился. Щелкнул выстрел, на сеновале запахло порохом.

— Есть один! — возвестил Семен.

Скупые, на выбор выстрелы Зацепы заставили бандитов отхлынуть и прижаться к стенам. Они, конечно, будут стараться взять его живым. Старайтесь, надейтесь! А тем временем наши подоспеют...

Внизу, во дворе, стали совещаться, спорить. Водовозов поднял голову и прислушался, потом подполз к Зацепе и в очередь с ним глянул во двор.

— Батюшки, сам!

— Который «сам»? — насторожился Зацепа.

— Ну сам, он и есть сам. Матюхин.

— Да что ты говоришь! Тогда, папаш, нам надо его добыть. Мы же его по всей земле ищем!

Но Водовозову было не до главаря оставшихся бандитов. Его беспокоила наступившая вдруг тишина, затем раздался бабий плач, голос хозяина стал о чем-то слезно упрашивать. Иван Михайлович понял, что будут поджигать сарай.

Потянуло дымом, затрещало.

— Там у него погреб есть! — Водовозов кашлял и отмахивался от густеющего дыма.

Вертя головой, чтобы дым не лез в глаза и не мешал прицеливаться, Семен стрелял вниз. Потом запаленно обернулся к тестю, прокричал:

— Папаш, вы сейчас... вот что. Я тут с ними по-своему. А вы Настю сберегайте. Прошу вас... даже приказываю.

Водовозов и Настя полезли с сеновала. Семен слышал, как внизу хлопнула крышка погреба.

У него кончились патроны, он бросил маузер и страшно заругался. Дым наплывал и заставлял пригибаться к полу. Загудело пламя, облизывая крышу.

Он спрыгнул вниз, здесь было не так жарко, как наверху, но дым стоял густой, тяжелый. Шарясь в темноте и задыхаясь, он споткнулся и понял, что это было устье

погреба, о котором ему говорил Водовозов. Затем он отвалил борону, распахнул дверь и выхватил шашку.

На мгновение его ослепило пламя, мускулисто гудевшее сплошной стеной, но он нагнул голову и ринулся в огонь.

— Ура-а!..— ревел он, вываливаясь из сарая в искрах, в дыме, с шашкой над головой.

Посреди двора стояла группа перепоясанных патронными лентами людей, и среди них громадный черный мужик с курчавой бородищей до самых глаз. Все-таки он отшатнулся, этот зверовидный мужик, увидев горящего бойца, и плечо Зацепы сладко заныло от предчувствия хорошего удара шашкой. Точно в атаке, он направил на него бег своего воображаемого коня.

Торопливый выстрел, затем другой заставили его споткнуться. Словно обрадовавшись, враги открыли беспорядочную стрельбу, и Семен стал опускаться боком вниз, не переставая тянуться шашкой в своем последнем боевом порыве.

Подскочить к нему осмелились лишь к упавшему. Набросились и остервенело кололи и рубили еще долго после того, как остановилось его железное сердце.

Глава восемнадцатая

Налет на церковь, где происходило венчание, был коротким, суматошным, бандиты торопились и поглядывали в сторону Шевыревки, куда вырвался и ускакал боец. Матюхин сам подал команду, кое-кого пришлось встряхнуть и привести в рассудок, и все воинство, пахнущее сырой человеческой кровью, уползло обратно в лес, точно наспех нажравшийся хищник.

Осторожность всегда была коньком Матюхина. Хитровский полк напоминал волчью стаю под командой старого

стреляного вожака. Почуяв свое превосходство, он быстро налетал и, жадно разорвав, насытившись, убирался прочь. В полку были лучшие лошади и лучшая справа. Пожалуй, хитровцы единственные во всей антоновской армии ездили не на подушках с веревочными стременами, а в армейских седлах. И Матюхин гордился своим полком, еще не знавшим ни одного серьезного поражения, и держался от антоновского штаба независимо, открыто высмеивая не только многочисленные распоряжения, но и самого руководителя восстания.

Судьба свела Матюхина с Антоновым в бытность последнего начальником кирсановской милиции. Бывший конокрад, убийца, приговоренный к смертной казни, но освобожденный в феврале семнадцатого года, Матюхин вновь попался на том, что, выдавая себя за командира продовольственного отряда, разъезжал с бандой по деревням и проводил «эксы». Арестовав, его доставили в Кирсанов, и там, в кабинете начальника, с глазу на глаз, состоялся тайный разговор, вернее, уговор. Антонов под благовидным предлогом освободил Матюхина и с того времени нажил в нем вечного врага.

Матюхин невзлюбил Антонова за припадочность, за физическую слабость, а в конечном счете — за удачливое возвышение над всеми. Люди — сволочь, если позволили взять над собою верх такому мозгляку, как Санька Антонов. Ну нет, сам он не из таких! И он форсил своей независимостью от «сметанников» (так Матюхин презрительно называл штабное окружение Антонова) и полагал, что, будь его воля, он все дело поставил бы совершенно иначе.

Попытки Антонова связаться с Деникиным приводили его в ярость. Хочет посадить мужику на шею генерала и сам сделаться чем-то вроде генерала! Он постоянно подозревал в Антонове предателя, который ради собственной шкуры не задумается пожертвовать всеми, всем. После боя

под Бакурами так и оказалось: Санька бросил армию, товарищей и сбежал, заховался, не подавая о себе вестей. Вот вам, предводитель!

Втайне он многого ждал от сражения под Бакурами и потом радовался, что его не подвела испытанная осторожность. Из тех, кого он знал, не осталось никого. Одни погибли в бою, другие — в плену. Раньше всех сдался и уже расстрелян Ишин, последним взяли в лесной землянке Плужникова вместе с сыном,— выдали крестьяне. Где-то еще бродит сам Антонов, но — мертвый человек, хоть и живой еще, действительно, вороний корм.

Он был доволен, что так и не ввязался под Бакурами и сохранил свой полк целехоньким. А покамест есть сила, можно жить и жить. Кроме Хитровского полка он собрал разбежавшиеся по лесам группы и создал еще один полк — Нару-Тамбовский. С ним остались люди, которым на пощаду надежды не было: слишком много крови на руках. Все же для пущего устрашения он объявил, что за каждого, кто вздумает сдаться на милость, кровью ответит семья. Чего-чего, а кровь он привык лить, как воду!

Иногда он горевал, как глупо погибла армия под Бакурами. Такая была силища! Дураку досталась. Зачем теперь хлопочет где-то Эктов, добывая помощь, зачем пробивается с Дона войсковой старшина Фролов? Ждать надо было, ждать и уворачиваться. Они еще показали бы себя!

Налет на церковь во время венчания доставил банде удовлетворение (хоть небольшая, а победа!). Одни издевались над невестой, а самому Матюхину в тот же двор, где упал с шашкой наголо охваченный огнем Зацепа, доставили бойца, раненного в спину (это был Борис Поливанов), и мальчишку, под которым вдруг взъярилась и опрокинулась на спину лошадь.

Стоя кучкой, бандиты разглядывали Кольку и нехорошо кривили губы. Тоже ведь, шкет! Матюхин шевелил пальцами в бороде.

За свою жизнь в бригаде Колька видел много смертей, но никогда не мог ее представить для себя. Он и сейчас не думал, что умрет и будет валяться таким же, как обгорелый, растерзанный Зацепа, ни капельки не похожий на себя. Он представлял, как вел бы себя сейчас Котовский и другие знакомые ему бойцы и командиры, и держался так, словно ему предстояло дать отчет перед бригадой.

— Сдохнете, все равно сдохнете!..— кричал он в бородатые рожи ухмылявшихся бандитов.— Вы еще Григорь Иваныча не знаете!

«Вот гнида!» — Матюхин покачал башкой и всей ладонью задрал бороду снизу вверх.

С мальчишкой и с бойцом, валявшимся в беспамятстве, он расправился сам, своими лапами.

Голову Кольки сняли с пики, воткнутой в землю. Здесь же была записка: «Это сын Котовского, жид и изменник. Собаке собачья смерть».

Три гроба поставили в большой комнате ревкома.

Семена убрали, как смогли. Два сабельных шрама на лице обескровились, черные волосы прикрыли разбитый лоб. Два других гроба стояли закрытыми,— на убитых боязно взглянуть. На самом маленьком, на крышке, лежала осиротелая серебряная труба.

В изголовье, неслышно меняясь, несли караул двое бойцов с шашками наголо, они застыли неподвижно, точно бессловесные фигуры отмщения.

Поздно вечером приехали Котовский, Криворучко, Борисов. На бревнах во дворе умолкли и вытянули шеи, когда командиры сошли с коней и стали подниматься в дом. Бойцы в дверях отскакивали и козыряли. Котовский грузно проходил мимо, не отвечая. Казалось, он никого не видел, не замечал. Криворучко с Борисовым взглядывали на сторонившихся бойцов так, словно просили их быть

поснисходительней к невежливости комбрига: из всех, кто сейчас был вокруг, только они двое знали, что в Тамбове, в больнице, через три дня после рождения умерла одна из дочек комбрига. Сообщение о смерти ребенка Котовский получил сегодня в полдень, заторопился в Шевыревку, чтобы сразу после похорон уехать к Ольге Петровне, в Тамбов.

С порога комбриг окинул взглядом комнату с гробами и караулом, постоял возле Зацепы и прошел к короткому закрытому гробу с серебряной трубой на крышке.

— Гриша... не надо,— попросил было Борисов, увидев, что Котовский приподнимает крышку.

Скатилась и забренчала по полу труба. Боец в карауле не удержался. кинул взгляд в раскрытый гроб и тотчас отшатнулся, побледнел.

Комбриг со стуком опустил крышку и несколько мгновений стоял с закрытыми глазами. Мучительным усилием он справился с собой, передохнул и быстрыми шагами пошел прочь из страшной комнаты. Борисов и Криворучко, неодобрительно покачивая головами, остались поправлять крышку, подобрали и снова положили сверху трубу.

Ночью с эскадроном Девятого прибыл Юцевич. Начальник штаба привез приказ Реввоенсовета о награждении бойцов бригады за взятие Одессы и распоряжение Тухачевского: комбригу кавалерийской в срочном порядке прибыть на станцию Инжавино, где находился поезд командующего войсками губернии.

Представление штаба бригады на отличившихся при взятии Одессы гуляло где-то в верхах около полутора лет. Награды не успевали за военными событиями. Ордена Красного Знамени получили Криворучко, Девятый, Вальдман, Кириченко, Колесниченко, Чистяков, Няга (посмертно), Скутельник, Слива, Симонов, Тукс — всего несколько десятков человек.

Срочный вызов комбрига на станцию Инжавино Юцевич связывал с планами командующего по ликвидации оставшейся банды Матюхина. По последним данным, Матюхин скрывался в Чернавских и Пущинских лесах и сидел безвылазно, но, судя по налету на церковь, затворничество ему надоело, да и чего можно было дождаться, отсиживаясь без конца в лесной берлоге?

После похорон Григорий Иванович собирался ехать в Инжавино.

— А... в Тамбов? — осторожно поинтересовался Юцевич.

— После. После всего.

— Понимаю.— И начальник штаба отошел, чтобы отдать необходимые распоряжения.

Прибыть в Инжавино комбригу приказывалось почему-то в сопровождении тридцати кавалеристов. Ни начальник штаба, ни комиссар не могли взять в толк, что кроется за таким распоряжением. Юцевич считал, что с комбригом следует отправить самых отборных бойцов: пускай полюбуются, как выглядит бригада даже после изнурительных боев. Борисов, наоборот, предлагал не хвастать, а прибедниться: увидит командование, как обносилась бригада, как никудышно снабжается, и примет меры.

Спор начальника штаба с комиссаром рассудил Девятый.

— Нашли когда лаяться! Да пошлите пополам: тех и других.

На том и решили.

Стояла поздняя теплая ночь, но деревня несла дежурство возле ревкома, где в большой комнате под караулом обнаженных шашек трое убитых проводили последние часы среди своих живых товарищей.

Во дворе раздавались голоса, бубнил как будто кто-то пьяный, Девятый прислушался и сбежал вниз разобраться, принять меры. Пьяного Герасима Петровича держали за

руки Самохин и Тукс. Старик горько крутил головой, запрокидывая лицо.

— Лихо мне, сынки! Это почему же не меня, а? Или я завороженный от нее, а? Ведь меня она должна была прибрать, меня!..

«Эх, горе горькое!..» — Девятый неумело топтался. Что говорить, чем утешать?

— Дед, или мы не люди? Ты, в трон, в закон... двух сынов отдал бригаде. Так неуж бригада тебя забудет? Живи, пользуйся всем довольствием — и никаких! Не думай ничего плохого.

Старик опустился на землю, уронил голову на руки.

— Спать бы его, ребята,— предложил эскадронный.

— Нейдет мне сон! — вскинулся Герасим Петрович.— И смерть нейдет. Все меня забыли. Пусти меня, Владим Палыч, в первую разведку. Душа горит!

Потом старик стал шарить руками по земле, затих.

— Да-а... тут кто хошь скопытится,— проговорил Девятый, сходил за буркой и осторожно укрыл спящего.

Приготовления к последним траурным минутам шли незаметно, в течение короткой летней ночи, и к тому времени, когда на заалевших кончиках тополей завозились и стали пробовать голоса ранние скворцы, посреди широкого зеленого выгона, где еще недавно бойцы занимались утренней гимнастикой, уже чернел провал широкой ямы, ровным бугром сбоку была насыпана свежая земля.

Мрачными плотными рядами прошли два эскадрона в полном вооружении и, разомкнувшись повзводно, перестроились вокруг могилы. С боевого штандарта бригады, развернутого над гробами, как бы струилась кровь погибших — таким скорбным и величественным одновременно выглядело заслуженное кумачовое полотнище.

Сошли с коней Котовский, Борисов, Криворучко, Гажалов. Эскадронный Девятый остался верхом, оглядывая спешенный взвод Симонова с карабинами в руках.

Влезая на бугор, комиссар Борисов оступился, и в могилу по отвесным стенкам с шорохом посыпалась земля. Он проследил, как она утекала из-под ног, дождался, пока она не успокоится, и вскинул голову.

— Товарищи!.. Сегодня мы прощаемся с нашими боевыми друзьями, с нашими незабвенными кавалеристами... («Не то, не то все лезет на язык, совсем не те слова!..»). Они пришли сюда из-под самого Тирасполя, пришли, чтобы наладить счастливую жизнь тамбовскому мужику, тамбовскому трудящемуся крестьянину... Теперь они будут лежать здесь вечно, а мы с вами, живые, откроем здесь памятник, чтобы люди всегда знали и помнили, кто лежит. И за что.

Выступлением своим Борисов остался недоволен. Готовясь, он обдумал все, что следовало сказать, и речь рисовалась ему страстной, задевающей каждого за душу,— такие впечатляющие вроде бы подбирались слова! Оказалось же, что подходящих слов он так и не нашел и несколько минут перед глазами замерших в строю бойцов промучился, пытаясь выразить то, что разрывало ему сердце.

После комиссара на бугор влез Криворучко.

— Нету для бойца чужой земли! — говорил он с таким напором, будто с кем-то спорил.— Нету!.. Вся она везде своя, наша. Пускай в Тамбове, пускай в Тирасполе... И теперь, когда Семен погиб и лежит здесь мертвый, когда пацан Колька, которому было лет двенадцать или тринадцать и ни секунды больше, когда Бориска, последний сын, не может больше согревать своего старого отца... клянемся, что никогда их не забудем... клянемся, что отдадим свои жизни не дешевле, чем они, и спровадим на тот свет не один десяток сволочей. Уж в этом мы клянемся!

Чтобы прикрыть свое лицо, Криворучко подержался за козырек фуражки.

— Когда-нибудь,— заговорил он снова, и голос его зазвучал ровнее,— когда-нибудь будет время и вот эти самые

свои шашки мы отдадим на завод, чтобы нам из них наделали — чего вы думаете? — хороших настоящих плугов. Да, плугов, потому что так говорил еще наш дорогой учитель товарищ Карл Маркс!

Криворучко не был полностью уверен, что Карл Маркс говорил именно так, и в надежде на одобрительный кивок оглянулся на комбрига.

Кажется, ни сам Котовский, ни даже комиссар не обратили внимания, что́ там говорит о Карле Марксе бывший вахмистр. Скорбные глаза комбрига не отрывались от прекрасного, изрубцованного врагом лица Зацепы, от серебряной трубы на крышке маленького гроба. Колькиной матери он обещал сделать из парнишки настоящего человека и, несмотря на малолетство, ввел его в железное братство людей, у которых настоящая жизнь тоже только-только начинала идти в рост. В смысле будущего он был наравне со всеми. Как все вокруг, он жил долгой журавлиной тягой к счастью на отвоеванной земле, узнал немигающее бесстрашие в атаке, научил себя не щуриться в любой беде, и, если бы не малолетство, геройскую смерть его можно было бы объяснить словами умницы Юцевича, как-то сказавшего, что люди гибнут по дороге к счастью, подобно кувшинам, разбивающимся на извечном пути к роднику. Да, если бы не пацанство Кольки, не малость его прожитых на этом свете лет! Тут совесть комбрига укоряла его в каком-то собственном недогляде, хотя, казалось бы, он все предусмотрел, обезопасил Кольку, как только мог. Кто же мог подумать, что страшная смерть достанет мальчишку так далеко от боя?

Уже отговорил и отошел, уступая место на бугре, Криворучко, уже Борисов кратко объявил, что сейчас выступит комбриг, а Котовский продолжал стоять с поникшей головой и ничего не замечал, не слышал... Но вот до его слуха дошла угнетающая тишина выжидания, он медленно расправился и обвел глазами ряды, ряды, ряды. Многое хоте-

лось высказать над свежей могилой, над телами последних жертв в большущей нескончаемой войне, он раскрыл было рот, но, как и Криворучко, торопливо ухватил себя за козырек. Потом замотал головой и махнул рукой:

— М-можно давать залп!

Девятый оглянулся на спешенный взвод с карабинами, поднял руку и, укрощая свой голосище, дал команду. Треснул залп, и тяжелое полотнище штандарта, простреленное, обожженное порохом, дрогнуло и пошло вниз,— самый горький жест скорби о погибших. Нет ничего горше этого жеста, потому что лишь в единственном случае боевое знамя, душа и честь бригады, изменяет своей гордой, несгибаемой осанке и склоняется низко-низко, до самой земли...

Глава девятнадцатая

Вагон командующего стоял на запасных путях, под охраной матросов. Несколько проводов с вагонной крыши тянулись на шестах к облезлому станционному зданию.

Человек в командирской форме с ремнями, измученный, в пыли, пытался пробиться в вагон, показывал документы; коренастый чернявый матрос в бескозырке с георгиевскими ленточками непоколебимо стоял у ступенек и на все доказательства отвечал одним словом:

— Назад!

Комиссар Борисов, берясь за поручни, кивнул Гажалову на каменного матроса:

— Видал? Дисциплина!

В вагон поднялись втроем: Котовский, Борисов, Гажалов.

Командующий выглядел утомленным, с темными кругами под глазами. Задержав руку Котовского, сказал:

— Григорий Иванович, я знаю: у вас горе.

Слова сочувствия заставили комбрига на мгновение опустить глаза, он тотчас взял себя в руки.

— Это не помешает мне закончить операцию.

— Я знаю, как зто тяжело,— проговорил Тухачевский, приобняв комбрига за плечи и подводя его к креслу у стола.

Борисов с Гажаловым стояли молчаливыми свидетелями неслужебного разговора.

В задумчивости командующий прошел на свое место, красивой рукой провел по голове и двумя пальцами, точно ножницами, прихватил на шее отросшие волосы.

— М-да... так вот.

Рассаживались по старшинству. Шашки поставили между колен. Котовский, приготовясь слушать, задвинул коробку с маузером под локоть.

Картина разгрома была полной. Тухачевский объявил, что, по предварительным подсчетам, вышли из лесу и явились с повинной несколько тысяч человек. Не удалось взять вожаков, но большинства из них уже нет в живых. Где-то еще скрывается сам Антонов, но поимка его — дело второстепенное. Главное сделано — восстание окончательно похоронено. Котовский сидел с неподвижным, как бы потухшим лицом. Командующий заговорил о том, ради чего, собственно, он отдал приказание срочно вызвать комбрига в штаб войск.

Из всей огромной армии повстанцев остался один Матюхин с бандой отъявленных головорезов. С повинной они не явятся, следовательно, разговор с ними может быть только один: на языке оружия. Но скольких напрасных жертв это может стоить!

— Сейчас,— продолжал командующий,— наметилась возможность избежать напрасного кровопролития. Из Москвы прибыл член коллегии ВЧК Левин, он привез с собой бывшего начальника штаба антоновской армии Эктова. Как было установлено, Эктов отправился в Москву

нелегально, на так называемый «подпольный съезд партизанских сил России». Чекисты накрыли «съезд» и арестовали всех его участников *. Сейчас Эктов здесь, в Инжавино.

В нескольких словах командующий обрисовал бывшего начальника антоновского штаба. Естественно, из кулаков, имел свой хутор. В японскую войну генерал Куропаткин наградил его за храбрость орденом св. Владимира с мечом и бантами, что давало право на личное дворянство. В запас Эктов ушел в чине штабс-капитана. Антонов нуждался в грамотных военных, но на предложение примкнуть к восстанию Эктов ответил категорическим отказом. Согласился он, когда ему пригрозили расправиться с семьей (у Эктова три дочери). Собственно, «расколоться» в ЧК и обещать свою помощь Эктова заставили те же самые причины: заботы о семье, стремление сохранить собственную жизнь.

— Григорий Иванович, берите его, думайте. Вам, как говорится, и карты в руки. По-моему, комбинация может получиться интересной.

— Кто-нибудь из бандитов знает об аресте Эктова?

— Да вы что! — воскликнул Тухачевский.— Ни одна живая душа.

— Ага... Ага... Значит, из дерьма пулю? Что-нибудь, наверно, можно придумать... Где он? Здесь?

— Сейчас увидите.

Распахнулась дверь, и в узкое помещение штабного вагона вошли два человека в коже, с маузерами и гранатами на поясе. Доложились. Судя по выговору — латыши. Все, кто сидел вокруг стола с картой, отъехали на стульях и поворотились. Конвоиры ввели человека средних лет с отросшей бородой на бледном лице. Одет он был в косоворотку, подпоясанную широким армейским ремнем, измя-

* В то время мало кому было известно, что операция со «съездом» проводилась под руководством Ф. Э. Дзержинского. (О ней не знал даже М. Н. Тухачевский.)

тый пиджак, черные брюки с пузырями на коленях, заправленные в короткие сапоги. В руке бывший начальник бандитского штаба держал офицерскую фуражку с пятном от кокарды.

Вошедший с порога уставился на военного с бритой головой, и они долго смотрели глаза в глаза. Наконец Котовский повел бровью на Гажалова и едва заметно качнул головой:

— В машину.

Начальник особого отдела, надевая фуражку, вышел вслед за арестованным и латышами.

— Я просил,— сказал Тухачевский, поднимаясь и начиная прощаться,— обеспечить надежную охрану.

— С нами тридцать человек, Михаил Николаевич. Как было приказано.

— Эктова никто не должен видеть. Никто! Его здесь слишком хорошо знают.

— Будет обеспечено,— заверил Котовский, торопясь уйти. В голове уже вязались мысли вокруг неожиданного «подарка», доставленного чекистами.

— Лучше, если о нем никто не будет знать и в бригаде,— уточнил Тухачевский.

— Я понимаю.

Напоследок командующий поинтересовался, собирается ли комбриг побывать в Тамбове, в больнице у жены, и еще раз напомнил об осторожности.

На пленного надели широкий дождевик с капюшоном, приказали закрыть лицо. Поместили его на заднем сиденье «роллс-ройса». Вместе с ним уселись Гажалов и молчаливые латыши. Кавалеристы под командой взводного Симонова составили надежный конвой.

Комбинация с арестованным начальником бандитского штаба еще только смутно намечалась, однако Григорий

Иванович испытывал знакомое, много раз пережитое волнение, какое овладевало им в канун ответственных и рискованных действий. О том, что комбинация будет рискованной, он понял с самого начала, с той минуты, когда командующий сказал об Эктове. Григорий Иванович считал, что начало комбинации сделано самой поездкой штабс-капитана в Москву, на съезд. Эту линию лишь следовало убедительно развить. Матюхин, его страх перед расплатой, смутные надежды на какое-то спасение — и вдруг, как подарок судьбы, появление Эктова после московского съезда. Тут что-то могло получиться...

В Медном они с «Вашим благородием» ссадили арестованного с охраной и, не задерживаясь, тронулись дальше, в Тамбов, торопясь к Ольге Петровне.

В сообщении о смерти ребенка ничего не говорилось о состоянии роженицы. Ольга Петровна оставалась верна себе и ничем не отвлекала мужа от его нескончаемых и важных дел — так у них было заведено с самых первых дней,— но тем острее Григорий Иванович чувствовал свою вину перед женой, вынужденной переносить сейчас огромное неизбывное горе в полном одиночестве. Его удручало, что Ольга Петровна и маленькое, только что родившееся существо нуждались в его помощи, а он был занят своими обязанностями и не мог, не имел права бросить все и приехать к ним.

Была еще одна причина, почему он считал необходимым увидеться с женой немедленно, побыть с ней хоть недолго, пусть несколько минут. Вся острота намечаемой комбинации с Эктовым, чтобы обмануть хитрого и осторожного Матюхина, ляжет конечно же на него самого — никого другого Григорий Иванович не считал вправе подставлять под такую смертельную опасность,— а на войне, где, как известно, пуля в рожу не смотрит, да еще в столь сложных обстоятельствах, вполне могло случиться, что их свидание и разговор в больнице могли стать последними.

За свою жизнь он рисковал несчетное количество раз, однако одно дело — рисковать, когда ты совершенно один, и совсем другое — зная, что останется человек, для которого твоя смерть будет еще одним ударом, невыносимо тяжким, может быть даже непоправимым. И он спешил в Тамбов, впервые за все время проявляя нетерпение и поторапливая шофера.

Он догадывался, что́ сейчас должна чувствовать Ольга Петровна. Сам он попал в такое же примерно положение год назад после контузии под Горинкой. С раннего вечера и всю ночь грохотала летняя гроза, от раскатов грома мигал чахлый огонек жировика. Открывая глаза, он видел низкий черный потолок халупы и ощущал себя заброшенным и забытым всеми. Поэтому, когда Ольга Петровна, узнавая у дозорных дорогу, перебираясь от одного часового к другому, разыскала наконец эту окраинную халупу и появилась вся промокшая, усталая, в грязи, он обрадованно схватил ее руку, стиснул и в счастливом, никогда раньше не пробованном блаженстве закрыл глаза.

— Я знал, что ты приедешь,— проговорил он, отворачивая лицо к стене.

Слабость, что ли, после контузии? Но в тот момент ему казалось, что, взяв прохладную, в дождевых каплях руку жены, он нашел свое спасение. По крайней мере, как-то сразу отступили боль и тошнота, стало легче дожидаться рассвета, кажется, он утих, забылся, однако руки ее не отпускал...

Прошли сутки, как он узнал о смерти ребенка. Ольга Петровна, конечно, ждала его еще вчера. Но — похороны Кольки и Семена, потом Инжавино, штаб командующего. Он никак не мог иначе!

— Нажми, нажми!..— сквозь зубы цедил он шоферу и на самые глаза надвигал короткий козырек фуражки. «Ваше благородие» старательно пригибался к рулевому

колесу. Он выжимал из машины все, что умел, и понукание комбрига принимал с покорным терпением, отлично сознавая, чтó испытывает Котовский в эти нестерпимо долгие дорожные часы.

Глава двадцатая

На фронт, в кавалерийскую бригаду, Ольга Петровна попала по своей доброй воле и одновременно по счастливому стечению обстоятельств. Ей предлагалось место в Москве, в клинической ординатуре, но она попросилась на Южный фронт и в декабре 1919 года вместе с тремя товарищами по выпуску отправилась в путь. Врачам повезло: им достались места в классном вагоне с целыми окнами.

В купе заглянул статный военный с крупной, наголо обритой головой.

— Врачи? На фронт? Хорошее дело. Мало, очень мало вашего брата у нас на фронте.

Командира втянули, заставили сесть, разговорились. Сам он только что из госпиталя, переболел крупозным воспалением легких, торопится в свою бригаду. Рассказывал, какой героизм, какое понимание революционного долга проявляют бойцы голодных, плохо одетых дивизий. Например, кавалерийская бригада, которую он сейчас догоняет, перебрасывалась в свое время с юга под Петроград в холодное время, а бойцам буквально не в чем было выйти из казарм: сидели босиком, в одном белье. А поступил приказ срочно грузиться в эшелоны! Вышли из положения так: собрали со всей бригады всю одежду, какая только нашлась, одели первую группу бойцов, доставили их на вокзал, в теплушки и там раздели. Так, по частям, погрузили всю раздетую бригаду и тронулись на помощь пролетарскому Петрограду. Обмундирование получили уже в дороге.



Ни имени, ни должности дорожного попутчика никто не знал. Он поднимался, уходил к себе, затем опять заглядывал в купе и терпеливо отвечал на жадные расспросы о фронтовом житье-бытье.

В Брянск прибыли в кромешный ночной час. Стоял мороз, из дверей вокзала вырывались клубы пара. Город был забит военными частями, на вокзале не повернуться. С помощью попутчика устроились в холодном проходе, на узенькой садовой скамейке. Попробовали дремать: пробирал мороз. Командир чертыхнулся, наказал держаться всем вместе, а он пока попробует узнать, когда ожидается ближайший поезд.

Не успел он выйти на перрон, послышались радостные голоса:

— Григорь Иваныч! Товарищ комбриг! Братцы, Котовский здесь!

Сбежались бойцы, окружили командира. В гуще шинелей, шапок, папах, картузов виднелось энергичное румяное лицо Котовского. Комбриг, выслушивая жалобы бойцов, сердился. Оказалось, в Брянске уже целую неделю стоит вагон с бойцами его бригады.

— Безобразие! — Котовский протянул Ольге Петровне небольшой кожаный чемоданчик, который составлял весь его багаж.— Возьмите, пожалуйста, под свою охрану, а я пойду. Надо организовать отправку людей.

Забе́гали железнодорожные служащие, к Котовскому стало наведываться местное начальство. К концу дня сформировался эшелон, подали паровоз.

До Харькова ползли две недели. В пути рубили на дрова лес, подавали к паровозу воду, ремонтировали разбитые пути. На станциях Котовский подбирал отставших бойцов и размещал их в перегруженном эшелоне.

В Харькове находился штаб 14-й армии. В начсанарме Ольга Петровна получила направление в 45-ю стрелковую

дивизию. Котовский встретил ее в коридоре штаба, узнал о направлении и обрадовался:

— Хоть одного врача привезу!

Выехали вместе.

В пятнадцати километрах от Екатеринослава железнодорожный путь был начисто разрушен, пришлось пересаживаться на подводы. Здесь Котовского разыскал Черныш, привел ему лошадь. Вскочив в седло, Григорий Иванович сказал своей попутчице, что сегодня Екатеринослав освобожден от банд Махно. Он посоветовал Ольге Петровне сразу же обратиться в штаб дивизии.

Красноармейские части вступали в город через наспех отремонтированный мост. Стоял ясный день, на улицах толпился народ, открыты магазины, рестораны.

Вечером комбриг пригласил Ольгу Петровну в кинотеатр, шла картина «Рассказ о семи повешенных». Зрительный зал битком набит бойцами. Котовского узнавали, приветствовали, комбриг и его спутница скрылись в глубине небольшой ложи, где им достались места.

В конце фильма, когда осужденных подводят к эшафоту, Ольга Петровна услышала сбоку странный хрип, повернула голову и со страхом увидела, что ее спутник всем телом навалился на барьер ложи и, тяжело дыша, с перекошенным лицом, не отрывает глаз от сцены казни. Так продолжалось несколько минут, пока в зале не вспыхнул яркий свет. Котовский опомнился, увидел, что за ним наблюдают, и неловко встал.

— Идемте.

На улице после долгого молчания он негромко сказал Ольге Петровне:

— Не удивляйтесь. Это прошлое.

Она ни о чем еще не догадывалась, но сцена в кинотеатре впервые подтолкнула ее к мысли, что у человека, с которым она случайно познакомилась в дороге и которого с таким восторгом приветствуют встречные бойцы, за

плечами большая и сложная жизнь. Не все ей в этой жизни было понятно, многого она не знала и, видимо, не скоро поняла бы и узнала, если бы не тот вечер в кинотеатре, а затем бесконечная прогулка по ночному городу, переулки, лавочки, бульвары и разговор, разговор...

Если верно, что каждое знакомство — это не только узнавание окружающего мира, но и открытие чего-то в самом себе, то вечер в освобожденном Екатеринославе после «Семи повешенных» был удивителен Котовскому как раз неожиданностью собственного поведения. Никогда бы не подумал, что способен болтаться ночь напролет по незнакомому городу, болтаться и болтать, в то время как дел невпроворот, по горло, и каких дел!

Но, значит, он чего-то еще не знал в себе!

Он привык, что дни проходят в звуках трубы, скрипе седел, гуле земли под копытами заходящих эскадронов, орет начхоз, вынимает душу ветеринар,— и вдруг неожиданный человек в помятой юбке, кофточке, грязноватых сапогах, у него маленькие руки, челочка на лбу, розовое ухо, губы... М-да, губы... Все же занятно, черт возьми! Жил, ни о чем не догадывался, и вот в вагоне, невзначай встречаешь его, этого человека, какой-то день, другой и уже хочется видеть его чаще и чаще и, расставаясь ненадолго, орешь, пусть, мол, ищет санупр бригады, там имеется врач Скотников... впрочем, нет, не надо искать Скотникова, он сам ее найдет — сам, то есть он, Котовский,— и он находит ее и предлагает первое, что попадется,— кино, а в зале тесно, сидеть приходится плотно один к другому, и оттого немножечко неловко, стеснительно, они не смотрят друг на друга, но все равно чувствуют, что между ними уже что-то произошло, что-то протянулось, хотя ничего еще вроде бы не было сказано, ни словом, ни намеком...

Всю жизнь он сознавал свою неловкость перед женщинами и от застенчивости, чтобы не казаться неуклюжим,

как бы застегивался на все пуговицы. Он знал, что за девушками надо ухаживать, но как? Гулять, дарить цветы? Что-то рассказывать?.. К удачливым парням, таким, как тот же Мамаев, который, видимо, знал какое-то тайное для женщин средство, если они липли на него, как на свою погибель, к таким он не испытывал никакой зависти. То, что другим доставалось от женщин так легко, ему представлялось гигантской жертвой с их стороны, оттого он и не терпел никакой похабщины.

Сцена казни в фильме заставила его забыть о своей спутнице. Опомнившись, он увидел, что Ольга Петровна изумлена, напугана и держится от него на расстоянии...

Заложив руки за спину, он вышагивал размеренно, неторопливо. Ольга Петровна шла с опущенной головой, смотрела под ноги. Да, напугал. Кавалер! На барьер полез, принялся что-то хрюкать. С лошадьми тебе гулять! И как всегда, озлобившись на свою неловкость, на проклятую свою неотесанность, он спросил, где она остановилась, куда ее, собственно, проводить, отверг робкую попытку дойти одной, без провожатого, и все в том же раздражении, шагая уже крупно, деловито, словно торопясь расстаться поскорей, стал зачем-то вспоминать, как караульные играют с арестантом «в жмурки»: вталкивают человека в круг и бьют, бьют смертным боем; как «по-научному» ведется протокол казни — записывается все, что говорил приговоренный, как он себя вел, хрипел и дергался; какая суета поднимается в полночный час, когда послышатся шаги солдат, идущих к месту казни, затем — самое страшное, самое неотвратимое — шаги в коридоре... И тут начинается! И все это слышно, слышно! Волосы дыбом... Сам он четырнадцать ночей готовился к такой минуте и — будь что будет! — собирался дать последний бой.

Но во что трудно поверить, так это в то, что в такие же жуткие ночи, в такой же смертной камере Михаил Васильевич Фрунзе, тоже ожидая часа казни, спокойненько

сидел себе и занимался языками. Ну, может, и не спокойненько — спокойным там оставаться невозможно,— но факт остается фактом: человек пересиливал себя и брался за учебник. Вот это поразительно! Он, Котовский, дрался бы до последнего мгновения, но ни па что больше его не хватило бы. А Фрунзе... Гигантский человек, перед таким невольно снимешь шапку!

— Послушайте,— улыбнулась Ольга Петровна,— почему вы постоянно теребите себя за нос?

Он опешил, остановился.

— Да так, знаете... Привык. А что?

— Ну так отвыкайте! Как мальчишка. Гимназист.

В ответ он рассмеялся:

— Не отгадали. Не было.

— Чего не было?

— Гимназиста. Выгнали. Рылом, как у нас говорят, не вышел.

— А-а! Но нос все равно оставьте в покое. И идемте, мне назад. Мы далеко ушли.

— Ушли? — изумился он, оглядываясь по сторонам.— Как же это получилось?

Растерянный, он стоял перед ней с лицом мальчишки, пойманного с арбузом на чужом огороде.

И в эту минуту (потом она вспоминала о ней много-много раз!) ей подумалось, что сегодняшний вечер — это не просто поход в кино для приятного времяпрепровождения, а что-то неизмеримо большее... может быть, как раз то, что называется судьбой. Ей стало легко и просто взять его под локоть; и с той минуты, несмотря на поздний час, они пошли, не торопясь, не глядя по сторонам, всецело увлеченные расспросами и узнаванием друг друга.

О себе Ольга Петровна рассказывала скупо. Родилась и выросла на Волге, в Сызрани, работала корректором в социал-демократической газете, которую редактировал Елизаров, муж Анны Ильиничны Ульяновой, сестры Владимира Ильича.

— Вот как! — удивился Григорий Иванович.— И вы были знакомы?

— С Анной Ильиничной? Разумеется.

В Москву Ольга Петровна приехала в 1914 году, училась на медицинском факультете университета. Руководитель кафедры Бурденко предлагал ей остаться в ординатуре, но она вызвалась поехать на фронт. Признаться, предстоящая работа ее немного пугает. Нет, нет, трудности пути она в расчет не принимает! Но, видимо, теперь, когда дорога на фронт позади, начнутся настоящие испытания.

Сбоку Ольга Петровна заглядывала ему в лицо, он потуплялся и трогал себя за нос. Что было ответить? Сказал, что вообще-то сейчас на юге начинаются горячие денечки: Деникин. В Красной Армии создаются подвижные кавалерийские соединения. Он, например, назначен командиром бригады. Ольге Петровне придется взять на себя всю лечебную часть, потому что бригадный врач Скотников пьет без просыпу, не лекарь, а вороний корм!

— Но это вам, наверно, все неинтересно? — спохватился он.

— Наоборот! — запротестовала Ольга Петровна и заставила его рассказывать дальше.

Странно, что ни в тот вечер, ни потом он не испытывал ни малейшего раскаяния в том, что поддался настроению минуты и разговорился нараспашку. Наоборот, ему хотелось видеться с ней снова и снова, ходить, чтобы она держалась за его локоть, и разговаривать без каких-либо утаек,— единственный человек, который вызвал его на такую небывалую откровенность. («Когда сочувственно на наше слово одна душа отозвалась...») Даже с товарищем Павлом он не испытывал такой свободы! Значит, в самом деле что-то протянулось между ними и, несмотря на боевую обстановку, на занятость обоих, крепло день ото дня.

Провожая ее к начальнику санитарной службы 45-й

дивизии, Григорий Иванович неожиданно остановился и затоптался с виноватым видом.

— Вы знаете, я должен вам сознаться. Тут такое дело. Товарищи интересуются, кто вы мне такая. Понимаете? Ну, я подумал, подумал, да и брякнул: жена. Только вы не подумайте ничего! Нет, нет. Это я для вашей же пользы. Мужики, они знаете какие? Видят, женщина, одна. Ну и все такое. А тут... бояться будут.

На время, пока формировалась кавалерийская бригада, Ольга Петровна получила назначение в перевязочный отряд. Котовский находил возможность навещать ее, иногда пересылал коротенькие записки. Однажды ее отыскал сумрачный Зацепа и вручил знакомый кожаный чемоданчик.

— Здесь имущество вашего брата.

Она удивилась: то жена, то сестра. Оказывается, среди бойцов прошел слух, будто комбрига за время болезни отыскала сестра и вызвалась поехать с ним на фронт. Они были рады за своего командира: все родной человек рядом, если что случится.

Формирование бригады подходило к концу, при встречах Котовский рассказывал, какие подбираются люди — орлы. Заслушиваясь, она невольно представляла себе сказочных богатырей, отважных рубак, способных одним своим видом поразить любого врага. Многих в бригаде она знала заочно, по вдохновенным рассказам Котовского.

Каково же было ее удивление, когда она впервые увидела выстроенные на площади эскадроны. Сначала она не поверила своим глазам. Бойцы в измызганных шинелях и венгерках, в штатском пальто и драных полушубках, кто в валенках, а кто и в лаптях горделиво сидели на разномастных лошаденках самых разных пород: от добротных кавалерийских коней до захудалых крестьянских кляч. Выделялся Илларион Нягa, командир первого полка, в бурке и казачьей папахе. На Макаренко, командире вто-

рого полка, были обычный полушубок и шапка с опущенными ушами. Начальник штаба Юцевич мерз в жиденькой солдатской шинельке.

— Не туда глядишь! — возбужденно говорил комбриг.— Лапти что... До первого боя. И лошадь тоже. Ты их в деле посмотри. Я же говорю — орлы!

Он склонился к ее уху, лицо его слегка порозовело.

— Я когда-то себя Дубровским воображал. Да, да! Эх, мне бы тогда таких вот героев...

Взволнованная, она стояла рядом с комбригом и во все глаза смотрела на проходившие строем эскадроны. Убого обмундированные бойцы, сворачивая шеи, преданно глядели на своего комбрига и орали, иные выхватывали шашки и проносили их над головой. Бойцов поднимало сознание того, что они делают одно дело вместе с таким прославленным человеком, который к тому же каждого из них знает в лицо и по имени.

Они подобрались один к другому сами, подобрались по духу и решимости сражаться, и Котовский знал, что в бою их недостаточно убить, их еще надо повалить,— вот какие это были люди! Они воспринимали окружающий мир с подобающей времени простотой: свои и чужие. Чужих надо убивать, иначе они убьют тебя. И вот когда совсем не останется чужих, тогда наступит прекрасная жизнь, без изнурительных голодных переходов и смертельного вихря атак. Будущая жизнь представлялась им чем-то вроде пышного кумачового восхода над молодой зеленой степью. Для здания нового, невиданного прежде мира они пока что только стаскивали камни — каждый свою глыбу. Об архитектуре, об окончательной отделке ни у кого покамест не болела голова,— сначала нагромоздим достаточно необходимого материала, а уж потом достроим и отделаем. Потом... Многое заключалось для них в этом простом коротеньком слове. Ради того, что будет потом, они раздетые погрузились в теплушки и отправились рубиться

и умирать под Петроград, далеко от родной теплой Бессарабии, гибли, не издав ни слова сожаления, а если и прощались, умирая, то по запалу боя, по разгону души говорили такие слова, что у оставшихся в живых закипала кровь, и, может быть, поэтому они в своем нищенском обмундировании, на тощих, изломанных нуждою лошаденках громили наголову самые отборные дивизии, разбивали самых образованных генералов.

Ряд за рядом, взвод за взводом, эскадрон за эскадроном проходили восторженно кричавшие бойцы, и у комбрига от подступавшего волнения розовели скулы, блестели глаза. Эти люди прошли с ним в составе Южной группы войск, за плечами у них были бои под Новой Греблей и Петроградом, и он знал, что они не задумаются выполнить любой его замысел, любое приказание или жест. В ответ ему хотелось прокричать им самые горячие слова любви и благодарности, однако он, облизывая сохнущие губы, лишь с щегольской медлительностью сгибал в локте руку и выбрасывал пальцы к виску.

Впоследствии Ольга Петровна не раз вспоминала этот первый, памятный для нее смотр, когда она вблизи увидела полки, покрывшие себя славой непобедимых. Со временем она привыкла к ним настолько, что узнавала в лицо каждого или почти каждого. Она узнала, что обстоятельный Криворучко всякий раз, садясь писать приказ по полку, натягивает сапоги: приказ — это не родне приветы, тут необходимо уважение к тому, что пишешь. Ее перестал коробить цинизм Девятого, неисправимого ругателя. Лихой Илларион Няга, чуб на сторону, зубы напоказ, посмеиваясь, деликатно объяснил ей, возмутившейся однажды жестокостью боя, когда не было взято ни одного пленного, объяснил, что ничьей вины в этом нет, какая тут вина? Одно слово: бой. Или ты, или тебя... (Под Новой Греблей, слышала она, как раз эскадрон Няги, спешившись и ползком подкравшись к офицерским позициям,

бросился и переколол, изрубил всех, не оставив никого в живых. Долго будут помнить офицерские полки Иллариона Нягу!..) Спокойный хозяйственный Макаренко, полная противоположность Няге, защищал проштрафившихся на привалах бойцов, оправдывая их тем, что все проделки и грехи идут от молодости лет и сознания того, чем хороша жизнь; ценность жизни и всего, что с нею связано, ребята (макаренковское слово) понимают очень хорошо, потому что ставят ее на кон ежедневно, а если бои бывают затяжными, то и несколько раз на дню. Как же тут, судите сами, не согрешишь? Живут люди от боя до боя. Понимать надо... Еще проникновеннее судил о бойцах комиссар Христофоров. Для него, бывшего учителя, молодые огрубевшие кавалеристы, чья личная судьба совпала с годами небывалой разрухи и перестройки, были точно раскрытый букварь. Да, растолковывал он докторше, сказавшей както о поголовной неграмотности в эскадронах, люди разуты, раздеты и большей частью еще худо вооружены. Да, вши, тиф, корка заплесневелого хлеба и глоток болотной воды. Да, ни читать, ни даже расписаться. Но тем поразительней, что они, неграмотные, видят впереди яркую, большую цель, чего не видят многие интеллигенты, грамотеи, люди ученые и знающие сверх головы. И бойцы проломятся к этому будущему, сделают его. Они, заметьте, даже ценят себя не за то, что успели сделать, а за то, что собираются устроить на завоеванной земле (это, кстати, идет в них от самого комбрига). Потому-то они и рвутся в бой, и погибают лицом вперед, к той самой цели, которую им загораживает враг, и пули, как правило, бьют им в сердце... Да, добавил Христофоров, многих, очень многих теряет и еще недосчитается в своих рядах бригада, но зато тем, кто останется жить, цены не будет. Они, только они, будут создателями и устроителями — на других надежды нет.

В морозный январский день, закончив формирование, бригада пошла па Одессу, с ходу сбила передовые заслоны и завязала бои за Вознесенск.

Белое командование понимало, что Вознесенск является ключом к Одессе, и обороняло этот дрянной полуразбитый городишко всеми имеющимися силами.

Рано утром 30 января Ольга Петровна с перевязочным отрядом бригады подъехала к Вознесенску. Впереди на фоне малиновой морозной зари поднимались столбы дыма. Квартирьеры рассказывали, что городишко взят всего час назад дружной кавалерийской атакой. Бригада шла на штурм под ураганным артиллерийским огнем. Деникинцы не выдержали удара и побежали к Бугу.

Раненых и обмороженных свозили в городскую больничку, ограбленную белогвардейцами подчистую. Первым делом следовало протопить помещение, запастись кипятком и приготовить хоть какой-нибудь горячий завтрак. Старик Степаныч, единственный помощник Ольги Петровны, раздобыл где-то воз соломы, настелил ее на пол вместо постелей и принялся топить печи. Затянутые снегом окна поплыли, сырость потекла по стенам.

Распоряжаясь, Ольга Петровна старалась успевать везде. На плите закипал большой бельевой бак с пшеном. Степаныч распарывал грубые мешки на длинные ленты, готовясь к перевязкам. Раненых все подносили и подносили, укладывали рядами на разостланной соломе.

Приехал Котовский, вошел весь в инее, красный от мороза, рукой в перчатке растирал прихваченное ухо. Ольга Петровна встретила комбрига в штыки. Где перевязочный материал? Где инструментарий? Где оборудование? Начсандив позавчера сказал ей, что не может дать даже одного бинта,— нету.

Лицо Ольги Петровны пошло гневными пятнами. Она кричала, что подобное отношение к раненым не может быть терпимо. Хорошо еще, что Степаныч раздобыл где-то

несколько горстей пшена. А если бы не раздобыл? Чем прикажете кормить людей? Соломой?

Комбриг обрадовал Ольгу Петровну сообщением, что на станции в числе трофеев захвачен прекрасно оборудованный санитарный поезд.

— Приступайте к разгрузке. Все, что нужно для бригады, забирайте без стеснения. Там всего много.

Собираясь уезжать, он сказал, что бригада развивает наступление на Севериновку, нацеливаясь на Кучурганы и Раздельную, а дальше — выйдет к Тирасполю и Бендерам, захватив переправы через Днестр.

Помогать Ольге Петровне остался сопровождавший комбрига Семен Зацепа.

Санитарный поезд, о котором говорил Котовский, выглядел чистеньким, нарядным как игрушка. У Ольги Петровны заблестели глаза.

— Семен, голубчик, ты только посмотри: это же рай!..

Их встретил человек в меховой шапке и теплой офицерской шинели, отрекомендовавшийся главным врачом. Пустить кого-либо в вагоны он отказался, сказав, что поезд занят ранеными и к тому же находится под защитой датского Красного Креста. Тон главврача, его поза смутили Ольгу Петровну, она в растерянности оглянулась на своего молчаливого спутника.

— А ну-ка,— проговорил Зацепа, слегка отстранил концом нагайки врача и полез в вагон.

У того запрыгали глаза.

— Я буду жаловаться! Я требую, чтобы нас немедленно направили в Одессу!

Вскоре Семен показался из вагона, и под его мрачным взглядом врач сразу сник.

— Ты кого это, шкура, хоронишь в своих вагонах?

В поезде, как выяснил Семен, меньше всего было раненых. В удобных, теплых вагонах, на чистых постелях под

одеялами скрывались белогвардейские офицеры. Пришлось тут же вызывать конвой и приниматься за перетряску всего поезда.

Тем временем бригада, сбивая заслоны, упорно обходила Одессу с севера. Котовский намеревался перехватить пути отхода противника и стать между городом и Днестром.

Березовку взяли после боя с частями полковника Стесселя, под Кучурганами разбили конницу генерала Бредова, в Колосовке изрубили целый полк деникинцев.

Враг откатывался, не имея возможности оглядеться и занять оборону.

Вьюжным вечером в клубах вздымаемого ветром снега с эскадроном Девятого комбриг ворвался в местечко Севериновку, в сорока километрах от Одессы. Уже было известно, что в самой Одессе рабочие подняли восстание.

Отряхивая с бурки снег, Григорий Иванович вбежал в помещение телеграфа. Стучал аппарат, телеграфист недовольно оглянулся на распахнутую настежь дверь — и у него полезли на лоб глаза.

— Сиди,— сказал Котовский, прижимая его к месту.— Связь работает?

Насмерть перепуганный телеграфист кивал головой и норовил упасть на колени. В рассудок его привел требовательный стук аппарата. Котовский глазами спросил его: кто? Тот глянул на ползущую ленту: Раздельная вызывает Одессу. В Раздельной, как известно, находился штаб генерала Шевченко.

— Ага! — проговорил Котовский.— Стучи: «Я Одесса».

Из Раздельной попросили начальника гарнизона. Телеграфист отстучал: «Начальник гарнизона у аппарата».

«Примите оперативную сводку. 41-я дивизия красных находится южнее Березовки. 45-я дивизия — севернее. Конная бригада Котовского — в самой Березовке. Прошу

выставить сильную охрану со стороны станции Сортировочная, а также организовать оборону Пересыпи. Все. Генерал Шевченко».

— Стучи: «Сводку принял Котовский».

— «Кто там, черт возьми, мешает разговору?»

— «Успокойтесь, ваше превосходительство. Вашу сводку действительно принял Котовский».

На несколько минут аппарат замер, затем снова застучал.

— «Вы сын потомственного дворянина, в рядах кого вы воюете? Предатель России! Союз спасения родины предлагает вам опомниться...»

— Э, понес, старый хрен! Отстучи ему: «А идите вы, ваше превосходительство, к...»

Девятый, с интересом слушавший весь разговор комбрига с генералом, одобрительно заржал.

После того как хохочущие командиры вышли, телеграфист обессиленно обмяк на стуле, со страхом поглядывая на дверь и на замолкший аппарат.

Севериновку Григорий Иванович помнил утонувшим в пыли местечком с огромной базарной площадью, экономией графа Потоцкого, церковью и синагогой. Григорий Иванович оглядывался и узнавал места, знакомые по работе в одесском подполье. Тогда по заданию ревкома он доставлял оружие для рабочих дружин. Его имя было известно в Одессе еще с дореволюционной поры. В те годы он с одинаковым умением носил мундиры жандармского офицера и бедного армейского капитана, принимал обличья коммерсанта и барина-помещика, бывал частым гостем игорных притонов и клубов. Кстати, он был знаменит тем, что обыгрывал на бильярде самого Мотю Рубинштейна, а Мишка Винницкий по кличке Япончик оказывал ему знаки внимания, как равному... В Севериновке ему доводелось бывать не раз,— бандитское, считалось, место. По обе стороны печально знаменитого Балтского шляха лежали

нехорошие села Кубанка и Малый Буялык, Ильинка и Ангелов хутор. Еще дальше, у Ширяевой могилы, находилось место, через которое боялись проезжать даже в дневное время.

Предупреждение генерала Шевченко организовать оборону Пересыпи заставило Котовского задуматься. Закон войны строг: не воспользоваться предоставившейся возможностью — значит потерять ее навсегда. А терять не хотелось. Круговой обход Одессы занял бы слишком много времени. Не рискнуть ли, не двинуться ли прямиком через Пересыпь? В городе сейчас суматоха, бригада легко сойдет за какую-нибудь отступающую часть.

— Повод! — скомандовал он, заворачивая на Балтский шлях.

Комиссар Христофоров попробовал урезонить комбрига.

— Гриша, нас раздавят.

— Пусть попробуют!

Показался Пересыпский мост. На мосту стоял патруль, на штыке мотало ветром красненький флажок. За мостом можно было разглядеть громадную бричку, запряженную битюгами. На таких бричках одесские биндюжники возили грузы в порт. В гривах битюгов трепыхались красные банты.

К патрульным карьером поскакал Мартынов. Его остановили, он свесился с седла, затем привстал в стременах и замахал рукой: свои. Пересыпь, оказывается, удерживали восставшие рабочие.

Комбрига узнали.

— Ребята, это же Котовский!

Из-за пулемета, стоявшего в бричке, поднялся могучий мужчина в кожухе и, вглядевшись в комбрига, радостно всплеснул ручищами:

— Гриша, лопни мои глаза! Вот где свидеться пришлось!

— Здравствуй, Петя! — Григорий Иванович подъехал, протянул с седла руку.— Что в городе, Петя?

Это был знаменитый на Пересыпи биндюжник Петя Духановский. Он и его товарищи работали в конторе Котэна, которому в Одессе принадлежала половина гужевого транспорта.

Петя Духановский стал неторопливо рассказывать:

— В городе гром и пебо. Вся сволочь драпает и потеряла последнюю совесть. Мы с ребятами договорились присмотреть за хозяйством. После этих босяков потом ничего не найдешь. Здесь со мной Миша Индик, Ваня Сиволап, Данила Шац, Родион Смущеный и Манолис Черненко. Ты их знаешь. Нет, Манолиса ты не знаешь. Он из Баштановки, имел два фаэтона и возил пассажиров в Мардаровку... Да, еще Леня Черкин!

Ах, Одесса, угар и удаль молодых незабываемых лет! Все-таки выпадали денечки, которые приятно вспомнить и сейчас. Впрочем, на то она и молодость, чтобы оставить в душе чудесные неистребимые следы.

— Петя, скажи мне за наших. Мы их немного обогнали.

— Ваши идут от лиманов.

— Это я знаю, Петя. А здесь, на Пересыпи?

— Кто-то стреляет за Буялыком.

Григорий Иванович прикинул: скорей всего, это части 41-й стрелковой дивизии, которой кавалерийская бригада была на время переподчинена.

— Спасибо, Петя. Нам сейчас некогда.

— Гриша, заметь — я не спрашиваю, куда вы, но если вы на Маяки, то советую знамя завернуть. Там сейчас самый гром. Ребята передавали, туда на шикарном «роллсе» прокатил полковник Стессель.

— «Роллс» исправный?

— Как моя бричка.

— Ну, я не прощаюсь, Петя!

Бригада подтянулась, двинулась сомкнутым, плотным строем. Одесса эвакуировалась, это было заметно с первого взгляда. Котовский указал Христофорову на деникинские деньги, заметаемые ветром по обледенелой мостовой. (На ассигнациях был изображен Царь-колокол.) Если одесситы, привыкшие к частым сменам властей, стали выбрасывать «колокольчики» за ненадобностью, значит, они уже не верят в возвращение Деникина... В порту ревели пароходы, осевшие ниже ватерлинии. Обитатели Черноморской улицы видели, как мимо Ланжерона, мимо Воронцовского маяка потянулись перегруженные суда, их гудки ревели отходную людям, едущим на чужбину. Город оставался, как огромная пустая квартира, покинутая прежними хозяевами.

Дерзкий марш через Пересыпь сошел настолько благополучно, что Христофорову стало неловко перед комбригом. Проклятая осторожность! Нет, победа действительно любит только смелых!.. Возникла, правда, одна небольшая заминка, когда у комиссара предчувствием беды запыло сердце, однако комбриг, не задумываясь, вмешался так решительно, что все опасения отпали сами собой.

На одной из улочек неожиданно наткнулись на отступающую часть. Сидел верхом генерал и пропускал мимо себя рысившую кавалерию, прыгающие по булыжникам пушки. Вот оно, чего так боялся Христофоров! Что теперь делать? Ввязываться в бой? Много ли навоюешь в узких пересыпских улочках!

Котовский осадил перед генералом коня.

— Ваше превосходительство, благоволите пропустить мою конницу. У меня срочный приказ занять позиции.

Генерал нерешительно пожевал губами. Нордовый ветер насекал старческую щеку, выжимал слезу. Глаза генерала с недоумением разглядывали красные галифе Котовского.

—Чья конница?

— Полковника Мамонтова, ваше превосходительство! (Брякнул первое, что пришло на ум.)

Поколебавшись, генерал остановил движение своих войск.

Когда мимо него проезжал замыкающий эскадрон Скутельника, он снова с подозрением спросил у своего адъютанта:

— Чья, он сказал, часть, поручик?

— Мамонтовцы, кажется...

— Рвань! — раздраженно пробурчал генерал.

Маневр с Пересыпью позволил бригаде намного раньше срока выйти на пути, которыми противник отходил за Днестр.

«Доношу, что доблестная вверенная мне кавбригада и батарея, исполняя данную ей задачу... повела наступление и после часового боя и отчаянного сопротивления противника разбила его наголову... Захвачены 4 орудия, 8 пулеметов, громадный обоз и более 200 пленных. Офицерство частью перебито в бою, частью застрелились сами... Завтра поведу наступление на Маяки.

Комбриг *Котовский*».

Наступление развивалось без задержки. Бойцы с нетерпением поглядывали на Тирасполь — там, за Днестром, начиналась родная Бессарабия.

В Тирасполе Ольга Петровна отыскала гостиницу, где разместился штаб бригады. Ее встретил грустный Юцевич. Вчера на городской площади похоронили комиссара Христофорова, он был убит в перестрелке, пуля попала в грудь.

Сейчас Котовский сверх головы завален всевозможными делами. Юцевич жаловался, что бригада, по существу, вся целиком занята охраной огромного количества пленных. Комбриг сам допрашивает офицеров, выявляя жандармов и контрразведчиков. Всех, кого отправляют в Одес-

су, нужно снабдить на дорогу хлебом и салом... Кроме того, рассказывал Юцевич, к комбригу валят ходоки-крестьяне из окрестных сел. Он разговаривает с ними по-молдавски, по-украински, разъясняет обстановку, советует, как лучше организовать на местах ревкомы и Советы.

Ольга Петровна задумалась: появляться, нет на глаза Котовскому? До нее ли ему сейчас? Юцевич отмел все ее сомнения и повел наверх. Григорий Иванович, несомненно, ждет ее, сейчас ему особенно необходим кто-нибудь из близких людей. Впрочем, она сама увидит, как подействовала на комбрига смерть комиссара. Переживает он тяжело...

Она появилась в кабинете и в недоумении, в испуге остановилась на пороге: перед Котовским стоял на коленях толстый поношенный человек с усами и протягивал к нему сложенные руки.

Произошла безобразная сцена. Котовский стучал по столу и требовал, чтобы человек поднялся с колен, тот что-то бормотал и, плача, полз к ногам комбрига. По опущенным усам толстяка текли слезы.

Это был старый знакомый Котовского, бывший пристав Хаджи-Коли, сильно постаревший, растерявший всю свою былую молодцеватость.

— Встаньте, вам говорят. Расстреливать вас я не собираюсь, не хочу марать рук. Но судить вас будут. Суд будет судить!

Бывшего пристава увели. Комбриг скорбно взглянул на Ольгу Петровну и отвернулся. На столе перед ним лежала жестяная коробочка, пробитая навылет. В коробочке покойный Христофоров держал махорку и несколько газетных лоскутков.

— Тяжело, Оля. Очень тяжело. Человек-то был какой!

Он не позволил ей уйти и продолжал прием посетителей.

Какой-то немолодой, но шустрый человек, тоже, как и пристав, траченный временем, горячо жал руку Котовскому и называл его спасителем. Григорий Иванович силился узнать шустрого просителя и не мог. Тогда тот назвался сам: адвокат Гомберг.

— Помните? Неужели не помните? Господи, да театр, Одесский театр! Аукцион. Кандалы... Ага, вспомнили! Золотое было времечко, не правда ли? Народ. Освобождение. Энтузиазм масс. Признаться, теперь мне бы и десяти тысяч не жалко было отвалить. Клянусь вам! Я бы ни за что не уступил. Впрочем, вы, видимо, и сами заметили это. Сознайтесь, ведь заметили?

Избавиться от бывшего адвоката оказалось непросто. Он без умолку трещал, напоминал детали давнего нелепого аукциона, а между делом порывался позвать в кабинет и представить своего хорошего знакомого, кстати, как раз того, кто вел тогда аукцион,— все они, бывшие, оказались здесь, на захваченном котовцами берегу Днестра, в общей куче, не успев вовремя удрать за реку.

Выпроводив бывшего адвоката, комбриг с минуту сидел, задумавшись, покусывая ноготь. Ольга Петровна уловила, что он поглядывает на нее каким-то боковым, ускользающим взглядом: взглянет и тотчас опустит глаза. Она удивилась, и он признался:

— Знаешь, я человек довольно мирный. Во всяком случае, первым в драку стараюсь не лезть. Но этому,— показал на дверь, закрывшуюся за адвокатом,— так бы и заехал!

— Помилуй... за что?

— Какого черта он на тебя как баран вылупился? Бесстыжая рожа!

У нее широко раскрылись глаза: боже мой, не иначе — ревнует!

— Гриша, ну что за глупости? Просто человек... увидел и посмотрел. Не закрывать же ему глаза!

— «Просто»!.. Еще бы он не просто! Еще бы подмигивать взялся! Уж тут бы я ему...

Ольга Петровна рассмеялась.

Комбриг поднялся, покраснел.

— Ревность — дурость! Да! Я сам себе противен... Но доводить меня до точки не советую. Могу наломать!

Она слушала и делала вид, что не понимает.

— Гриша, чего наломать?

— Чего, чего!..— взорвался он.— А ничего!

Привлеченный шумом, в дверь осторожно заглянул Юцевич. Комбриг сразу взял себя в руки, прошел за стол.

— Ладно, поедем дальше. Есть там кто еще? Пусть заходит.

Поздно вечером за Ольгой Петровной, укладывавшейся спать, приехал Черныш.

— Требуют,— скупо обронил он свое обычное слово.

Ехать надо было в штаб.

О том, что́ за вызов, Черныш ничего не знал.

В штабе, в большой комнате, горело несколько ламп, вокруг стола, уставленного тарелками, сидели командиры — все давние соратники комбрига. Многолюдное собрание удивило Ольгу Петровну. В сапогах, в мешковатой кофте, связанной из обрывков верблюжьей шерсти (никакого другого костюма у нее не было), она остановилась и загородилась рукой от яркого света. Заметила, как сверкнули в лукавой усмешке сахарные зубы кудрявого Няги.

Из-за стола поднялся командир полка Макаренко, старший из всех по годам, подхватил растерявшуюся женщину под локти и подвел к комбригу.

— Мы давно замечаем, мамаша, что ты и Григорь Иванович любите друг дружку. Выбор командира нам всем по душе, поэтому мы принимаем тебя в нашу семью и вот прямо сейчас отпразднуем вашу свадьбу. Таиться нечего, кругом свои. А так и нам будет спокойней за вас обоих.

Ольга Петровна подняла глаза, комбриг смотрел на нее ласково и устало.

— Ну что,— улыбнулся он,— воля народа. Так, что ли?

Истомившийся Няга поднял стакан и загорланил так, что слышно было даже на улице:

— Горько-о!

Глава двадцать первая

В своем поезде в Инжавино командующий войсками выразил Котовскому сочувствие, имея в виду самое последнее сообщение о том, что в Тамбове, в больнице, умер и второй ребенок комбрига. Тухачевский не подозревал, что Григорий Иванович выехал из своего штаба, не получив этого известия, и о новой утрате еще ничего не знает.

Врач, встретивший Котовского в больнице, тоже полагал, что несчастному отцу известно о смерти обоих близнецов, и был напуган, увидев, как помертвело лицо комбрига.

— Но разве вы...— и поспешил объяснить, точно оправдываясь: — Мы же звонили! Я специально распорядился...

Он догнал посетителя в коридоре второго этажа, подал ему халат и, помогая влезать в рукава, объяснил, что у роженицы неожиданно пропало молоко, одна девочка умерла через три дня, другая выдержала пять суток.

— Положение вашей жены тяжелое, скрывать не буду. Да и не считаю нужным! Подбодрите ее, поддержите. Человек она еще молодой.

В тесном халате, машинально ловя тесемки на рукаве, Григорий Иванович несмело заглянул в палату и остановился, встретив потухший, утомленный взгляд Ольги Петровны, лежавшей под сереньким казенным одеялом на железной коечке. Она узнала мужа, и боль, укор, нео-

жиданная радость — все промелькнуло в ее глазах в одно мгновение.

Чувствуя избыток своей силы, он осторожно приблизился к койке, взял ее руку. В больничке, одна, она выглядела покинутой, забытой всеми. Ольга Петровна отвернула лицо, крепко сжав ресницы. На тощей подушечке под щекой расплывалось мокрое пятно.

— Ну, ну... Оля...— пробормотал он. Она одна, в одиночку, перенесла огромное несчастье, даже два подряд, и он сейчас не мог избавиться от ощущения, что как раз в этом-то его огромная вина, будто, бросив бригаду и все свои дела, прискакав сюда, он что-то спас бы, изменил, повернул по-своему.

— Где ты так долго? — наконец спросила она, медленно перекатив на подушке голову. Лицо ее осунулось, поблекло, огромные глаза разглядывали его с болезненным выражением, точно сочувствуя, что ему не довелось увидеть даже второй девочки, дожидавшейся его в течение целых пяти суток.

Опустив голову, он держал вялую, обессиленную руку жены, бесцельно перебирал ее пальцы. Да, так и не успел приехать, не мог. Он и сейчас-то... А, будь оно все проклято! Дела, дела, сплошные дела и обязанности. Мало, слишком мало выпадало им времени, когда они могли ни о чем не думать, никуда не торопиться, просто быть вдвоем. Но разве за эти скудные вечера, пусть и насыщенные согласием и нежностью, можно наверстать дни, недели, даже месяцы, которые они вынуждены были проводить порознь?

Вздохнув, Ольга Петровна высвободила руку, убрала со щеки прядь рассыпанных волос.

Она уже жалела, что упрекнула его. Она знала, командиры относятся к людям, которым открыты высшие цели войны, на них лежит забота о самом главном — о победе. Командир обязан смотреть дальше всех и видеть больше всех, для того он и поставлен наверху, а остальные подчи-

няются ему беспрекословно. На сознании всемогущества командира построена уверенность бойцов в бою. Командир, как боевой штандарт, обязан быть все время на своем месте, на виду. (Потому-то он с таким испугом вскочил на ноги, когда в бою под Горинкой близкий разрыв снаряда смел его с седла и бросил наземь. Он вскочил, ничего не видя и не слыша, думая лишь об одном: чтобы его видели опять на командирском месте. Он тогда сел на запасную лошадь и довел бой до конца и позволил себе свалиться, лишь передав бригаду Криворучко. Потом, в лазарете, куда его доставила Ольга Петровна, он сам не мог понять, откуда у него взялись такие силы. Ольга Петровна говорила, что с медицинской точки зрения было бы лучше, если бы он не насиловал себя, не вскакивал и не кричал: «Коня!» Но сознавала и она, что так было нужно, необходимо, и знала, что, если бы потребовалось, он умер бы в седле — наперекор всякому благоразумию.)

Глядя в оживающее лицо жены, Григорий Иванович помог ей лечь повыше, поправил под головой подушку.

— Ты знаешь,— заговорил он, намереваясь отвлечь ее от мрачных мыслей,— едем мы сейчас, гляжу: у Николай Николаича под ногами сверток. «Что такое?» — спрашиваю. «А, ерунда,— говорит,— не обращайте внимания».— «Как это так — не обращайте!..» Разворачиваю. И что ты думаешь? — с загадочной улыбкой он уставился в лицо жены.

Бледные губы Ольги Петровны невольно сложились сердечком, она ждала продолжения рассказа.

— Белье! — с наигранной радостью выпалил он.

— Какое белье? — в недоумении нахмурилась Ольга Петровна.— И говори, пожалуйста, потише, у меня голова разламывается.

— Извини, извини!..— он наклонился совсем близко.— А белье для тебя, понимаешь? Чтобы выписать и забрать. И хорошее белье, отличное! Я, конечно, сразу за Николай

Николаича: «Где взял?» — «Дали»,— говорит. «Кто?» Помялся он, потом: «Борисов». Ты представляешь? Это они, черти, потихоньку от меня! Где-то, значит, достали и вроде бы в подарок. «Ах ты,— думаю,— ну, погоди у меня...»

Ольга Петровна спросила о бригаде, он бодро заверил ее, что все нормально. Пусть скорее поправляется, скоро домой. Последние денечки остаются.

— Гриша, у меня почему-то Колька не идет из головы. Вчера опять во сне видела. И вот дурная какая-то я стала, что ли: понимаю, ничего с ним случиться не может, а душа не на месте. Ты не знаешь, Семен глядит за ним, нет?

— Семен-то?..— Котовский неожиданно закашлялся, стал зачем-то шарить по карманам, но вынул не платок, а часы, взглянул, щелкнул крышкой и спрятал:— Неужели не глядит? Ты лежи, не думай.

Она взяла его руку, опустила.

— Гриша, как приедешь, посмотри: у него правый сапог трет. И он терпит. А чего терпеть? На колодке разбить — две минуты. И Семен, как дурак, ничего не видит. Он и ест-то, наверное, всухомятку!

— Да нет,— отбивался Григорий Иванович,— с едой у нас сейчас ничего. Наладилось.

— Гриша, может, ты их сюда пришлешь? Зачем они теперь тебе? Все уж, наверно, кончилось? А мы тут вместе. Все, знаешь, свои...

— Да вообще-то... это самое... Конечно, если с одной стороны взглянуть... Но если с другой стороны...

— Слушай, Гриша, ты что-то от меня скрываешь! А ну-ка посмотри, не отворачивайся... Гриша, я же все равно узнаю. Гриша, у меня душа не на месте! Слышишь?

— Оля, Оля!— испугался он.— Да ты что?

О, черт! Хоть бы кого-нибудь на помощь.

Но вот задребезжала дверь, в палату зорко заглянул и сразу же направился к больной давешний врач. Сообразил!

— А ну-ка, ну-ка, что тут у вас? — приговаривал он, быстро обмениваясь с Котовским взглядом. Подошел, взял руку Ольги Петровны и завел глаза в потолок, считая пульс.— Спокойно, спокойно. Вы мне мешаете...

Отгороженный врачом от настойчивого взгляда жены, Григорий Иванович на цыпочках тропулся к выходу.

— Гриша, ты уходишь?

Он вздрогнул и робко посмотрел назад.

Врач с озабоченным лицом, молча, одним взглядом приказал ему: идите же, уходите, ради бога!..

На взгляд Борисова и штабных, из Тамбова комбриг вернулся точно после тяжелой, затяжной болезни. Иногда, выслушивая доклад, он вдруг настолько уходил в свои мысли, что говорившему ничего не оставалось, как умолкнуть и ждать, когда комбриг очнется. Всякий раз при этом Котовский испытывал неловкость, старался переломить себя, но, видимо, раздумья, точившие его, были настолько сильны и неодолимы, что брали свое,— взгляд комбрига мало-помалу тускнел, полузадергивался веками, и он, вроде бы продолжая слушать и вникать, незаметно уносился куда-то далеко-далеко. Такого за ним не помнил даже Юцевич.

Угнетенное состояние комбрига тревожило начальника штаба и комиссара. Юцевич советовал отдохнуть, встряхнуться.

— А Матюхин? — напомнил Борисов.

— Не на год же! День, даже полдня — и нормально.

Об отдыхе и сам Юцевич втайне мечтал. В эти дни он был завален работой сверх головы, высох над бумагами. Штаб войск в Тамбове требовал всяческих сводок, списков отличившихся в боях. Кроме того, предстояла перерегистрация членов партии, пришло распоряжение выделить людей для учебы в комуниверситете. А надо бы еще

подумать о подборе опытных инструкторов для занятий с комсоставом, похлопотать о ветеринарном персонале, о кузнецах с инструментом. А кони в эскадронах без овса, кормятся одной травой, а медоколодок без своего обоза...

Оторвавшись от опостылевших бумаг, Фомич простонал, что ему не мил белый свет. Сейчас, сказал он Борисову, вместо всей этой канцелярщины, самое милое дело отправиться в поле, на тот же, скажем, покос.

— Представляешь, Петр Александрыч? — заломив руки за голову, Юцевич сладко потянулся и так мечтательно замер.— Послать к чертовой матери все карты, сводки, донесения, отодвинуть подальше телефоны и доклады, снять с истомившегося тела военные ремни и все, что стягивает и как бы обязывает, и день напролет с наслаждением ступать босой ногой по мягкой, ласковой траве; а тут бы еще дождик налетел, шумный, но коротенький и теплый, после которого так одуряюще пахнут вянущие, скошенные травы; а там и вечер незаметно подошел, тихий, под высоким бледным небом, первая звездочка над полем, дым костра, пар от котелка, пресный дух от речки в камышах...

С минуту, не меньше, молоденький начальник штаба очарованно смотрел в потолок избы, на лице забытая блаженная улыбка, затем потряс головой и рассмеялся.

— Ну-у, брат! — крякнул Борисов и не смог сидеть, поднялся.— Расписал, аж слюни потекли! Так в чем дело? Может, устроим?

— Проще простого,— вяло отозвался Юцевич и, зевнув, с сожалением окинул взглядом заваленный стол.— Мне некогда, а вам... чего же?

— Бодрей, бодрей давай! — подгонял его Борисов.— Сам же предложил.

— А может, мне завидно? Вы, значит, поедете, а я тут плесневей?

В конце концов было послано за взводным Симоновым, начальником гарнизона в селе Медном. Юцевич занялся своими делами, организацию выезда в поле Борисов взял на себя.

Предложение отдохнуть Григорий Иванович встретил равнодушно (Борисову показалось — даже с неохотой, но Юцевич успокоил комиссара: в поле, за любимой крестьянской работой, отвлечется комбриг).

С выездом немного припозднились. Впереди всех, стоя в дребезжащей бричке, крутил вожжами Слива. На ногах начальника пулеметной команды драные опорки, на голове широкая соломенная шляпа. Потешая бойцов, к бричке подскакивал неуемный Мартынов и пытался сорвать шляпу, Слива отмахивался, делал зверское лицо.

Комбриг ехал в одиночестве, смотрел в гриву Орлика. Держась позади, Борисов сочувствовал ему и не находил, чем помочь. Говорить что-то, утешать? Словами тут ничего не сделаешь. К тому же только ли о своем горе размышлял комбриг? Над бригадой висел долг: Матюхин с двумя полками отъявленных бандитов. Пусть чем-то сможет помочь доставленный из Москвы Эктов,— все равно последняя оставшаяся операция потребует необычайного напряжения сил, выдумки, риска. Борисов уже имел случай убедиться, что это такое — последние бои (любой военный знает, что самые тяжелые бои — последние), оттого-то и подал Юцевич мысль об отдыхе,— комбригу было необходимо освободить голову от всяких посторонних мыслей, обрести возможность целиком сосредоточиться на выполнении задачи.

Во всей позе отрешенного, ничего не замечающего вокруг комбрига угадывалось одно: усталость. Борисов вспомнил, что Юцевич предупреждал его о дне рождения комбрига, но что-то помешало тогда, подоспело срочное, не-

отложное, и день пролетел в делах, в заботах (кажется, как раз гнали Антонова к Бакурам), а теперь, пожалуй, возвращаться неудобно... Сорок лет! Ничего не скажешь — возраст... (Неожиданно впереди, в гурьбе верховых бойцов, раздался взрыв хохота, комбриг поднял голову, всмотрелся и снова опустил.)

Незаметно для самого себя Борисов попал под влияние незаурядной натуры Котовского и, подобно Юцевичу и всем бойцам бригады, стал его восторженным почитателем. Особенно сказались на его отношении к комбригу прошлогодние бои на Украине, когда бригада выбила остатки петлюровцев за пределы республики, за Збруч. Именно в тех боях за Проскуров и Волочиск он получил убедительный урок того, что на войне своя арифметика и разгром врага достигается не одним грубым превосходством в силе. Под впечатлением одержанной тогда победы он пришел к выводу, что выдающиеся люди именно таким образом и влияют на самый ход истории: своим умом, упорством, волей они заставляют развиваться события в необходимом им направлении, истории же остается лишь записывать за ними...

Глава двадцать вторая

Конец прошлого, двадцатого года, последние его месяцы выдались для бригады напряженными.

Полки и дивизии 14-й армии медленно выдавливали противника с Украины. Бригада Котовского действовала далеко впереди, громя тылы и сея панику.

О роли кавалерии в современной войне у Григория Ивановича сложилось твердое убеждение. Кто еще в состоянии так быстро проникнуть в глубокий тыл противника, перехватить его важнейшие коммуникации, посеять в

штабах страх и растерянность? Быстрота маневра позволяла избегать ощутимых потерь, в то же время нанося огромный урон врагу. Недаром бойцы говорили, что воевать теперь стало веселее: досыта наотступавшись с Южной группой, бригада в последние годы знала только одно — вперед.

«Реввоенсовет фронта благодарит части XIV армии за доблестные действия против петлюровских банд, отмечая особенно геройские подвиги и боевую удаль кавбригады т. Котовского; всех достойных представить к награде. Реввоенсовет фронта уверен, что как вся живая сила, так и вся техника войск бандита Петлюры будет разгромлена и целиком достанется в руки геройских частей XIV армии.

Командующий Юго-Западного фронта
Егоров

Член Реввоенсовета
Берзин».

Приказ застал бригаду под Росоховаткой. Как назло, полк Криворучко в этот день остановился и прекратил преследование противника.

Комбриг вышел из себя:

— Что там у них? Чего они телятся?

Криворучко висел на плечах бегущих, следовательно, ни о каком организованном сопротивлении не могло быть речи.

— Разрешите связаться, уточнить? — спросил Юцевич. Он в эти дни натянут, сух, о сне давно забыто.

Юцевич вернулся и обрадовал: удалось связаться с самим Криворучко, он ждет у телефона. Комбриг ринулся в аппаратную.

— Слушай... Николай! — закричал он в трубку.— Тебе что, может, носилки подать? Поднести тебя в Росоховатку на руках?

Остановка произошла по вине Вальдмана, которого насторожила поразительная легкость, с какой удача валилась в руки.

Пока комбриг выслушивал оправдания Криворучко, начальник штаба все, или почти все, читал на его меняющемся лице.

— Ну не дурак? — вскричал Котовский и движением бровей пригласил Юцевича разделить его возмущение.— Да какой там перед тобой противник, какой противник? Вороний корм! Пока до боя дело дойдет, он тридцать раз со страху пропадет... Слушай, Николай, я тебя предупреждаю. С этой Росоховаткой мы можем все потерять. Слышишь, все! Ударь сбоку. Что тебя — учить?

Видимо, самолюбивый Криворучко что-то буркнул,— комбриг, отдав трубку, с довольным видом заявил Юцевичу:

— Обиделся! Теперь порядок.

Он распорядился доставить Криворучко копию приказа Реввоенсовета фронта. Пусть сами прочитают, как их хвалят,— стыднее будет!

Заминку под Росоховаткой удалось выправить с трудом. Петлюровцы опомнились, пришли в себя. Выбивать их теперь прямой атакой — весь полк положишь.

Взяв с собой ординарца, Криворучко направился на дорогу в Росоховатку и пустил коня рысью. Версты за две до села он свернул в лес, дал большого крюка и выехал прямо на передовое охранение противника.

— Стой! Стрелять буду! — Несколько человек с винтовками в руках вышли из кустов. Они с недоумением разглядывали странное убранство верховых. На Криворучко был костюм гусара: красные штаны в обтяжку, на плечи наброшен серебристый ментик. У ординарца из-под заломленной папахи вился чуб.

Подъехав вплотную, Криворучко остановил коня.

От старшего охранения он властно потребовал, чтобы

его проводили в штаб. В штабе петлюровского полка Криворучко назвался командиром повстанческого отряда (отряд — в лесу) и предложил выработать план совместных действий. Видимо, на штабных подействовала уверенная повадка Криворучко, а может быть, помог и необычный наряд гусара. Не теряя времени, приступили к делу. Криворучко, слушая, покусывал свой пушистый ус. Выходило, что Вальдман, приказав остановиться, поступил не так глупо, как это показалось сгоряча. В Росоховатке разогнавшихся преследователей ждала пулеметная засада. Но самое главное, о чем узнал Криворучко, заключалось в следующем: отборный отряд войскового старшины Фролова получил задание внезапно обрушиться на штаб бригады и разгромить его (самого Котовского старшина Фролов хвалился привезти живым).

Захват Росоховатки, как выяснил Криворучко, труда не составит, силы у петлюровцев здесь жиденькие (весь расчет был на то, что преследователи напорются на пулеметный огонь). Но Фролов!..

Ночью под Вендичанами два эскадрона перехватили фроловцев на марше. Бой был недолгим, из всего отборного отряда уцелели немногие. Пленные были одеты в новенькие английские френчи с белыми крестами на рукавах. В числе трофеев достался черный флажок с вышитой серебром буквой «Ф».

Разгром фроловцев помог Криворучко избежать нагоняя за дерзкую вылазку в штаб петлюровского полка (на наказании, в назидание другим, настаивали и Борисов, и Юцевич). Криворучко потом оправдывался: а как было поступить? Послать кого-нибудь за «языком» — еще неизвестно кого возьмут. Да и «разговорится» ли захваченный пленный? А так — сразу!..

Лихость всегда была близка сердцу Котовского, и накладывать взыскание на Криворучко у него «не поднялась рука».



Юцевичу он сказал:

— Я же говорил: задень его, гору свернет. Из себя вылезет, а сделает!

В Проскурове, до которого оставалось несколько переходов, находился штаб генерала Перемыкина. Концентрация войск противника возрастала. Разведка установила, что из Польши в район Проскуров — Могилев-Подольский на помощь Петлюре переброшено двадцать тысяч пехоты и полторы тысячи сабель из остатков разбитых белогвардейских частей. Польша втихомолку нарушала условия перемирия, всячески помогая врагам Советской республики.

Когда Юцевич положил перед комбригом тщательно размеченную карту и тот увидел, какими силами обороняется город, лицо его потемнело. Впрочем, он был бы никудышным командиром, если бы при виде такой массы войск остался спокойным.

По последним данным, докладывал Юцевич и показывал на карте, перед фронтом бригады появилась 3-я армия Врангеля. Кавалерийская группа генерала Загорецкого сильно потеснила нашу 60-ю дивизию, в результате чего правый фланг у нас обнажился на двадцать пять километров, а над ним из района Голоскова нависает дивизия есаула Яковлева. Юцевич добавил: по некоторым сведениям, казаки Яковлева несколько часов назад заняли местечко Деражня. Предполагается, что Яковлев готовится в рейд по тылам нашей 14-й армии.

Мнение начальника штаба о дальнейших действиях бригады сводилось к одному: не подавиться бы. Усталость бойцов, оторванность от своих, насыщенная оборона противника...

— Ладно, подумаем,— буркнул Григорий Иванович и попросил оставить у него карту.

Лампа в комнате комбрига горела до позднего часа. Голый пылающий лоб Котовского нависал над красноречиво говорящей картой. Линия вражеской обороны была

способна еще задолго до боя внести смятение в душу любого понимающего человека.

Григорий Иванович будто наяву увидел генеральскую руку — белую, холеную, со старорежимным штабным карандашом. Несомненно, Перемыкин понимал, насколько зарвалась передовая кавалерийская бригада. По сравнению с его силами это была горстка отчаянных людей, ведомых необразованным фанатиком командиром. О благоразумии, надо полагать, этот фанатик не захочет и слышать. Подолбив сколько положено из пушек, он рьяно кинется в бой. (Генерал, как догадывался Котовский, ни капельки не уважал командира зарвавшейся бригады. Что ж, как раз это и может стать началом генеральского поражения.)

По обозначенной на карте железнодорожной ветке у Перемыкина ползало два бронепоезда, перекрывая артиллерийским огнем все подходы к передовым позициям. Соблазнительным казался небольшой участок у озера Дубовое, но там в деревне Заречье стоят два тяжелых и восемь легких орудий. Конечно, крыть будут картечью... Все приготовлено к тому, чтобы бригада положила здесь все свои эскадроны!

Ударить бы сбоку, зайти незаметно, неожиданно. Самый козырный на войне ход! Пускай их много, не сосчитать, но они уже оглядываются на границу, думают не наступать, а отступать... Много ли им сейчас надо?

Сжав виски, Григорий Иванович закрыл глаза и так сидел минуту, другую. В любом бою отдаются два приказа — с той и другой стороны. Один из них останется невыполненным. Чей?.. На какой-то миг привиделось, как к генералу вбежал испуганный начальник штаба, что-то крикнул и оба они, побросав все на столах, старческой рысцой потрусили из обреченной комнаты...

Раздумья комбрига перебил Борисов.

Комиссар считал, что брать Проскуров силами одной бригады рискованно. Не секрет — противник с каждым

днем становится упорнее. Каждое проигранное сражение приближает его к гибели, следовательно, стойкость его будет возрастать. Если взглянуть на дело шире, как любил говорить покойный Христофоров, бригада уже достаточно показала себя. Самое время проявить благоразумие, иначе одним шагом можно испортить все.

Выслушав, комбриг хмыкнул и покрутил бритой головой.

— По науке считаешь? Это хорошо. Все, как приказчик, разложил... Но вот еще какая наука есть: не равнять его с собой. Он, может быть, и думает, как бы нам накласть и в хвост, и в гриву, да вот беда — кишка тонка! Полноценности в нем нет, полноценности! Понимаешь? По-научному сказать: несоответствие замыслов и возможностей. А тут еще Збруч под боком, спасение. И вот я так соображаю: если мы его пугнем хорошенько, он стреканет, как заяц. Ну что? Не по науке это?

— Риск, Григорий Иваныч!

— Конечно, риск. А как же в нашем деле без риска? Кто, знаешь, не рискует, тот шампанского не пьет. Так у нас в Одессе говорили.

Неожиданно он потянулся, выгнулся, сладко и откровенно зевнул.

— Что я тебе, Петр Александрыч, гарантирую, так это вот: штанишки у его превосходительства Перемыкина будут сырые. Сам увидишь, вспомни потом мои слова!..

Поздно ночью комбриг велел седлать Орлика — отправился проверять караулы. На лице начальника штаба сочувственное понимание: когда в голове усталость, лучше всего хлебнуть свежего воздуха.

— Григорий Иванович, я с вами,— вызвался Борисов.

Погруженный в свои мысли, Котовский ехал молча. На полкорпуса сзади держался Борисов. За ними следовали ординарцы.

Висел ущербный рожок месяца, иней высеребрил землю. Деловито постукивали копыта коней.

Вдалеке блеснула полоска озера, потом вдруг на гребне бугра обозначилось несколько верховых фигур. Григорий Иванович повернул коня в кусты. С седел не слезали, ждали. Редко ронялись капли с голых веток.

Стали слышны голоса верховых, и Черныш шепотом сказал, что это свои.

Комбриг фыркнул:

— По ветру чуешь?

— По винтовкам вижу. Казаки через правое плечо надевают. Да и голос — Мартынов... Свои это, Григорь Иваныч. Видать, разведка.

Комбриг, вглядываясь в подъезжавших всадников, не шевелился. Когда верховые поравнялись с кустами, Котовский тронул повод и выехал. Те испугались, руки дернулись к шашкам.

Черныш угадал правильно — это возвращалась разведка второго полка.

Назад поехали вместе.

От Мартынова попахивало самогоном. Разбитной парень оправдывался тем, что не смог отказаться от угощения.

— Они нас, Григорь Иваныч, так ждут, так ждут, прямо сил нет! Набедовался народ.

Комбриг удивился:

— А ты что, в самом Заречье был?

— А как же! Все мы.

— Как попали?

— Да как Исус Христос, по воде. Их там, Григорь Иваныч, если по озеру идти, хоть за ноги бери. Никто и не пикнул.

— Что ты говоришь?! И глубоко, нет?

— Какое там! — разливался Мартынов, радуясь, что о самогоне забыто.— Редко где по брюхо. В одном месте, наверно, с головкой будет, так можно обойти. Я запомнил.

— Ага, ага...— и Котовский замолк, ни о чем больше не спрашивал. Комиссар, почувствовав, что сообщение Мартынова дало мыслям комбрига какой-то неожиданный толчок, так и не собрался заговорить.

В штабе, соскочив с седла, Григорий Иванович на ходу бросил Юцевичу, что ему немедленно нужен командир батареи, и прошел к себе.

План комбрига был чрезвычайно прост. Напрасно его превосходительство ждет, что бригада, постреляв из орудий, пойдет в лобовую атаку. Сберегать людей маневром — это основное военное правило Котовский усвоил накрепко. Закупорившись в Проскурове, генерал не учел одной малости: озеро Дубовое отнюдь не преграда для кавалерии. На карте оно выглядит внушительно, на самом же деле... И вот через эту «калитку», которую Перемыкин просто не додумался как следует запереть, и нужно нанести удар.

Юцевич, слушая, сразу же полез в карту, замигал, замигал, и лицо его озарилось радостной улыбкой. Борисов мысленно ругнул себя. Он слышал разговор Котовского с возвращавшимися разведчиками, но, признаться, ему и в голову не пришло... Он тут же решил, что отправится с эскадронами, назначенными для обхода.

Смысл задуманного комбригом маневра заключался в том, чтобы не дать противнику заметить кавалерию, бредущую через мелководье озера. Очень важно отвлечь и батареи в деревне Заречье. Для этого, во-первых, будет предпринята показная атака с фронта, во-вторых же,— и в этом самая соль — батарея Евстигнеича выдвинется без всякого прикрытия и затеет артиллерийскую дуэль, вызовет вражеский огонь на себя. Да, Евстигнеичу придется не сладко, больше того, со своей батареей он, по существу, откровенно приносится в жертву.

Помолчав, комбриг добавил, что сейчас придет Евстиг-

неич и нужно поддержать старика: не показывать ему сострадания, не жалеть, пусть он уйдет на свой подвиг с верой, что в этом — единственный путь к победе с малой кровью для нас и с гигантским уроном для врага.

— Да-а...— Юцевич плотнее запахнулся в шинель.— А кто в обход?

Хмуро отвалившись от стола, комбриг ответил не сразу.

— Я думаю, Девятый.

Юцевич, склонив голову, обдумал кандидатуру эскадронного. Что ж, исполнителен, настойчив.

— У себя? — послышался громкий голос за дверью.

Старый фейерверкер Евстигнеич ходил в затрапезном трофейном френче, из нагрудного кармана постоянно высовывался уголок чистейшего платка. Платок ему был нужен, чтобы махать своим артиллеристам: «Огонь!»

Борисов знал, что комбриг всегда любил и отличал своего командира батареи. Но дружба на войне — особый вид человеческих отношений, в первую очередь здесь ценится надежность. Фронтового друга не станешь сохранять в тылу, наоборот, ему — самое ответственное, самое опасное задание, потому что он не подведет, исполнит,— надежный человек! Иногда Борисов думал, что напускная черствость комбрига объясняется именно необходимостью задавливать в себе жалость и посылать в жестокий бой самых лучших своих людей, потому что они лучше остальных справятся с тяжелым заданием.

Так было и сейчас. Комбриг жалел Евстигнеича и все же посылал его почти на верную гибель, потому что заботился не об одной батарее, а о всей бригаде.

Говорить должен был Котовский, комиссар и начальник штаба сидели молча. Свет лампы резал уставшие глаза, Григорий Иванович прикрывался рукой. Разговор предстоял тяжелый.

— Батя,— позвал он старика и пригласил взглянуть на карту.

Евстигнеич посмотрел, прикинул в уме позицию.

— Плотновато, Григорь Иваныч.

— Еще бы!.. Объегорить надо.

Старик с достоинством разгладил усы:

— А чего? Постараемся. Не может быть, чтоб не объегорили!.. На мой сказ, Григорь Иваныч, вот тут неплохо стать. А? Смотри, ему нас не видно, а нам до него доплюнуть можно.

Высказывая свои соображения, старый фейерверкер еще ни о чем не догадывался. Григорий Иванович медленно покачал головой.

— Нет, батя, становиться надо вот где.

Старик удивился:

— Григорь Иваныч, какой же дурак... Собьют за милую душу!

— Собьют,— согласился Котовский.— Но надо.

Он глядел скорбно, но твердо.

— Вот оно как! — проговорил Евстигнеич и, начиная догадываться, оглянулся на комиссара и начальника штаба, до сих пор не проронивших ни слова. Ни тот, ни другой не опустили глаз. Старый артиллерист все понял и завесился бровями, точно уже сейчас прикидывая, каково ему и его людям придется в этом самоубийственном бою.

Он уперся рукой в стол, поднялся.

— Когда становиться?

— Сейчас,— сказал комбриг.— Пока темно.

Кажется, в такую минуту не грешно бы обнять старика, сказать ему что-нибудь ободряющее, душевное, и Борисов ожидал, что комбриг так и поступит. Но тот не пошевелился.

В сопровождении Юцевича старый артиллерист вышел из комнаты. Прикрыв ладонью глаза, комбриг остался сидеть, как сидел.

Комиссар размышлял о том, что в правом кармане френча старик носил платочек, в левом — партбилет. Неда-

ром Борисов в самом начале своей работы обратил внимание, что среди убитых и раненых необычайно высок процент коммунистов. Ничего удивительного не было: эти люди всегда оказывались там, где труднее, и недаром любой противник, узнав, что́ за бригада перед ним, всеми силами старался разведать не только количество клинков и пулеметов, а и процент коммунистов в эскадронах.

— Гриша,— позвал Борисов,— я к Девятому.

Видимо, ничего другого Котовский и не ждал, он не переменил своей позы.

— Смотри там за ним. Торопить не торопи, но стоять не давай. На сколько деда хватит?.. Надо успеть.

— Постараемся.

Потом вошел Юцевич:

— Григорь Иваныч, они уходят.

Наступал затяжной осенний рассвет. Различались фигуры ездовых, фыркали упряжные лошади, стучали колеса на подстывших кочках, раз или два звякнули ножны о стремя.

С крыльца штабной избы комбриг смотрел вслед уходившим, пока на фоне светлеющего неба не исчез последний силуэт.

Ухнул первый залп, снаряды, ввинчиваясь в воздух, полетели в предрассветную мглу и вздыбили фонтаны земли на огородах деревушки. Противник из Заречья принялся отвечать торопливо, нервно.

Верхом на Орлике комбриг не отрывал от глаз бинокля. На бугре, где выставилась батарея Евстигнеича, стали вспыхивать зеленоватые разрывы. Противник крыл бризантными снарядами.

— Кончается дед,— вздохнул Скутельник, улавливая, как все реже отвечает батарея.

Котовский за цепочку выудил часы: скоро ли они там?

Но вот далеко-далеко послышалось переливчатое: «Ура-а!..» Комбриг заторопился, запихивая часы.

— Все! Молодец дед!

Когда он въехал на бугор, перепаханный снарядами, Евстигнеич лежал, привалившись спиной к колесу разбитого орудия. Кулаком с зажатым платочком он упирался в землю, ноги врозь. Осколок снаряда разворотил старику живот.

В крошеве мерзлого чернозема виднелись обрывки одежды. Убитые валялись лицом к земле — живой человек никогда так не ляжет.

Через великую силу старый фейерверкер поднял голову и снова уронил ее на грудь. Жизнь уходила из него.

Комбриг схватил старика за плечи и поцеловал в небритую испачканную щеку. Ноги Евстигнеича в разбитых сапогах сомкнулись, он повалился на бок, головой в землю.

С бугра виднелся дым на городских окраинах, бой шел уже на улицах Проскурова. Со стороны вокзала в небо взвились языки пламени. На путях горели два эшелона. Взрыв раздавался за взрывом. Рухнула водонапорная башня, горело депо.

Сражение заняло немного времени. На обходной маневр генерал Перемыкин не стал принимать ответных мер, потеряв голову, он больше не думал о сопротивлении. Все, что происходило после удара Девятого, было уже не настоящим боем, а добиванием.

Бойцам, ворвавшимся на пустынные улицы Проскурова, казалось, что город вымер. Перед зданием гостиницы Девятый соскочил с коня. Бойцы ломились в запертые двери. Слышно было, что внутри гостиницы бегают по коридорам.

— Бросьте-ка парочку гранат! — приказал Девятый.

Взрыв разнес двери.

— Бегом на этажи! — крикнул Девятый.— Двери ломай. Всех задержанных сгоняйте вниз.

Перепуганный лакей сообщил, что в гостинице жили одни офицеры.

— Здесь что? — спросил Девятый, указывая на неплотно прикрытую дверь.

Лакей согнулся в поклоне:

— Буфет-с!

— Эге!

Эскадронный крякнул и ударил ногой в дверь. Глазам его открылся целый иконостас разнокалиберных бутылок. Видно сразу, что господа офицеры в выпивке себе не отказывали! За спиной эскадронного раздался тихий восторженный свист. Девятый оглянулся и узнал Мамаева. Глаза Мамая блестели, он нежно созерцал трофейное богатство.

Девятый вынул шашку и тупым концом стал бить по бутылкам. Зазвенело стекло, вино хлынуло на пол, под ноги. Мамай сначала застонал от такого бесчинства, затем выскочил вперед и, раскинув руки, загородил собой последнюю оставшуюся полку.

— С ума сошел! — закричал он.— Оставь хоть раненым!

Эскадронный подумал и вложил шашку в ножны. Он приказал лакею закрыть буфет и никого не пускать.

В номере «люкс» на столе нашли недописанное письмо. Здесь жил сам генерал Перемыкин. Он бежал, не успев докончить письма Савинкову.

«...Мое мнение — дело наше проиграно безнадежно. Проклятая петлюровская рвань драпает почем зря, не принимая ни одного боя. Котовский донимает нас по-прежнему; этот каторжник буквально вездесущ. Правда, командир Киевской дивизии генерал Тютюнник недавно хвастал, будто пощипал Котовского под Дубровкой, но я думаю, что этот желто-блокитный выскочка и бандит по обыкновению врет и дело обстояло как раз наоборот...»

— Под Дубровкой? — удивился Юцевич и повертел письмо.— Конечно, врет!

Комбриг, узнав, что в Проскурове находился сам Петлюра, но успел улизнуть в последнюю минуту, от досады хватил себя по бокам:

— Ну не змея, а?

— В Волочиске накроем,— уверенно пообещал Юцевич.

Из Волочиска, последней приграничной точки, доходили сведения, что в городе царит суматоха. Железнодорожники с согласия поляков спешно перешивали колею, торопясь увести за реку бронепоезда и эшелоны с имуществом, через Збруч наводили два понтонных моста.

21 ноября Петлюре доложили, что конница Котовского в семи верстах. Несколько министров бросились бежать и под Гусятиным перешли польскую границу. Чтобы не попасть в плен, Петлюра оставил свой личный поезд и ушел за Збруч пешком.

Бригада Котовского приближалась к Волочиску на плечах бегущих. Два бронепоезда прикрывали панический отход беглым артиллерийским огнем.

Узнав, что через наведенные мосты уходит в Польшу всевозможное военное имущество, скуповатый Криворучко схватился за голову:

— Сколько добра теряем!

Последние пять верст полк прошел галопом.

Через Волочиск бригада пронеслась, не задерживаясь. В личном поезде Петлюры валялись развороченные чемоданы, на обеденном столе пар поднимался от тарелок с супом.

На реке, на неокрепшем льду, вспыхивали клинки, в дымящихся полыньях бултыхались кони, люди. На мосту казаки есаула Яковлева, расчищая путь, рубили обозных, сбрасывали подводы.

Когда Криворучко на своем белоснежном Кобчике в сопровождении развернутого штандарта бригады поднялся на высокий, уже польский берег Збруча, его встретил пограничный офицер, козырнул и со сладкой улыбочкой напомнил, что между Польшей и Россией существует мирный договор. Криворучко повернул коня, но Мамаев не удержался, крикнул:

— Куда Петлюру дели, сволочи?

Ночью подгулявший Мамаев вылез на берег Збруча, выпалил из карабина и закричал в темноту:

— Граждане петлюры, хватит воевать с братьями рабочими, давайте лучше воевать с буржуями!

За рекой стояла немая, могильная тишина. Мамаев постоял, прислушиваясь, но ответа не дождался.

Приказ начальника 45 стрелковой дивизии

«Кавбригада... т. Котовского вновь проделала баснословный акт и вновь внесла в свою прекрасную историю героическую страницу; в ночь с 17 на 18 ноября кавбригада после двух упорных боев взяла серьезный стратегический пункт и базу белогвардейской сволочи — г. Проскуров, нарушив связь и планы белых... 45 дивизия, всегда с восторгом смотревшая на свое детище, от лица службы благодарит комбрига кавалерийской т. Котовского, отважно ведущего на огромные победы свою маленькую, состоящую из железных бойцов, бригаду. Весь комсостав и красноармейцы, славная красноармейская семья 45 стрелковой краснознаменной дивизии, гордится своей героической кавалерией.

Начдив и военком
Якир».

Приказ из штаба дивизии поступил по прямому проводу. С бланком в руке Борисов вышел из аппаратной и

спросил комбрига. Ему сказали, что Котовского видели на первом этаже в бильярдной.

Штаб бригады занял левое крыло второго этажа гостиницы. В остальных номерах разместились красные командиры. Гостиница гудела, как улей. В вестибюле вокруг громадного фикуса, попорченного взрывом, ходил Слива, трогал израненные листья, совал палец в кадушку с землей. У наспех сколоченных дверей стоял часовой с шашкой и карабином. Завидев сбегавшего по ковровой лестнице Борисова, часовой взял прислоненный к стене карабин в руку.

Из бильярдной комнаты доносилось щелканье шаров. В дверях и вдоль стен стояли зрители. Играли Котовский и маркер, развязный человечек в жилетке с золотой цепочкой. Маркер называл комбрига по имени — они были знакомы по Одессе.

— Нет, ты смотри, что он делает! — сокрушался Котовский, доставая забитый шар и выставляя его на полку.

— Гриша,— томно говорил человечек, похаживая вокруг стола,— вы ж мою руку знаете.

Он немного кокетничал и щеголял безупречным ударом.

Ожидая своей очереди, комбриг натер кий и пальцы левой руки кусочком мела. Попробовал, как скользит кий, расстегнул ворот гимнастерки. Затем снял ремень с маузером, оглянулся кому бы отдать и увидел Борисова.

— Петр Александрыч, будь другом, подержи!

В руке комиссара он заметил бланк и озабоченно спросил:

— Что-нибудь срочное?

— Нет, ничего. Потерпит.

— Тогда я доиграю.

Азарт бильярдистов был недоступен Борисову — он мало что смыслил в этой игре,— но интересно было наблюдать профессиональные приготовления комбрига, всю его

повадку прожженного завсегдатая бильярдных. Вот уж никогда бы не подумал!

Оглядывая рассыпанные по всему столу шары, Григорий Иванович плотоядно ухмыльнулся:

— Тэк, тэ-эк-с... Что, Петр Александрыч, рискнем, нет? Можно партию закончить.

Шар, на который посматривал Котовский, был трудный, маркер, опираясь на кий, как на пику, лукаво подзадорил:

— Кто не рискует, Гриша, тот не пьет шампанского...

— ...и не сидит в тюрьме! — закончил Котовский, всецело занятый изучением шаров на зеленом поле.— Ладно, была не была! Если я этот шар сделаю, остальные — семечки.

— Смелость города берет! — одобрительно ввернул маркер.

Снова натирая кий мелом, Григорий Иванович не сводил глаз с намеченного шара. Медленно отложил мел, бережно стукнул кием о борт стола, стряхивая несуществующие крошки, и с кряхтением стал укладываться на борт, задирая ногу.

— Эх, старость — не радость! — пожаловался он и вдруг коротким резаным ударом с лязгом вогнал шар в лузу.

С унылым видом маркер отправился доставать шар.

— Узнаю вашу руку, Гриша. Этому удару завидовал сам Мотя Рубинштейн. Я уж не говорю о Мише Япончике, царство ему небесное. С таким ударом вы мне обязаны давать фору два креста и пятерку со стола. Не меньше!

Поставив кий, Котовский отряхнул руки.

— В следующий раз.

Борисов протянул ему ремень с маузером.

— Гриша, предлагаю на интерес,— настаивал маркер.

В это время в дверях бильярдной показался возмущенный Криворучко.

— Григорь Иваныч,— загудел он,— насилу отыскал!

— Тихо, тихо,— Котовский повернул его за плечи, подтолкнул.— Пошли отсюда.

Возмутило Криворучко вот что: по распоряжению «отцов города» всем публичным домам Проскурова в течение пяти дней приказывалось работать бесплатно, и только для красноармейцев.

— Григорь Иваныч, они нам всю бригаду позаражают. Я сказал все эти дома закрыть, а девок разогнать нагайками.

Застегиваясь, комбриг миновал вестибюль, стал подниматься по лестнице.

— Закрыть — правильно. Только куда ты их разгонишь? Опять же в город!

— Так что с ними делать? — кипел Криворучко, шагая за комбригом по узкому коридору.— Я всех своих предупредил: кого прихвачу — пусть не обижаются!

— Можешь добавить еще и от меня!

Раскрыв дверь, Григорий Иванович пропустил вперед себя комиссара и командира полка. Криворучко, смутившись, заупрямился, тогда комбриг обнял его за плечи и втолкнул силой.

— Здоровый какой, черт! Не спихнешь.

После выигрыша он был настроен благодушно.

Навстречу им поднялся Юцевич. За широкими окнами сиял солнечный морозный денек, показавшийся особенно ярким после темного гостиничного коридора. Начальник штаба сообщил, что бригаде приказано выступить в район местечка Кун для борьбы с бандитизмом. Штаб дивизии перебирается в город Гайсин.

— Я готовлю необходимые распоряжения.

— Ну вот и все заботы! — сказал комбриг и подмигнул Криворучко.— А ты распылился: разогнать, нагайками! Без нас этим займутся.

Из приказа Революционного Военного Совета Республики...

«г. Москва 30 декабря 1920 г.

...Награждаются Почетным Революционным Красным Знаменем за отличия в боях с врагами социалистического отечества:

Кавалерийская бригада 45 стрелковой дивизии...

Заместитель председателя
Революционного Военного Совета Республики
Э. Склянский

Главнокомандующий всеми
вооруженными силами Республики
С. Каменев»

Глава двадцать третья

— Отвяжись, грех! — Слива замахивался на Мартынова вожжами и отклонял голову, чтобы тот не сорвал шляпу.

— Мыкола, а Мыкола... Слышь, Мыкола, слух есть, будто скоро головы научатся переставлять.

— Вот тебе лафа! А то с этой башкой ты никуда.

Молодой здоровый хохот заставил Котовского очнуться. Лошади шли шагом. Рядом, чуть впереди, ехал и оглядывался комиссар. Григорий Иванович усмехнулся:

— Петр Александрыч, чего крадешься? Иди ближе.

— Смотрю я, Григорь Иваныч, день больно хорош! — бодро заявил Борисов, подъезжая.

Запрокинув голову, комбриг посмотрел вверх, прижмурил глаз: да, день разгуливался, уже разгулялся...

— Обрати внимание, Григорь Иваныч, народ почти совсем управился.

На лугу, там и сям, стояли аккуратные стога. Комбриг вздохнул:

— Петр Александрыч, заметил, нет: чуть минута поспокойнее, бойцы так и кидаются, чего бы сделать. Хоть огородишко перекопать, хоть колодец очистить! Руки чешутся настоящим делом заняться. А я вчера вышел — дождичек как раз прошел. Зачерпнул земли — и, знаешь, запах: голова кругом! Век бы не нанюхался, честное слово!

— Кончается война, Григорь Иваныч. Еще немного — и за землю примемся.

— Кто примется, а кто и нет,— с сожалением проговорил комбриг.

Борисов подтвердил:

— Тебя, я думаю, Григорь Иваныч, обязательно оставят в кадрах. Эскадронных оставят. Еще кое-кого... Отпускать будут таких, как «чудо медицины»,— он показал на Сливу, с которого Мартынов все же ухитрился сорвать соломенную шляпу.

Посмотрев, как впереди со смехом дурачатся беспечные бойцы, комбриг опустил голову. Перспектива остаться в кадрах была ему не по душе.

— Ты думаешь, охота? Я ж агроном.

— Кому-то ведь и караулить надо! — возразил Борисов.

— Да, караулить...— Комбриг опять задумался.— Знаешь, не выходит у меня этот Матюхин из ума. Сидит и сидит! Может, отстанем да искупаемся, а? А заодно и... Мыслишка, понимаешь, одна шевелится, не знаю — выйдет что, не выйдет? Обмозговать бы надо. Ни о чем больше думать не могу!

Радуясь предложению, Борисов с готовностью согласился:

— Григорь Иваныч, какой может быть разговор!

Они отстали и повернули к речке.

Разбежавшись по песку, комбриг вытянул вперед руки и шумно плюхнулся в воду. Через несколько метров вынырнул, отфыркнулся и поплыл на другой берег. От головы на обе стороны потянулся треугольник разбуженной воды; в подмытый обвалившийся берег заплескала мелкая волна.

Борисов купаться не спешил. Стянув верхнее обмундирование, он остался в одном белье, босой ногой попробовал воду и поежился. На том берегу Котовский уже вылезал на отмель, блестел телом. Тогда, не снимая белья, комиссар забрел по колени, по пояс, еще поколебался, удерживая локти над водой, и вдруг ухнул с головой. Слепое, облепленное волосами лицо его выскочило на середине речки. Он отмахнул с глаз волосы и, выкидывая мокрые рукава, стал крестить речку широкими саженками.

Покуда комбриг, вздрагивая телом и сдувая с носа капли, подгребал к груди и под бока горячий рассыпчатый песок, Борисов хозяйственно простирнул бельишко и разложил его сохнуть. С бельем в бригаде было худо, как приехали — без сменки.

На той стороне раздался топот, визг,— эскадрон Скутельника как взял галопом от деревни, так с разбегу и влетел в речку. Вода сразу закипела. Бойцы, сидя голышом на конях, заплывали на середину, соскальзывали и плыли рядом, держась за гривы и успокоительно покрикивая. Лошади пугались глубины, всхрапывали, прижимали уши, но, став ногами на твердое, выходить из воды не торопились. На берегу стирка, смех, возня, кидание песком.

Щурясь от блеска, Григорий Иванович сел и счистил с груди и живота песок. Чесались темные обручи на кистях и лодыжках,— несмываемые следы от кандалов. Комиссар, словно малое дитя, комкал горстями мокрый песок с илом и увлеченно строил не то башню, не то терем. Волосы свесились, коленки торчат...

Над рекой звон стоял от голосов и смеха. Налетал ветерок и трепал развешанное на кустах белье.

Потирая зудящие лодыжки, Григорий Иванович издали поглядывал па играющих бойцов. Крики, радостная кутерьма, может быть, именно в такой вот ясный летний день, в блеске воды и солнца, невольно вызывали мысли о том, что эти молодые жизнерадостные тела еще будет рвать шрапнель, навылет пробивать свинец из пулемета, рассекать старательно отточенная шашка. На войне без потерь не обойтись, он это знал слишком хорошо, и всякий раз сознание одержанной победы отравлялось мыслью о погибших бойцах, которым уж никогда не занять своего места в строю бригады. Это, наверное, для генералов в высоких недосягаемых штабах число потерянных солдат — одна бездушная цифра, для него же каждый убывший был живым человеком с именем, лицом, привычками.

Обмозговывая роль доставшегося ему в руки начальника антоновского штаба, Григорий Иванович вот уже который день подряд прикидывал и так и сяк. Бывший штабс-капитан, заслуживший свое дворянство на фронте, за храбрость, держался спокойно, без угодливости. Григорий Иванович знал, что при всей неприязни к антоновскому окружению Матюхин заигрывал с Эктовым, надеясь переманить его, военного специалиста, на свою сторону. Интересно, не заподозрит ли он неладное, узнав, что Эктов, уехавший в Москву на съезд, вдруг объявится живой и невредимый?

Мысль об использовании бывшего начальника бандитского штаба развивалась в таком, примерно, направлении: московский съезд, инструкции, обещание поддержки, затем кружное возвращение в Тамбов через, скажем, тот же Дон, где все еще неспокойно от богатого казачества, и вот появление, поиск тех, кто уцелел после Бакур. Как будто все складывалось гладко и сойдет без подозрений... Но если

Эктов возвращался через Дон, то, скорей всего, не один, а, скажем, с каким-нибудь Фроловым, войсковым старшиной, тем более что о помощи Фролова все уши прожужжал сам Антонов...

Мысль об отряде войскового старшины, будто бы уцелевшем после разгрома казачьего восстания, Борисову понравилась. Действительно, отбились и теперь идут на соединение с Матюхиным. Ордой-то веселей и воевать, и умирать. Но вот вопрос: в каком количестве «прорвется» с Дона отряд Фролова? Полк, два? Может быть, целая бригада? И еще, пожалуй, самое главное: надежен ли Эктов, не дрогнет ли в последнюю минуту, не сорвет ли словом, движением весь выстроенный план?

Сомнения в искренности Эктова беспокоили и Котовского. Сейчас он вроде бы раскаялся и обещает, но черт его знает, что взбредет ему в башку, когда он вновь окажется в лесу, среди своих?

— Риск, конечно, есть,— проговорил Борисов и, вспомнив что-то, усмехнулся: — Но кто не рискует, тот не пьет шампанского!

— Да-а...— с едва заметной улыбкой протянул Котовский.

— Но с другой стороны,— рассуждал Борисов, обеими руками приминая песок и любовно выводя оградку вокруг башни, работал, старался, отдувал с глаз волосы,— с другой стороны, я сужу так. Какой ему резон обманывать? Чего он выгадает? Приговор ему — расстрел. А так — жить будет, жена, дочки. Да и не дурак же он последний, видит, что все к концу пришло... Нет, Григорь Иваныч, мое мнение: не обманет.

Склонив голову, Котовский задумчиво пересыпал песок из руки в руку. Глаза его после купанья красны. Слепит все ярче вода, режет солнце. Эскадрон с того берега убрался в деревню.

— А Матюхин? Клюнет, думаешь?

— Матюхип-то?..— Борисов полюбовался своим сооружепием из песка, затем без всякого сожаления пихнул ногой и отвалился на спину, завел под голову руки.— Ему ведь тоже большого выбора нет. Он сейчас каждому клочку должен радоваться. А тут — целый отряд!.. Думать, конечно, еще нужно, но не клюнуть он не сможет. Поставь себя на его место. Ну?

— Попался бы он мне! — Котовский стукнул по колену.— Ух, попался бы!

— Попадать ему расчета нет!

Борисов поднялся, стал проверять, высохло ли разложенное на песке белье. Нательную рубаху распялил па руках, посмотрел на свет. Спросил:

— Ты Эктова еще не брал на откровенность?

— Нет. Пока.

— А чего? Тронь, попробуй. Мне кажется, он уже достаточно намолчался. Глядишь, разговорится. Сразу все видно станет.

— Мусор, думаю. Ничего хорошего.

— Жить-то все равно хочет!

— Жить они хотят, все хотят! — с непонятным озлоблением процедил Котовский и сумрачно поднялся на ноги. Оглядывая себя, удивился, защипнул на животе складку и оттянул.

— Петр Александрыч, не толстею, а?

Борисов успокоил его:

— Да нет...

— Ничего, кончим вот с Матюхиным, на гимнастику налягу. А то запустил. Мне уже Черныш выговор сделал: «Ты,— говорит,— Григорь Иваныч, даже кормиться стал, как лошадь,— стоя...»

— На ходу, все на ходу,— подтвердил Борисов, собираясь.

Пока он сворачивал просохшее белье, комбриг энергично потянулся, несколько раз крепко согнул руки в локтях.

— А что, Петр Александрыч, если заглянуть вперед: вспомнят нас когда-нибудь, не вспомнят? Как считаешь?

Сидя на корточках, комиссар с интересом поднял голову. По лицу комбрига блуждала мечтательная улыбка.

— Должны бы,— высказался Борисов.

— А что, слушай, мы все-таки ничего были человеки, а? — помолчал и сам себе ответил: — Будь здоров!

Затем, глянув на удивленное лицо Борисова и как бы раскаиваясь в неожиданной минуте задушевности, отрывисто спросил:

— Ну, высохло твое барахло, нет? Плывем!

Снова оставляя на песке глубокие сыпучие следы, он побежал и бултыхнулся в воду.

Борисов поплыл на боку, удерживая в вытянутой руке выстиранное белье.

На берегу они оделись. Разнеженный купанием, Борисов хотел идти в деревню распояской, чтобы отдыхало тело, однако Котовский, посапывая и задирая подбородок, застегнул тесный ворот, захлестнул широкий с трещинами ремень, и комиссару ничего не оставалось, как сделать то же самое. Оба сразу оказались точно влитыми в форму, с той изысканностью в осанке и жестах, которая вырабатывается у военных командиров привычкой чувствовать на себе тысячи и тысячи глаз, а самому не смотреть ни на кого в отдельности, чтобы не бегали глаза, не вертелась голова.

На прогулки арестованного выводили поздно ночью. Дни напролет он находился в помещении, под охраной, с глазу на глаз с двумя молчаливыми латышами в коже.

В селе Медном штаб занимал большой дом в два этажа. Внизу, где раньше помещалась лавка, имелся чулан с отдельным входом со двора. Здесь ни латыши, ни арестованный никому не бросались в глаза.

Днем их вообще никто не видел.

В низком окошечке, несмотря на поздний час, горел свет. Пригнувшись, Григорий Иванович заглянул и удивился: оба латыша и арестованный меланхолически шлепали картами. Судя по всему, игра шла в подкидного дурака. Двое задумчиво подбрасывали карты, третий лениво бил. Никто не произносил ни слова. Кивок головой — и отбитые карты в сторону, все трое по очереди лезут в колоду.

Узнав вошедшего комбрига, латыши смущенно вскочили: не за делом застал! Поправили кожаные фуражки, одернули ремни, один цапнул со столика карты и сунул в карман тужурки.

С порога, прикрыв за собою окованную дверь, Григорий Иванович пристально уставился на арестованного. Эктов стоял с опущенными руками, с выражением терпеливой покорности на бородатом лице. Конвоиры один за другим незаметно выскользнули из помещения.

Керосиновая лампа с треснувшим стеклом стояла на шатком, сколоченном из досок столике. Григорий Иванович попробовал столик рукой, переставил лампу и, опустившись на табуретку, кинул ногу на ногу.

— Я забываю вас спросить,— начал он таким тоном, точно продолжая ненадолго прерванный разговор.— Ведь вы, кажется, дворянин?

Арестованный, глядя себе под ноги, уклончиво пожал плечами:

— Так получилось.

Суконные заношенные брюки висели пузырями на коленях, и совсем нелепым выглядел армейский ремень на крестьянской косоворотке. Пиджак лежал свернутым на голой лежанке, видимо, он подкладывал его под голову.

— Значит, первый в поколении,— проговорил Григорий Иванович и побарабанил пальцами.— Хутор имели, работников?

— Позвольте мпе прежде всего сесть! — с неожиданным раздражением сказал Эктов п, не дожидаясь ответа, ногой придвинул табуретку.

Изучая собеседника, Григорий Иванович не переставал покачивать ногой. Раздражение бывшего штабс-капитана было как раз желательно,— в спокойном состоянии человек обычно многого не скажет, побоится. А для задуманной комбинации хотелось бы знать, что у арестованного на душе и в мыслях. Все-таки от этого зависело многое, если не все.

— В одиночку-то, наверно, трудновато приходилось? Хутор, хозяйство. Руки требуются.

Видимо, штабс-капитан догадывался о намерениях Котовского.

— Вы в каждом готовы видеть кровососа! — желчно усмехнулся он и опустил лысеющую голову, сунул в колени кулаки.

Потрескивала лампа, в приоткрытую дверь задувало с волп.

— Библиотеку, я слышал, собрали?

— Так, кое-что. Вечера длинные, делать нечего. К тому же, как вы знаете, у меня три дочери.

— Не замужем?

— Когда было?

— Да-а...

Снова помолчали.

— Знаете, недавно я ехал из Москвы, был по делу. Попалась в вагоне книжонка о Распутине. Тоже делать нечего — полистал. Любопытно.

— Что там любопытного? — скривился Эктов и еще крепче сжал коленями кулаки.— Позор. Сплошной позор! Династии, нации — чего хотите!

У Котовского изумленно подскочили брови.

— Нация-то при чем?

— Все при чем! — отвернулся Эктов и стал тереть лицо, чтобы прогнать раздражение и оживиться.

Нудное ожидание исхода вымотало Эктова вконец. Он никак не мог понять, для чего его сюда доставили. Для Антонова? Но он же покойник! Вчера вечером его водили наверх, сегодня Котовский сам спустился вниз. Вчерашний разговор ничего не разъяснил бывшему штабс-капитану. Комбриг расспрашивал об окружении Антонова, о базах повстанцев в лесу. Приглядывался он к нему, что ли? «А про Матюхина рассказывать?» — спросил Эктов. «А почему бы нет?» — ответил Котовский. Перебирая пальцами в неряшливой, отросшей за время заключения бороде, Эктов завел глаза, вызывая в памяти кряжистую фигуру командира Хитровского полка. Что он мог сказать о Матюхине? Тщеславен, неуступчив. Мечтал сам занять место Антонова, отсюда его постоянные стычки со штабом. Последняя ссора произошла по поводу трофеев, захваченных у курсантов. Антонов потребовал сдать все трофейное имущество. Матюхин заносчиво ответил: «Добудь сам!»

Ни вчера, во время разведывательного разговора наверху, ни раньше Эктов не делал попыток понравиться, показаться лучше, чем на самом деле. Дескать, каков есть, таким и берите! Если, конечно, нужен...

Он понимал, что его прощупывают вопросами, поворачивают так и эдак, примеряя для какого-то неизвестного дела. Что ж, смотрите, щупайте, я перед вами весь!.. Поворот разговора на Распутина был для него облегчением. Здесь остерегаться нечего. На фронте, в окопах, офицеры почем зря материли и фантастического мужика, и эту стерву царицу, немку, и безвольного мужичонку царя. У него, дурака, такое творится под носом, а он не видит! Да как же ему управлять Россией, если он в своей семье не может навести порядок?

Однако расправу с Распутиным штабс-капитан считал большой ошибкой.

— Пока Распутин был жив, он являлся козлом отпущения. Все неудачи можно было валить на него. И валили! И в это верили! А не стало его — кто теперь виноват?.. Царю надо было беречь Распутина.

Увлеченность, с какой штабс-капитан выкладывал перед ним свои наивные мысли, вызывала у Котовского невольную улыбку. Слепота, удивительная слепота! Царизм, как сгнившее на плечах платье, надо было не сохранять, а поскорее сбрасывать! Разве удержал бы какой-то Распутин народную ярость? Ведь достаточно было народу разогнуться и пошевелить плечом...

Настала очередь гасить усмешку Эктову.

— Видите ли,— проговорил он, с усилием превозмогая осторожность.— Я, если позволите, не соглашусь. Когда пришло сообщение об убийстве Распутина, я был в театре. Так что вы думаете? Весь зал встал и потребовал исполнения гимна. Гимна! — со значением добавил он и замолк, полагая, что о подоплеке этого факта собеседник догадается сам.

— Ну и? — подтолкнул Котовский, не понимая, что тут значительного.

— Я хочу сказать,— с неохотой пояснил штабс-капитан,— что этому самому народу всегда нужен царь-батюшка. Хороший ли, плохой ли, но нужен.

«Ага!» — с удовлетворением отметил Котовский.

Вчера пленный держался более настороженно. Отвечая на короткие расспросы, он подбирал слова старательно и скрытно, напоминая мужика, когда тот шарит в кошельке, не вынимая его из кармана, чтобы не заглянул чужой нескромный глаз. Сегодня же говорил раскованней. Разумеется, Григорий Иванович отдавал себе отчет, что перед ним сидит противник, может быть даже враг, пусть с выбитым из рук оружием, но не разоружившийся в мыслях, в надеждах на будущее. Но в том-то и была загвоздка: узнать, что у него запрятано на самом дне? Прежде всего

станет ясно, подойдет ли этот человек для задуманного дела, но если даже и не подойдет, то все равно пусть выйдет из своего укрытия, покажется, раскроется.

— Интересно,— спросил он,— сколько тогда в театре находилось крестьян или рабочих? Не пробовали сосчитать?

Безобидный, казалось бы, вопрос ударил по хуторской премудрости штабс-капитана, словно отточенный клинок по торчмя поставленной лозе. От неуютности Эктов завозился. Промолчать, уклониться невыносимо, но и ввязываться, продолжать опасно. Э, будь что будет!

— Видите ли, я ценю ваши убеждения, но, позвольте заметить, не разделяю их. Надеюсь, это не будет поставлено мне в вину? Я не верю в государственный разум мужика и этого вашего... пролетария. Не обессудьте, но не верю! На мой взгляд, да и не только на мой, для управления большим, огромным государством недостаточно одной, как вы ее называете, классовой ненависти. С ненавистью легко разрушать. А строить, создавать? Государство, согласитесь, чем-то напоминает человеческий организм. Голова думает, а руки делают.

— И роль головы вы отводите...— живо наставил палец Котовский.

Краска ударила Эктову в скулы.

— Простите, но роль головы я отвожу дворянству. Что государство для мужика? Пустой звук. Вы же сами убедились в этом и ввели продразверстку. Не вышло из мужика гражданина? Понадобилась сила?

— Мы ввели!..— Котовский сердито дернул головой.— Что за манера все валить на нас?

С тонкой улыбкой Эктов развел руками:

— Позвольте, но кто же изобрел эту самую разверстку?

— Не большевики.

— Открещиваетесь?

— Еще чего! К вашему сведению, продовольственная разверстка как чрезвычайная мера известна давным-давно. Давным-давно!

— Не знаю, не знаю,— Эктов замотал головой.— Не читал.

— Значит, плохо читали! Так вот знайте: в Италии правительство еще в мировую войну реквизировало хлеб у крестьян. Мало того, ввело заградотряды по борьбе с мешочничеством, приняло закон против злостных укрывателей хлеба.

— В Италии, говорите?

— И не только в Италии! В Польше, в Румынии... Голод, знаете ли, не тетка!

Эктов вздохнул:

— Чего нам на них равняться? Они досыта и в хорошую пору не ели.

— А у нас? А в России? Даже странно слышать!.. Царское правительство, если хотите знать, ввело разверстку еще перед Февральской революцией. Вон когда! Что, и этого не знали, не читали?

— Ну, правительство!.. Ввело оно разверстку, да только... на бумаге. На деле-то, если разобраться...

— А мы,— перебил Котовский,— ввели на самом деле. Ввели и осуществили. Мы все любим доводить до конца!

— Это да,— Эктов горько покачал головой.— Это мы знаем, убедились.

— Про кого это вы — «мы»? — сощурился Котовский.

— Как «про кого»? Про мужика хотя бы. Про жителя сельского.

— Только не расписывайтесь за всех! Не надо. Мужик мужику рознь.

Штабс-капитан воспрянул и хитровато, словно подсматривая в щелочку, глянул на своего собеседника:

— Тогда зачем же вам такая армия, позвольте спросить? Зачем такая сила? Ведь вся губерния в войсках!

— Странно...— Котовский пожал плечами.— Вы офицер и задаете такие вопросы! Да ведь это же закон: плуг всегда находится под защитой меча.

— Хороша защита! На кого же вы идете с пулеметами? На мужика?

— На кулака,— поправил Котовский.

— Но разве кулак не мужик? Где та грань, которую вы проводите в деревне? Неужели вас не насторожило, что даже у такого никудышного вождя, как Антонов, под ружье встало пятьдесят тысяч человек? Пятьдесят тысяч! Что же, все они, как вы их называете, кулаки?.. Нет, Григорий Иванович, еще не поздно осознать, что народ, то самое большинство, которым вы так любите козырять, против вас. Да, против! И этому вы видите огромнейшие доказательства! Ог-ромнейшие!

Высказывался штабс-капитан горячо, отбросив или позабыв свое благоразумие. Григорий Иванович слушал, не перебивая, и как бы в такт словам покачивал бритой головой. Удивительно, до чего они похожи один на другого, эти начинающие хозяйчики! Точно таким же помнил он помещика Георгия Стаматова, у которого после побега с каторги работал управляющим по подложному документу. Стаматов тоже, как и этот вот, только осваивался в положении помещика, владельца с натугой собранного хозяйства, и смотрел на остальной мир настороженно, боясь, как бы не отыскалась сила, способная разрушить завоеванное им благополучие.

— «Огромнейшие доказательства»...— негромко повторил Григорий Иванович и подождал, не скажет ли собеседник чего-нибудь еще. Эктов, глядя куда-то в сторону, нераскаянно свел брови, стиснул зубы: высказался, вот!

— Павел... кажется, Тимофеевич? (Эктов все так же напряженно, еле заметно кивнул.) Вы правы, пятьдесят тысяч у Антонова — сила. Против нас даже Петлюра имел меньше. Но вот скажите: куда же они тогда девались, эти

пятьдесят тысяч? Были, были — и вдруг их не стало! Легли в боях? Вы сами знаете, что нет. Боев у нас было не так-то уж много. Может, они отступили вместе с Антоновым? Тоже нет. К Бакурам у Антонова было всего несколько полков. Так где же они, спрашивается, эти самые пятьдесят тысяч? Сквозь землю провалились? Да?.. А-а, молчите! Вот вам и ответ на ваши «ог-ромнейшие доказательства». Зря вы, господа, тешили себя числом этих самых мужиков. Сбить с толку, обдурить можно не одну тысячу. Попробуйте удержать их, убедить драться до конца, умереть за свое дело! А мужик-то оказался не дурак.

В дремучей бороде Эктова язвительно блеснули зубы.

— Пропаганда, выходит? Бескровный метод? По Марксу?

Вздернув подбородок, Григорий Иванович с недоумением оглядел собеседника, как бы выясняя причину его внезапной иронии.

— А вы что же, хотели, чтобы мы захлебнулись кровью, бродили в ней по колени? На это был расчет? Не вышло, господа хорошие! Дурных, как говорят, нема.

Не соглашаясь с поражением, Эктов ожесточенно сжал кулаки в коленях.

— Значит, мало было — пятьдесят тысяч! Мало! Сами же сказали: к Бакурам у Антонова осталось несколько полков. А если бы с самого начала у нас было тысяч сто, сто пятьдесят? Представляете, с какой силой вы встретились бы под Бакурами?

С откровенным сожалением Котовский сверху вниз взглянул на встопорщенную фигуру штабс-капитана.

— Скажите, как по-вашему: Деникин хороший генерал?

— Простите, судить не мне,— буркнул тот, съеживаясь еще более.

— Но армию он подобрал хорошую? Тут-то вы можете судить.

— Армию? — Эктов не понимал, куда клонится разговор.— Я считаю, что да, хорошую.

— Ну вот. И дисциплина у него была как надо, так? И вооружение. Видимо, то же самое у Колчака, у Врангеля...

— Что вы хотите сказать? — не выдержал Эктов.

— Я хочу спросить вас как офицера, как человека, знающего, что такое война: почему же мы тогда расколотили всех их вдребезги? И Деникина, и Колчака... Да всех! А колотили-то чем? Вот,— показал руки,— почти голыми. Все у них было, а все-таки мы их раздолбали! И раздолбаем еще, если сунутся. Поверьте мне! Так что, куда уж там вашему Антонову. Будь бы у него хоть сто тысяч — конец один. Да вы ведь и сами это понимаете. Себя-то зачем обманывать?

Опустив лобастую голову, штабс-капитан упер в грудь бороду.

— Так теперь что,— спросил,— вы из мужика хотите сделать комиссара?

— А вы что,— в тон ему ответил Котовский,— хотите чистую рубаху да на грязное тело?

— Но мужик работать должен, а не комиссарить!

— Он будет работать, это мы ему обеспечим. Для этого и пришли сюда... Вперед надо глядеть, Павел Тимофеевич, а не назад. Вперед. Назад пускай покойники глядят.

Не поднимая головы, Эктов о чем-то тяжело раздумывал.

— И вы надеетесь, что мужик сам откроет вам свои амбары?

— Откроет! — добивал его Котовский.— Последнее отдаст.

Запустив пальцы в бороду, штабс-капитан с сомнением покрутил головой.

— Что? Не верите?

— Одно скажу: безжалостные вы люди. Крови вам не жалко, вот что. Лишь бы на своем поставить!

Котовский выпрямился, на лице отразилось гневное недоумение.

— А вы? Вы-то? Жалостливые, да? Чистенькие?.. Чистюли? — Встал, разом одернул гимнастерку, свел назад все складочки.— Животы пороть, живыми в землю... Ребятишкам, раненым... головы откручивать!

Испугавшись, Эктов загородился обеими ладонями:

— Я к этому... никакого отношения... Можете поверить. Меня знают...

— Молчите лучше! — У Котовского запрыгала челюсть, он сдерживался из последних сил.— Кто бы говорил о крови... Молчите, я сказал! — и, повернувшись, выбежал из помещения.

Конвоиры-латыши просмотрели, когда комбриг поднялся к себе наверх. Лишь увидев тень, мотающуюся туда-сюда в задернутом окне, они подхватились и побежали. Тревога оказалась напрасной: арестованный сидел в убитой позе, держал голову в обеих руках и не глядел на оставленную настежь дверь.

Глава двадцать четвертая

Письмо Матюхину от войскового старшины диктовал Эктов, лести не жалел и уверял, что пересол тут невозможен,— все бандиты чрезвычайно падки на сладкое слово. В послании Матюхин именовался «командующим Тамбовскими крестьянскими войсками».

«...Мы Антонова и за человека не считаем. Одна надежда на тебя, Иван Сергеевич. Ведем с собой два полка — донской и кубанский. А прочее войско идет следом. Давай и ты своих орлов, красный Тамбов возьмем с ходу...

Хозяина нет в Тамбовской губернии, кроме тебя. Ждут крепкой власти мужики. А там, того и глядп, на Москву пойдем, на весь мир прославимся...»

Отыскать Матюхина предполагалось через его брата, Михаила, бывшего начальника районной милицпи, скрывающегося сейчас где-то в одном из глухих лесных сел в районе действий оставшихся повстанческих полков. В качестве явки Эктов указал отдаленную заимку богатого пасечника. Повезли письмо «есаул» Захаров (военком второго полка) и «хорунжий» Симонов (взводный из эскадрона Кириченко).

На дорогу ушла первая половина ночи. Михаила Матюхина нашли быстро, подняли с постели. Он долго вертел заклеенное письмо, чесался. Наконец буркнул: «Ну хорошо» — и пошел одеваться.

В кромешном ночном лесу Михаил чувствовал себя как дома. Он вел уверенно, забираясь все глубже в глушь. Никаких дорог здесь не было, и другой потерялся бы даже в дневное время.

Миновали небольшую поляну с остатками раскиданного костра. Раздался собачий лай, и перед глазами возник высокий крепкий забор. Михаил негромко постучал в ворота, прислушался. Собаки за забором залились громче.

Послышались шаркающие шаги.

— Кого там бог дает?

Михаил негромко отозвался:

— А мы к дедушке, с поклоном от дядепьки.

Загремел засов. Захаров с Симоновым соскочили с седел, взяли лошадей за повод.

Приехавших встретил могучий старик, заросший бородой. Он пошептался с Михаилом, показал рукой, чтобы заходили.

Собаки рвались на привязи, хрипели, вставали на дыбы.

Из дома вышел заспанный мальчишка, рукавом тер глаза. Старик сходил в сарай за лошадью, бросил ей на спину подушку с веревочными стременами.

— Давайте письмо!

«Есаул» с «хорунжим» надеялись, что на заимке пасечника они встретятся с самим Матюхиным. Оказалось же, что бандит был гораздо осторожнее и прятался где-то дальше. Такой поворот дела не был предусмотрен инструкцией, но Захаров, не показывая вида, достал из-за пазухи конверт.

Мальчишка взобрался на самодельное седло и выехал за ворота. Через минуту где-то близко в лесу резким голосом прокричала выпь.

Старик повел приехавших в дом, засветил лампу, поставил на стол угощение: мед, молоко, два ломтя хлеба. Прежде чем сесть за стол, «хорунжий» и «есаул» сняли головные уборы и перекрестились. Заметили: старик одобрительно переглянулся с Михаилом.

— А что,— спросил хозяин,— верно болтают, будто Ленин вольную торговлю объявил?

Подставив ладонь, чтобы не капнуть, Захаров смачно откусил хлеба с медом.

— Да идет брехня,— пробурчал он с набитым ртом.

— Видать, не брехня,— заметил старик.— Раз Ленин сам сказал, какая же брехня?

— А ты уж не торговать ли собрался? — поддел его Михаил.

Хозяин махнул на него, как на досадливую муху.

— Не гавкай. Торговля — сила жизни для мужика.

Михаил обиделся:

— Смотри,— произнес он с угрозой,— проторгуешься!

— А это пускай моя голова болит. Твое дело... знаешь?

— Старый хрен! — вскипел Матюхин и обратился к приехавшим: — Видали, какие у нас тут еще находятся?

Много с ними каши сваришь?.. У-у, дождешься, борода, самого на базар сведут!

— Сиди ты... генерал! — И старик, отвернувшись от него, стал расспрашивать свежих людей о жизни и порядках на Дону. Обсасывая пальцы, Симонов отвечал, что жизнь кругом известная,— везде невмоготу.

Вернулся мальчишка, слегка задыхаясь, слазил за пазуху и достал сложенную в несколько раз бумагу.

Принимая, Захаров спросил:

— Передать ничего не наказывал?

— Все там,— отрезал мальчишка и полез на печку.

Приехавшие стали благодарить хозяина за угощение. Михаил ушел вперед, к лошадям. Спускаясь во двор, «есаул» соображал, что все покамест складывается не так, как ожидалось. Матюхин, видно по всему, стреляный волк, и дотянуться до него будет трудно.

Обратно из леса Михаил вывел их совсем другим путем.

— Когда ответ? — спросил он, прощаясь.

— Наше дело доложить! — и «есаул», небрежно козырнув, тронул коня.

Приближался рассвет, следовало торопиться.

В доставленном письме Матюхин назначил войсковому старшине Фролову встречу в деревне Кобылинке, в нескольких километрах от заимки пасечника. Срок был указан — через неделю. В письме имелась коротенькая приписка: «Остерегайтесь Котовского. Я о нем, собаке, наслышан. Это бессарабский цыган, хитрый и смелый. Шайку подобрал себе, одни головорезы».

Дело осложнялось.

— Вы не имеете права рисковать, Григорий Иванович,— потребовал Юцевич.

Комбриг взглянул на начальника штаба из-под прикрытых век:

— Это кто же, интересно, у меня его отнял?

По интонации, по этой надменной повадке видно было, что не в духе.

Вмешался Борисов:

— Григорь Иваныч, не дури. Из ребят кого-нибудь можно послать. Маштаву отрядить — только рад будет.

Неожиданно Котовский усмехнулся:

— Кто не рискует, тот не пьет шампанского!

— Перестань! — рассердился комиссар.— Нашел, когда шутить... В конце концов, подумай об Ольге Петровне. Мало ей, так тут еще...

«Ох, зря!» — сразу же подумал Юцевич и сделал вид, что с головой закопался в бумаги.

Раздувая шею, комбриг угрожающе процедил:

— А вот этого, товарищи хорошие, просил бы не касаться! Да, не касаться!..— от сдерживаемого бешенства подрагивала челюсть.— Помощнички! Не бригада, а обоз. Кони навьючены, как верблюды, ног не носят... Барахольщики! К чертовой матери! Оставить овса на пять суток. Сухари и сахар. И все! И никаких. Сам проверю!

— Погоны потребуются и лампасы,— заметил Юцевич, отрываясь от бумаг. Его деловой спокойный тон заставил комбрига споткнуться на полуслове.

— Ну? — остановился он.

— Я говорю, в обозе где-то еще старый фроловский флажок таскается. Помните, под Вендичанами достался? Черный такой... Надо у Криворучко пошарить, у него начхоз запасливый. Убей меня бог, но у них и на лампасы найдется! С прошлого года целый кусок кумача затырили.

Остановившись на разбеге, Григорий Иванович слушал, удерживая гневный вдох. Юцевич говорил и говорил,— минута была перебита. Бешенство комбрига сняло как рукой.

— А, пошли вы все от меня!.. — проговорил он и убежал к себе.

Комиссар и начальник штаба с улыбкой поглядели друг на друга. Юцевич выразительно вздохнул и покачал головой. Он еще в первые дни предупредил Борисова, что с командиром бригады, если он раскипятится, лучше не спорить. Пусть наорет, пусть грохнет дверью и убежит,— через несколько минут является убитый, мучается, тянет, в глаза не смотрит. Тут ему следует помочь — заговорить о каком-нибудь деле, и он, принимая эту помощь, сразу просветлеет. И — весь конфликт, вся ссора. А в лоб — перестреляться можно.

Вспышка комбрига копилась с той минуты, когда было прочитано ответное письмо Матюхина. Бандит требовал на встречу главного, самого главного, и Григорий Иванович считал, что рисковать обязан только он. Разумеется, окружающие станут уговаривать его, предлагать другие варианты, а самое невыносимое — жалеть Ольгу Петровну, а вместе с ней и его самого, намекая на недавнее горе. Поэтому он и сорвался, едва Борисов, казалось бы, сердобольно, а на самом деле необдуманно тронул болезненное место...

Еще в больнице, возле постели жены, Григорий Иванович решил, что весь риск с Матюхиным ляжет целиком на него. Тогда он ничего не сказал Ольге Петровне, тоже пожалев ее, хотя всегда считал, что положение жены военного кое к чему обязывает. Впрочем, ничего конкретного тогда еще не было известно, и он не хотел понапрасну ее беспокоить.

Игра с последними бандитами была начата, большая, опасная, может быть, даже смертельная игра, и теперь ее следовало продолжать. Юцевич доложил, что кумач в обозе отыскался, сохранился даже трофейный фроловский флажок, черный, с вышитой серебром буквой «Ф». Надо было обратить внимание на мелочи, такие, скажем, что донцы имеют привычку надевать винтовки через правое плечо, а кубанцы — подстригать лошадям хвосты. Коман-

диры эскадронов будут именоваться есаулами и сотниками, взводные — хорунжими. Обращение бойцов друг к другу — станичник.

Деревню Кобылинку бандиты выбрали для встречи не случайно: кругом лес, глухомань, своя привычная стихия. При малейшей опасности унырнут, как в воду... Под предлогом подготовки встречи Юцевич намеревался послать в деревню кого-нибудь из боевитых и сообразительных ребят. Человека он уже наметил, но лукавил: ждал, кого предложит сам комбриг.

Думал Котовский недолго.

— Петр Александрович что-то говорил о Маштаве. Может быть, его?

Юцевич подавил улыбку: как обычно, комбрига донимало чувство вины за свою вспышку.

— Я уже распорядился, Григорий Иванович. Маштава готовится.

— Вот и порядок. Что там еще?

Оставалось решить с Герасимом Петровичем Поливановым. Услышав о Матюхине, старик богом молил «допустить его до гада», рассчитаться за сына.

В другое время Котовский отказал бы сразу и решительно, но сейчас на него давило все то же чувство вины.

— А не сорвется? Все дело погубит.

— Девятый ручается. В коноводы назначил.

— А, смотрите сами! Вас же не переспоришь!

Подпорченное настроение ему поправил Маштава, тщательно обряженный для поездки в Кобылинку. Он вышел в черкеске, папаха набекрень, кинжал в золоте. За плечи красиво брошен чеченский башлык. В мировую войну в бою с немецкими кирасирами Маштава потерял три пальца на правой руке, отчего постоянно носит черную перчатку. Шашку Маштава научился держать в левой руке, левой же рукой он и козыряет.

Показывая себя, Маштава крутнулся на носках, полы черкески разлетелись. Ни дать ни взять, представитель «Дикой дивизии» горцев!

— Краса-авец!..— протянул комбриг и залюбовался, соединил пальцы в пальцы.— Абсолютно б-бандитская рожа!.. Поезжай.

В аппаратной Григорий Иванович приказал вызвать штаб войск. Через минуту связист доложил: у прямого провода Тухачевский.

— Так. Стучи тогда: «У аппарата Гриша. На рассвете пойду прогуляться. Дядю Павла беру с собой».

— «Понял. Назови контрольный срок. По истечении его буду считать, что вы в затруднении. Помогу вам».

— «Сегодня пятница. Не позже вторника доложу».

— «Желаю удачи. Жду с нетерпением донесения».

Покинув аппаратную, комбриг, будто припомнив что-то, остановился. «Все-таки что ни говори, а игра затеяна опасная! Матюхин, черт... Клюнешь все-таки, вылезешь, другого выхода у тебя нет. А там уж подведем расчет за все!»

— М-да!..— изрек он, отбрасывая какие-то последние сомнения.— Кому есть во что — переодеться. Погоны, кубанки... С людьми провести беседы. Пусть знают: за каждым будет глаз да глаз. Не к дурачкам едем.

Начхозы, как за ними ни следи, как ни приказывай, никогда не расстанутся с обозным добром. Так оказалось и сейчас. Среди всяческой сберегаемой рухляди набралось порядочно погон, папах, кубанок. Для самого Котовского нашлись знаки различия казачьего войскового старшины. Переодеваясь, он ощутил, как все в нем напряглось от нетерпения испытать судьбу и себя. Вступив в чужую роль, он стал и говорить, и двигаться совсем иначе, будто на заведенной кем-то стальной тугой пружине. Это было знакомое состояние подъема сил, предчувствия удачи. Черт с ней, с опасностью! Попадал и не в такие переплеты...

Чернышев подвел ему Орлика, он забрал повод и взлетел в седло с повадками уже не красного командира, а золотопогонника, войскового старшины. Ординарец, как и положено, остался незамеченным и почтительно поехал следом.

Сигналов и команд приказано было не отдавать, вообще производить как можно меньше шума. В темноте слышалась негромкая, вполголоса, перебранка бойцов (вслух базарить остерегались — неподалеку на копе, как статуя, виднелся сам комбриг).

— Чего тянешь, чего тянешь? Я те потяну!

— Дура, у тебя какой погон-то? Урядницкий! Разуй глаза!

Двигались балками, оврагами, дозорами прощупывали местность. Боялись не бандитов, а своих: о начавшейся операции знали Тухачевский да уполномоченный ВЧК. Была опасность напороться на заставу какого-нибудь пехотного полка, стоявшего в деревнях гарнизоном.

Послышался треск, словно кто-то выстрелил, затем топот копыт по влажной ночной земле. Люди в строю дернулись, руки упали на рукоятки шашек. Но — спокойно! Это был всего лишь свой дозор, сообщивший, что надо брать левее,— впереди застава с пулеметом.

В Кобылинку въехали на восходе, в теплое тихое утро. Эскадроны устало тащились по деревенской улице, бойцы поглядывали на окна в занавесках, на подсолнухи за плетнями. Зеленели обширные огороды. На выезде из села виднелась мельница с крыльями прямым крестом, у подножия мельницы чернел бугор земли отрытого окопчика для пулемета,— постарался расторопный Маштава.

Под штаб Маштава определил дом мельника, самому «Фролову» приготовил дом попа.

Поп встретил войскового старшину торжественно: поднес на рушнике хлеб-соль. Григорий Иванович снял фуражку с кокардой, подошел под благословение. Осеняя его

широким щедрым крестом, поп прослезился от умиления. Погоны, выправка, вооружение, нижние чины, тянувшиеся перед офицерами так, что шкура лопалась,— все доставляло ему радость и надежду на избавление от тяжкой надоевшей смуты.

Маштава хозяйничал в доме мельника. Откинув рукава черкески, носился по двору, лазил в погреб, перемигивался с румяной Дуняшей, снохой мельника. Муж Дуняши служил у Матюхина командиром эскадрона.

Эктова в деревне знали хорошо: весной он несколько раз ночевал здесь вместе с Антоновым. Мельник порывался о чем-то шепнуть бывшему начальнику штаба. Выяснилось, Матюхин был в деревне ночью и снова ушел в лес, сказав, что искать его не нужно, сам даст о себе знать.

Ну, осторожен лесной волк!..

— Павел Тимофеевич,— спросил Котовский,— он что же, не доверяет вам?

Штабс-капитан сидел перед ним вялый, точно выжатый.

— Может быть. Какой ему расчет доверять? Он никому не доверяет.

— Нам тоже нет расчета прохлаждаться!

Вместо ответа Эктов сделал немой жест: а что делать? Не нравился он сегодня Котовскому: отводил глаза, не давал заглянуть. Что-то с ним происходит!

— Григорий Иванович...— позвал он с неясной усмешкой на бледных губах, по-прежнему изучая свои разношенные сапоги,— хочу предупредить вас: Матюхин — мужик хитрый, крепкий. В случае чего, спуску не даст.

— Вы это к чему? Пугаете? Я, знаете, не из пугливых!

— Да все к тому: может, просто шлепнуть его, да и дело с концом? Прикажите, кто письмо-то будет передавать, и все.

Григорий Иванович откинулся, поизучал его.

— Вы что, в шахматы играете?

— Боже избавь! — удивился Эктов.— А почему вы спрашиваете?

— Видите ли, это только в шахматах всеми силами стараются добраться до короля. Для меня Матюхин не король. Мы его все равно кончим, рано или поздно. Мне людей жалко, крови.

— Уж будто? — глумливо ухмыльнулся Эктов, взглядывая исподлобья.— Прямо так-таки и жалко?

У Котовского напрягся взгляд. Да что с ним сегодня происходит?

— Слушайте, вы! Что это такое? На попятный? Да?

Штабс-капитан горько покрутил опущенной головой.

— Григорий Иванович!.. В моем положении это было бы нелепо. Смешно.

— А если сами понимаете, что смешно...

Без стука распахнулась дверь, вошел щеголеватый, перетянутый в поясе Маштава, за ним запыхавшийся Тукс. Увидев их, комбриг осекся на полуслове: Тукс находился в боевом охранении на мельнице.

— Господин атаман! — Маштава щелкнул каблуками.— Непредвиденное обстоятельство.

— Слушаю! — Григорий Иванович стоял, стараясь понять по лицам, что случилось.

Оба, Маштава и Тукс, повели глазами на постороннего.

— Увести! — приказал комбриг.

Теперь докладывал Тукс. На боевое охранение напоролась разведка красноармейского полка, два бойца. Без выстрела, без рукопашной удалось взять обоих. Разумеется, их связали, запихнули в амбар. Сейчас остается гадать: что предпримет командование полка, узнав об исчезновении разведки? В начавшейся игре могут спутать все карты.

— Кто-нибудь знает о пленных? — спросил комбриг.

Маштава ответил, что пленных вели по улице, запирали в амбар,— видели, конечно.

— Тогда пускай сидят. Вояки!.. Объявите в деревне, что пленные будут повешены. Для большей убедительности пускай поставят виселицу. Да пусть не торопятся! Побольше стучат, строгают...

В заключение комбриг подтвердил строгий приказ: никого ни в деревню, ни из деревни не пропускать. Всех задержанных немедленно направлять в штаб.

Ближе к полудню на охранение, сидевшее в секрете, наткнулись два вышедших из леса человека. Один был без руки по локоть, безоружный, другой — с длинными до плеч волосами, в пенсне, с наганом и шашкой. Задержанные попросили доставить их к атаману Фролову.

Безрукий оказался сыном мельника, Васькой, он сразу же приказал топить баню и вместе с Дуняшей исчез с глаз до самого вечера. Длинноволосый предъявил документ на имя Макарова, бывшего телеграфиста со станции Моршанск, долго ходил по деревне, приставал к «станичникам» с каверзными расспросами. Маштава, сопровождавший его, не сомневался, что Макаров является одним из особо доверенных лиц Матюхина.

— Кони у вас как хороши! — похвалил Макаров.— А говорили: идете с Дона. Что-то ни одна не похудела.

— Трофейные,— нашелся Маштава.— У буденновцев отбили.

— А, ну, ну...

За обедом, отбросив наконец последние сомнения, Макаров достал и подал Котовскому письмо Матюхина. Пришлось встать из-за стола и извиниться: дело прежде всего! За ним вышел Гажалов. С гостем за столом остались Эктов, Маштава, Борисов, Захаров, Симонов.

В своем письме Матюхин ничего не говорил о предполагаемой встрече, а потребовал, чтобы к нему в лес приехал сам Эктов, один, без провожатых.

— Ну что ты будешь делать! — всплеснул руками Гажалов.— Никак!

— Пугливый, осторожный,— проговорил комбриг, задумчиво складывая письмо. На его взгляд, осторожность Матюхина могла сослужить добрую службу. Если осторожничает, значит, смертельно трусит, а раз так, то в одиночку никуда не сунется. Из леса он все равно вылезет, рано или поздно, деваться ему некуда, и потянет за собой все свое окружение, всю головку, весь штаб. Так что тащить его из леса трудно, точно ржавый гвоздь из доски. Зато все можно кончить разом, одним ударом.

Обед закончился чинно, о деле не говорили. Маштава подливал Макарову самогонки, тот поблескивал пенсне и вежливо, но непреклонно отодвигал стакан. Человек был себе на уме. Он часто взглядывал на Эктова, тот не столько ел, сколько катал хлебные шарики и бросал их на скатерть. Разумеется, отпускать его к Матюхину никто не собирался.

После обеда Макарову вручили ответ. Эктов писал, что ехать ему в лес одному — значит незаслуженно оскорбить Фролова, а вместе с ним и представителей ЦК эсеров и батьки Махно. Все они находятся здесь, проделали трудный кружной путь через Доп и с нетерпением ждут встречи с «отважным командующим Тамбовскими отрядами». «Иван Сергеевич,— увещевал Эктов осторожного бандита,— какие люди ради вас приехали!»

Удалось ли убедить Макарова? Ведь Матюхин в первую очередь будет расспрашивать его о личных впечатлениях. Гажалову показалось, что длинноволосый политработник уезжает в некотором сомнении. Да, Эктова он видел и узнал, но поговорить с ним с глазу на глаз не удалось — все время кто-нибудь мешал. Познакомили его с представителем ЦК эсеров (Борисов) и махновцем (Мартынов, расчесавший ради такого случая кудрявый чуб).

Уезжая, Макаров зло отчитал однорукого Ваську, приказал ему оставаться на месте и ждать распоряжений. «И гляди у меня!» — пригрозил он. Васька испуганно кивал. Видимо, первоначальные подозрения были правильными: тот и другой посылались не только передать письмо, но и разнюхать, разведать, собрать впечатления.

Проводив Макарова, стали ждать. Неужели не клюнет?

— Павел Тимофеевич,— спросил Котовский,— вы хорошо знали человека, с которым отправились на съезд, в Москву?

— Ершова? — поднял глаза Эктов.— Ну, как вам сказать? В душу, конечно, не залезешь, но... знал, в общем-то.

— А вы знали, что он имел задание пристрелить вас в случае чего?

Сообщение не удивило Эктова.

— Понимаете, я немного догадывался. Так, чуточку. Уж больно распинался на прощание Александр Степаныч, слишком горячо обнимал.

После этого он впал в задумчивость, стал невпопад отвечать на вопросы, и Котовский распорядился увести его.

Вечером охранение задержало мальчишку. Захаров и Симонов узнали в нем малолетнего гонца с лесной заимки дремучего пасечника. Мальчишка, не говоря ни слова, достал из-за пазухи лист бумаги.

На этот раз Матюхин соглашался увидеться с Фроловым, но ставил условием, чтобы его встретили и проводили в деревню два или три казачьих офицера. Котовский повеселел.

— Есаул Захаров! Хорунжий Симонов!

В путь отправились немедленно. Безрукий Васька, отмытый в бане, слегка осовелый, стал показывать дорогу.

Неприметная тропинка, начавшаяся сразу за последними деревенскими огородами, петляла по лесу, спускалась в овраги, заворачивала в такие непролазные дебри, что приходилось слезать с лошадей и вести их в поводу. «Есаул» и «хорунжий» удивились, когда выехали к знакомой заимке. В прошлый раз дорога как будто не была такой запутанной. Но, может быть, провожатые вели их так с умыслом, чтобы сбить с толку?

Ворота заимки распахнуты, во дворе стоят оседланные лошади, много вооруженных, обросших бородами людей «Есаул» поймал настороженный взгляд «хорунжего» и еле заметно кивнул: здесь.

Приехавших, не задерживая, провели в дом. В кухне, вокруг накрытого стола, сидели грубые бородатые люди, рвали руками мясо, ломали хлеб. У каждого с правой стороны стоял карабин.

«Есаул» сразу выделил в застолье огромного черного мужчину с тяжелым взглядом исподлобья. Лицо чернобородого пересекали наискось два безобразных шрама.

Подавая записку, «есаул» вытянулся струной и четко доложил:

— От войскового старшины атамана Фролова полководцу Ивану Сергеевичу Матюхину!

Выправка, погоны, рапорт — все это пришлось по душе Матюхину. Регулярная армия, сразу видно! Он повертел в руках письмо, ткнул его кому-то, не глядя. «Есаул» узнал желчное лицо Макарова. «А, и этот здесь!»

— Садитесь, господа офицеры, поужинаем на дорогу,— пригласил Матюхин и провел мясистой лапой над столом.

«Хорунжий» стоял навытяжку, точно окаменел.

— Благодарю, господин командующий,— щелкнул каблуками «есаул».— Позвольте отказаться.

Могучая, в куделе густых волос голова бандита крепко сидела на крутых плечах. Матюхин откровенно любовался

подтянутым, вылощенным офицером. За такой вот выправкой сама собой угадывалась армия со всей ее дисциплинированной несокрушимой силой.

— А коли так,— он шумно поднялся во весь громадный рост,— и нам нечего рассиживать. Едем!

С молодцеватым «есаулом» он ехал стремя в стремя. Сильно чем-то понравился ему этот аккуратный офицер. Матюхин расспрашивал о боях, с которыми фроловцы пробивались с Дона, помянул о Котовском. «Есаул» небрежно заметил, что Котовский, кажется, попался: Кубанский полк окружил его со штабом в селе Медном. Войск у Котовского немного, и самым лучшим было бы не терять времени напрасно, навалиться на него объединенными силами. Впрочем, судить об этом, конечно, не ему, он высказывает только свое личное мнение.

За разговорами не заметили, как выехали на опушку леса. Впереди угадывались очертания ветряка. Там уже охранение с пулеметом, там свои! Напряжение было так велико, что Захаров вытянулся в седле, свел лопатки. Оставалось совсем немного!

Неожиданно Матюхин натянул поводья, сзади, останавливаясь, загомонили люди, раздался звяк оружия, храп лошадей. Кто-то выругался длинно, замысловато. Подъехали Макаров, Симонов, начальник матюхинского штаба Муравьев.

Матюхин молча вглядывался в тихую деревню, смотрел на ветряк с остановленными крыльями. Тяжелые, неразрешимые мысли ворочались в его кудлатой голове.

— Вот что... как тебя? ваше благородие,— сказал он.— Дальше не поеду. Пускай они ко мне едут. Фролов ваш и Эктов. Сюда,— и ткнул пальцем впереди своего коня.

— Хорунжий Симонов! — позвал «есаул».

Встретить Матюхина приготовились в угловой горнице, где заранее составили столы, покрыли скатертью. В летней кухне на дворе Дуняша, розовевшая от любезностей Маштавы, готовила угощение. Мельник, бегая по селу, разживался самогоном. Расчет был напоить всю бандитскую головку «вусмерть», как говаривал Герасим Петрович Поливанов.

Боевая задача бригады — пеший бой в селе. На случай прорыва в засаду вывели три эскадрона под командой Чистякова. Николай Слива продуманно расположил пулеметы.

Сообщение, доставленное Симоновым, словно прострелило истомленных ожиданием людей: разом вскочили, задвигались. Борисов зачем-то кинулся на кухню. Владимир Девятый, с вывешенными во всю грудь крестами, горстью провел по роскошным усам.

С Котовским на встречу с бандитом отправлялся полуэскадрон. Комбриг распорядился приготовить Эктова: дать ему оружие, коня, причем хорошего коня и настоящее оружие.

— Вот уж этого он не дождется! — запротестовал Юцевич. Его поддержал и Борисов.

— Да вы что? — напустился на них комбриг.— Он кто — начальник штаба или не начальник штаба? А раз так, значит, и снарядить его надо как полагается.

Юцевич упрямо стоял на своем:

— Дай ему наган, дай лошадь, а вдруг он что-нибудь возьмет да и выкинет?

— Ну, ладно, как знаете,— уступил комбриг.— Но только ничего он не выкинет. Ему мат, деваться некуда.

В кобуру Эктову засунули незаряженный наган, оседлали выбракованную лошадь.

Штабс-капитан, заметно волнуясь, уселся в седло. Комбриг наблюдал за ним сбоку.

— Павел Тимофеевич, последнее слово. Как вы понимаете, я сильно рискую. Давайте договоримся сразу: малейшая попытка — и вас нету.— Он достал из кармана и снова спрятал наган со взведенным курком.— Не отрывайтесь от меня даже на метр. Я должен все время чувствовать ваше стремя. Вот так,— и коленом ткнул его колено.

— Послушайте... вы! — вспылил штабс-капитан.— Да подумайте сами... куда мне деваться? Куда? К ним? — мотнул головой в сторону леса.— К покойникам? Я жить хочу. Понимаете — жить!

И отвернулся, сгорбил спину.

За ними со стороны наблюдал Владимир Девятый, с беспокойством ловил взгляд комбрига. Григорий Иванович улыбался. Дерзость арестованного он объяснял отчаянием и ничем больше. Человек сделал выбор и теперь бесится от бессилия что-либо изменить. Так сказать, издержки трудного решения.

— Павел Тимофеевич, скоро все кончится. Постарайтесь вести себя спокойнее. Ладно?

По сообщению Симонова, Матюхин со штабом и передовыми отрядами остановился на виду деревни. Однако на том месте, где «хорунжий» получил приказание «есаула», Котовского с командирами встретила бандитская застава, человек пятьдесят. Дальше в лес поехали как бы под усиленной охраной.

Матюхинцы, ожидая, не слезали с седел и держали оружие наготове. Большая поляна была запружена народом. Густые человеческие массы угадывались в окружающем осиннике, там то и дело съезжались и разъезжались конные группы.

— А-а... Пал Тимофейч! — осклабился Матюхин, увидев Эктова, но не сделал ни шагу навстречу, ждал, когда подъедут.

Котовский шевельнул коленом и убедился, что штабс-капитан точно выполняет полученную инструкцию — едет вплотную. По лицу Эктова угадывалась мучительная душевная борьба. Сейчас достаточно одного слова, одного жеста! Напоминая ему о себе, Григорий Иванович звякнул стременем о стремя. Эктов точно очнулся от своих мыслей и с облегчением вздохнул.

— Заждались, Пал Тимофейч, заждались,— приговаривал Матюхин, вглядываясь в штабс-капитана из-под спутанных волос. Атамана Фролова он до поры до времени будто не замечал.

— Дорога трудная, Иван Сергеич,— оправдывался Эктов.— Вон какого кругаля пришлось давать.

— Съездил как? С пользой, нет?

— Потом будет разговор, Иван Сергеич. Пока знакомься. Больших людей тебе привез.

С этой минуты Григорий Иванович больше не сомневался в Эктове,— свою роль штабс-капитан доведет до конца *.

Представление главаря бандитов «атаману Фролову» прошло натянуто. Соблюдая офицерское достоинство, «войсковой старшина» заметил:

— Признаться, потерял всякую надежду увидеть вас.

— Быстро робят, слепых родят, ваше благородие. А мы люди темные, деревенские. Нам все руками пощупать охота.

В ответ на офицерскую острастку Матюхин решил прикинуться придурковатым мужичком.

Решительно заворачивая коня назад, в деревню, «войсковой старшина» пожаловался:

---

* После операции с Матюхиным приговор Эктову был отменен. Долгое время бывший штабс-капитан с семьей жил на Урале, затем на Дальнем Востоке, где работал начальником снабжения Рыбтреста.

— У меня критическое положение. Половина сил занята под Медным. Смею ли я рассчитывать на вашу помощь?

— Это можно,— с наигранным простодушием согласился Матюхин, пристраиваясь слева от Котовского.— Если надо, почему не помочь? Мы, ваше благородие, никому не отказываем.

За Котовским и Матюхиным тронулись штабные.

Сзади раздалась команда:

— Справа по три...

Лошади шли шагом, колонна войск растянулась по дороге. Григорий Иванович не вынимал руку из правого кармана, со стороны было похоже, что бравый войсковой старшина едет, молодцевато подбоченясь.

— Стой! Кто идет?

Из свежего окопчика в сторону приближающейся тесной группы смотрело тупое рыльце станкового пулемета. За пулеметным щитком блеснул офицерский погон.

Вперед выехал Симонов и громко назвал пароль:

— Киев.

— Отзыв? — потребовали из окопа.

— Корсунь.

Начальник заставы Тукс, с погонами подпоручика, вылез из окопа, взял под козырек.

— Можно следовать дальше.

— Строго у вас,— одобрил повеселевший Матюхин.

С готовностью высунулся длинноволосый Макаров:

— Муха не пролетит, Иван Сергеич! Сам проверил.

За командирской группой, в колонне, чей-то хриплый, простуженный голос затянул песню, припев подхватили громко, но вразнобой:

Эх, доля-неволя,
Глухая тюрьма!
В долине осина,
Могила темна.

Увидев свежую виселицу с болтавшейся петлей, Матюхин оживился:

— Кого это собираетесь?

— Да тут,— «войсковой старшина» небрежно дернул выбритым подбородком,— кое-кто из «красноты» попался.

— А мы проще управляемся. Возьмешь его и...— показал, как сворачивается шея.— Хрустнет у него, и отпустишь. Он еще дрыгается, а пускай. Все одно уже ни один фершал не поможет!.. А то — городить, добро на них изводить... Ну, да у вас, видно, свои порядки! — добавил Матюхин, заметив, что атаманское лицо стало вдруг туча тучей.

Внимание «войскового старшины» отвлекла горластая казачья группа, похоже, сильно подгулявшая. Несколько человек в кубанках держали за руки старика, тот рвался к проходившей колонне, настырно лез вперед, не сводил глаз с чернобородого, сидевшего вразвалку Матюхина.

— Станичник!.. Эх, станичник! — уговаривали потерявшего соображение старика молодые казаки и загораживали его от гневных атаманских глаз.

— Р-распустились! — рявкнул «войсковой старшина», выпячивая челюсть.

Командирский властный зык заставил Матюхина с укором оглянуться на своих. У него в отряде с дисциплиной было плоховато: каждый сам себе атаман.

К старику и казакам тотчас подскочил «хорунжий» Симонов, стал оттирать их конем в сторону. Старика, видно, уняли, повели. Два или три голоса с присвистом загорланили:

Партизант молодой,
Зачем женисси?
А как красные придут,
Куды денисси?

Завидев подъезжающих, Маштава слетел со ступенек крылечка, хлебосольно махнул широким рукавом черкески:

— Прошу!

Во дворе тянулась на цыпочки, высматривая кого-то, румяная приодетая Дуняша.

— Васька, твоя, что ли? — ухмыльнулся в бороду Матюхин, слезая с лошади. Сын мельника уважительно придержал ему стремя.

Возле крыльца возникла небольшая толчея. Вперед, в дом, пропустили самых главных. Мельника с намасленными волосами затолкали в сторону.

Приготовлений к обеду и обильной выпивки Матюхин не одобрил.

— Ваше благородие, головы у нас слабые, мужичьи. Выпьешь — и сообразить ничего не сообразишь. Надо сначала дело делать.

— Согласен! — и «войсковой старшина» жестом приказал очистить стол.

Офицеры, проходя за стол, отстегивали шашки и бросали их в угол. Бандиты уселись с оружием, карабины поставили между колен. Матюхина усадили в почетный угол, под образа.

Муравьев, матюхинский начальник штаба, достал из сумки и ловко разбросил по столу новенькую карту.

— Как-кая карта! — завистливо протянул «войсковой старшина», заметив на ней печать штаба тамбовских войск.— У красных разжились?

— Зачем? — заскромничал Матюхин, садясь пошире и выкладывая на стол свои огромные ручищи.— Верные люди достали.

Совещание, как старший по чину, открыл «атаман Фролов». Верный привычке военного человека, он не терпел многословия, короткая речь его напоминала строчки боевого приказа.

Поднялся Эктов, развернул приготовленные листочки. Его выступление было основным, для того и собрались, чтобы его послушать. В Звенигороде, на съезде, сказал он, принято важное решение — объединить силы казачьих полков с крестьянскими отрядами. Достигнута также твердая договоренность с Махно: в случае, если командование Красной Армии тронет войска с Украины, то Махно тут же нажмет с тыла. Таким образом прежнему разобщению сил повстанцев положен конец.

— Умные речи приятно и слышать! — крякнул Матюхин и крепко потер руки.

На съезде, добавил Эктов, присутствовал сам Савинков. Конечно, сильно рисковал, но такой момент, такое историческое событие! Не утерпел старый боевик, плюнул на всякий риск. По заданию Савинкова Эктов отправился на Дон за помощью — и вот результат.

Вести были хорошими, обнадеживающими, у сидевших за столом веселели глаза. Кое-кто переглядывался. А что? Еще поживем, погуляем!.. Вызывало удивление, что «атаман Фролов» как будто не разделял общего подъема. Все время, пока выступал Эктов, у него дергалась губа, мрачнел взгляд. Не согласен он, что ли?

Так и оказалось. Едва «представитель ЦК эсеров» принялся зачитывать пространную и трескучую резолюцию Всероссийского совещания повстанческих отрядов и организаций, «войсковой старшина» не вытерпел и перебил его. Он, конечно, за борьбу, за активную борьбу с Советской властью, однако, как военный человек, считает нужным высказать свои сомнения. Самое главное: недостаточно сил. Будучи еще на Дону, он надеялся, что в Тамбовской губернии под ружьем огромная армия. Однако где же она? То, что ему удалось увидеть, смехотворно. Разве можно с такими силами рассчитывать на успех? Поэтому он предлагает отказаться от вооруженной, открытой борьбы и перейти к скрытой, подпольной.

— Ваше благородие! — вскричал Матюхин.— Да ты, прости господи, с ума сошел! Сил ему маловато!

— Мало, Иван Сергеевич, очень мало,— покивал обритой головой «Фролов».

— Да ты постой! Что ты еще видел, что знаешь? — и принялся перечислять села и целые волости, где у него находились свои люди, ждущие лишь условленного сигнала.

— Ну, хорошо, это, так сказать, резерв личного состава,— упорствовал «войсковой старшина».— А оружие?

— Хо, оружие! — Матюхин победоносно переглянулся со своими.— У нас, ваше благородие, оружия столько, что хватит до Москвы добраться.— На память, быстро загибая пальцы, он назвал несколько потайных баз, замаскированных в лесу.— Армию в десять тысяч вооружу и не чихну! Я из этого Котовского еще кровушку пущу. Он мою руку знает, будет помнить. Вот она! — потряс растопыренной пятерней.— Скольких я ей к боженьке отправил — не сосчитать! Как курят давил.

Краем глаза Григорий Иванович засек — Гажалов торопливо записывает.

— Что ж, Иван Сергеевич, вы меня убедили. Я готов снять свое предложение.

— Еще бы не снять!..

После этого слово взял «представитель Махно». Отбросил роскошный чуб, ударил себя в грудь.

— Мы несем человечеству черное знамя анархии! Пусть исчезнут, провалятся в тартарары города и заводы, мощеные улицы и железные дороги! Безвластие, ветер, неизведанное счастье кромешной свободы...

На пороге горницы вырос Владимир Девятый, преданно выкатил глаза, выпятил грудь с крестами.

— Господин атаман... не знаю даже... Коня кузнец спортил! Стал ковать и...

— Что-о?! — заревел «войсковой старшина», выбираясь из-за стола.— Да как он... Подлец! Своей рукой р-распотрошу!

В сенях, захлопнув за собою дверь, Григорий Иванович быстро, трезво глянул Девятому в глаза:

— Что случилось?

— Беда, Григорь Иваныч. Коноводы наши ихних всех порезали. В кинжалы взяли, в шашки — чисто. Герасим Петрович там...

— Говорил же вам!.. А, черт бы вас всех взял!

— Григорь Иваныч! — Девятый схватил комбрига за руку.— Не ходите туда. Опасно. Мы с ними сами управимся. Не ходите!

Коленом Девятый загородил дверь в комнаты. Григорий Иванович посмотрел на руку эскадронного, на колено, и тот вспомнил о дисциплине.

— Давай на место,— приказал комбриг.— Сейчас все кончим.

Обратно в штаб он ворвался шумно, гневно:

— Сам не доглядишь, ни черта не сделают! Какого коня!.. Голову сниму мерзавцу!

Пролез на свое место за столом.

— Кузнец здешний? — спросил Матюхин, отставляя карабин и снова выкладывая руки.

— Не мой же! — все еще кипел «войсковой старшина».— А может, он это специально, а?

Внезапное подозрение, высказанное атаманом, отвлекло внимание всех, кто слушал докладчика-махновца.

В одно мгновение комбриг выхватил наган, наставил на Матюхина.

— Ну, довольно ломать комедию. Я — Котовский. Р-расстрелять эту сволочь!

Застолье оцепенело, оборвалось всякое дыхание. В тишине звонко щелкнул спущенный курок — осечка. Затем еще один щелчок, еще один. Проклятье!.. Неистово зару-

гавшись, комбриг швырнул бесполезный наган в бородатую рожу остолбеневшего бандита и стал торопливо рвать крышку маузера.

Глаза Матюхина сверкнули радостью. Обеими руками он опрокинул от себя стол и бросился к окну. Бежать! Одно спасение сейчас — бежать, выбраться из ловушки... Нестройно грянул залп — упал Муравьев, схватился за бок и стал заваливаться, свешивая волосы, Макаров.

Наконец ладонь Котовского почувствовала рубчатую рукоятку маузера. В этот момент адъютант Матюхина из-под стола ударил почти в упор из карабина. Отброшенный к стене, комбриг сначала сел, затем стал подниматься, упираясь одной левой рукой, правая с раздробленным плечом повисла, как не своя.

В суматохе криков, выстрелов, возни людей, схватившихся врукопашную, комбриг с усилием карабкался по стенке. Его подхватил Мартынов, помог подняться, стать на ноги.

— Григорь Ивапыч, надо кровь остановить!

С повисшей руки капало, рукав набряк и тянул к земле. Котовский почувствовал обморочную тошноту. Этого еще пе хватало!

— Режь рукав к чертовой матери!

Распоротый рукав шмякнулся на пол тяжелой мокрой тряпкой. Осматривая залитую кровью руку комбрига, Мартынов качал головой.

— Кость задело, Григорь Иваныч!

— Перетяни! — командовал Котовский, стискивая зубы.— Крепче! Крепче!.. Да крепче же, я говорю!

— Куда же крепче-то, Григорь Иваныч!..

Кровотечение остановилось, комбриг глубоко вздохнул и огляделся обесцвеченными от боли глазами. Опрокинутый стол, обломки посуды, валяются убитые. На подоконнике разбитого окна, выпав наружу головою и руками, висела знакомая могучая фигура. Не ушел!

— Как остальные?

— Кончают,— ответил Мартынов, кивая на окно. С улицы слышался деловитый стрекот пулеметов.

Прежде чем уйти, Мартынов внимательно вгляделся в бледное лицо комбрига: оправился ли, не упадет? Котовский, весь заляпанный кровью, в разорванной гимнастерке, придерживая замотанную наспех руку, сделал несколько шагов, переступил через валявшуюся скамейку.

Запнувшись о порог, вбежал Борисов, в глазах мелькнула радость: комбриг на ногах. Сообщил, что операция развивается по задуманному плану. Небольшой группе бандитов удалось прорваться, в погоню за ними послан эскадрон.

— Человек десять заперлись в амбаре. Я дал им пять минут на размышление,— и добавил: — Данилова ранило. Но не так... не сильно.

Во дворе послышались крики, суматошная стрельба. Комбриг, отбрасывая коленом расстегнутую коробку с маузером, озабоченно поспешил из дома.

Раненого Котовского Ольга Петровна увезла в Москву. Военный госпиталь помещался на Арбате, в Серебряном переулке. Во время лечения Григорий Иванович узнал, что за ликвидацию антоновского мятежа правительство наградило 185 бойцов и командиров бригады. Сам он был удостоен высшего в Республике знака военной доблести — Почетного Революционного Оружия.

ИЗ ПРИКАЗА РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

«г. Москва

20 сентября 1921 г.

...Награждается Почетным Революционным Оружием: командир отдельной кавалерийской бригады т. КОТОВСКИЙ Григорий Иванович — за личное руководство 20 июля с. г. выдающейся по смелости операцией у д. Дмитровское (Кобылинка), в результате которой были уничтожены главари крупных шаек, а сами шайки в значительной мере изрублены, рассеяны и совершенно деморализованы. Тов. Котовский, будучи ранен, тем не менее не оставил руководство вверенными ему частями, благодаря чему операция была закончена столь успешно.

Заместитель председателя
Революционного Военного Совета Республики
Э. Склянский

Главнокомандующий всеми вооруженными
силами Республики
С. Каменев»

Кузьмин Николай Павлович.

К89 Меч и плуг. Повесть о Григории Котовском. М., Политиздат, 1976.

411 с. с ил. (Пламенные революционеры).

$К \frac{10604-121}{079(02)-76}$ 259—76 Р2 + 9(С)22

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *Л. Б. Родкина*

Младший редактор *Н. Б. Чунакова*

Художник *Н. Д. Бисти*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

Сдано в набор 29 декабря 1975 г. Подписано в печать 21 мая 1976 г. Формат $70\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 18,81. Учетно-изд. л. 19,31. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. А 00076. Заказ № 757. Цена 86 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1976 году в серии «Пламенные революционеры» выйдут следующие книги:

АТАРОВ Николай, ДАЛЬЦЕВА Магдалина. Опоясан мечом.

Повесть о Джузеппе Гарибальди, который четырнадцать лет сражался на стороне республиканцев против тирании за океаном, в Бразилии и Уругвае, а вернувшись на родину, посвятил свою жизнь борьбе за освобождение порабощенной Италии. События остросюжетной повести о легендарном герое итальянского народа даются авторами на широком историческом фоне жизни Италии и Европы тех лет.

БАРЫШЕВ Михаил. Особые полномочия.

Повесть о В. Р. Менжинском, профессиональном революционере ленинской школы. Из яркой, многогранной жизни видного деятеля партии автор выбрал наиболее важные периоды — работу первым народным комиссаром финансов Советской республики, чекистскую деятельность в особом отделе ВЧК и борьбу на посту председателя ОГПУ с террористической деятельностью белогвардейцев-кутеповцев и савинковцев.

ГУСЕВ Владимир. Легенда о синем гусаре.

Повесть о Михаиле Лунине, одном из самых стойких, мужественных декабристов, который и после 14 декабря, на каторге, сохранил пафос сопротивления и революционности.

ЛЕБЕДЕВ Василий. Обреченная воля.

Повесть о Кондратии Булавине — руководителе крестьянско-казацкого восстания на Дону в начале XVIII века. Автор широко показывает борьбу беднейших слоев крестьянства и казачества против экономического закабаления, против произвола царских сатрапов.

МАТЮШИН Михаил. Преданность.

Повесть о Н. В. Крыленко, профессиональном революционере, первом верховном главнокомандующем, назначенном Лениным, прокуроре республики. Писатель, основываясь на фактах богатой биографии Крыленко, раскрывает перед читателем судьбу человека яркого, незаурядного и в то же время типичного в когорте большевиков-ленинцев.

МЕТЕЛЬСКИЙ Георгий. Неповторимый.

Повесть о профессиональном революционере П. Г. Смидовиче рассказывает о его встречах с Владимиром Ильичем, о том, как Смидович доставлял «Искру» из Франции в Россию, о его участии в трех революциях.

САВЧЕНКО Владимир. Тайна клеенчатой тетради.

Повесть о легендарном Николае Клеточникове, который, проникнув в самый центр тайной полиции царского самодержавия, в течение двух лет отражал удары, направленные против революционеров, являя пример бесстрашного служения высокой революционной идее.

В 1977 году в серии «Пламенные революционеры» выйдут следующие книги:

БОРЩАГОВСКИЙ Александр. Сечень.

Повесть об И. В. Бабушкине, мужественном и талантливом ученике В. И. Ленина. В основу произведения положен последний напряженный период жизни Бабушкина, что позволило автору изобразить личность своего героя в пору полного расцвета и зрелости.

ЕФИМОВ Игорь. Свергнуть всякое иго.

Повесть посвящена мужественному английскому революционеру XVII века, руководителю и идеологу демократической партии левеллеров Джону Лилберну. Перед читателем предстанет не только судьба героя, но и борьба народных масс против социального угнетения.

КОКИН Лев. Зову живых.

Повесть рассказывает о Михаиле Петрашевском, неутомимом «пропагаторе» и непреклонном борце с самодержавием. Автор показывает наиболее яркие, насыщенные борьбой и тяжкими испытаниями годы жизни героя.

ТАУРИН Франц. Без страха и упрека.

В центре книги — яркая драматическая судьба мужественного и благородного человека, основателя первой «Земли и воли» Николая Серно-Соловьевича, одного из тех революционеров 1861 года, о которых В. И. Ленин сказал, что «именно они были великими деятелями той эпохи». Повесть рассказывает о революционной деятельности героя, многолетнем его заточении в Петропавловской крепости, подготовке восстания в Сибири.

ШАТИРЯН Михаил. Генерал, рожденный революцией.

Повесть об А. Ф. Мясникове — одном из «буревестников» революции, раскрывшем все свои способности в обстановке революционного шторма. Писатель рассказывает о днях Октября, когда Мясников руководит свержением буржуазной власти в Белоруссии.

ЯХЪЯЕВ Магомед-Султан. Три солнца.

В повести об Уллубии Буйнакском на широкой документальной основе автор рисует сложную эпоху и своеобразие борьбы дагестанского народа за свободу и независимость. Со страниц повести встает колоритный образ руководителя дагестанских большевиков Уллубия Буйнакского, который перед расстрелом бросил вызов палачам: «...я твердо убежден в победе Советской власти и Коммунистической партии и готов умереть за их торжество».



